



БИБЛИОТЕКА  
НАРОДОВ  
СИБИРИ





БИБЛИОТЕКА  
НАРОДОВ  
СИБИРИ



ОДНА СЕМЬЯ. БИБЛИОТЕКА НАРОДОВ СИБИРИ

ТОМ  
II

---

Николай  
ДОМОЖАКОВ

ИЗБРАННОЕ

---

---

Софрон  
ТОТЬШ

ИЗБРАННОЕ

---

Томск – 2022

ББК 84(2=634.51)  
Д66

**Николай Доможаков, Софрон Тотыш.** Избранное. «Одна семья. Библиотека народов Сибири». Литературно-художественное издание – Томск, 2022. – 284 с.

Литературно-художественное издание  
«Одна семья. Библиотека народов Сибири»  
издаётся при поддержке  
Администрации Томской области

ISBN 978-5-6048322-1-9



9 785604 832219

© Томская писательская организация, 2022



***Николай Георгиевич Доможаков (1916–1976) – поэт и прозаик, автор первого романа на хакасском языке, автор семи сборников стихов на хакасском и русском языках, зачинатель хакасской реалистичной прозы. В романе «В далёком аале» (1960–1976) отражены перемены в жизни хакасов после 1917 года.***

---

# В ДАЛЁКОМ ААЛЕ

---

Роман

## ГЛАВА I

Кони в страхе бежали. Их гулкий топот был слышен по воздуху, а ещё дальше и шире он раскатывался по телу степи – по земле. Косяки, которые паслись у подножия Хуу-Хыр, первые уловили тревогу. Их вожаки – серые, вороные, гнедые и каурые жеребцы – разом втянули воздух, наострили уши и, заслыша далёкое ржание, сами тревожно заржали. Опасность! Опасность!

Что же произошло в степи? Что встревожило мирные табуны?

– Эй, ты! Ну, каков Соловый тай – резвый, нет?

С этими словами Тойон подъехал сзади к Сабису, задремавшему на коне, потянулся к крупу Солового и сунул ему под репицу колючую ветку караганы.

Соловый был ещё довольно диким трёхлетком. Он взвился на дыбы, прынул вперёд и вбок, сделал несколько свечек и приурезал в мах к косяку, пасшемся на склоне ближней сопки.

«Что это?» – очнулся Сабис, чувствуя, как слетает с коня. Он не успел ухватиться за поводья. Правой ногой больно ударился о железный выгиб седельной луки, левая нога не высвободилась из стремени. Небо и степь крутанулись в глазах волчком. Сабис ударился головой о землю.

– Ху-ух! – крикнул вдогонку Тойон, и конь надал ещё пуще. Тойон повернул свою лошадь в другую сторону. Скоро он скрылся.

На крутых спусках телега сама толкает её вперёд, так, что хомут налезает на уши, а ремень шлеи впивается в бёдра.

Солнце перевалило за полуденную черту, но хозяин не даёт Бурке передохнуть. Хоть бы ветерок набежал да обдул обмылье с Буркиных боков...

– Ма-ам, воды-ы!

– Потерпи, потерпи, доченька. Воды у нас на донышке, а путь не близкий... Говорила тебе, Фёдор, давай остановимся, наберём воды.

Фёдор наклоняется к дочке и шутливо щекочет ей шею окладистой рыжей бородой.

Зойка, которая обычно в таких случаях хохочет и взвизгивает, на этот раз невесела:

– Хоть глоток, тятя.

Фёдор оборачивается к жене.

– Ладно, Варя, – трогает он её за локоть. – Может, скоро где и попадётся ручей...

Девочка, худенькая, белокурая, кривит запекшийся рот. Варя хочет чем-нибудь отвлечь Зойку, чтобы она хоть на несколько минут забыла о жажде.

– Во-он, Зойка, сколь беркутов... Ишь, прыгают, – показывает она. Фёдор глядит туда же.

– Тр-р-р! – натянул он вожжи.

Приложив ладонь к бровям, Фёдор пытался что-то разглядеть там, где по торцам ушедших в землю камней угадывался небольшой курган. На кургане что-то темнело. А ещё Фёдор увидел большую пёструю собаку. Когда беркуты бросались вперёд, собака делала прыжок и отпугивала их.

Оцепенело следили Фёдор, Варвара и Зойка за тем, что происходило на кургане. Вот хищники снова вступили в схватку с собакой, увёртываются, мелькают, как тёмные лоскутья. Одна из птиц вцепилась в собаку когтями и теперь не может их высвободить. А в это время другой беркут взлетел на темнеющий бугорок, откинул голову и с размаху долбанул клювом. Взметнулось и упало что-то тонкое, слабое. Рука?

Птица отскочила прочь.

К чаю Хоортай подал пызлах, поставил в блюде сметану.

Зойка ни к чему не притронулась. Мать пощупала у неё лоб – он горел.

И гость, и хозяин пили чай до пота. Щёки старика залоснились, на них, казалось, меньше стало морщин, глаза смотрели благодущнее. Фёдор разглядел: левый глаз Хоортая больше правого. Отставив пустую чашку, Хоортай полез в карман за трубкой и кисетом. Трубка его была удивительной – с медной узорчатой оковкой, сделанной так правильно и тонко, что Фёдор Павлович, знавший толк в чеканке, удивился работе неизвестного мастера. Хоортай предложил ему покурить из трубки.

– Да я некурящий, дедушка, – улыбнулся кузнец. Но, чтобы лучше рассмотреть трубку, всё-таки принял её из рук старика, сделал вид, что затягивается.

– Хорошая трубка. Большой мастер, наверно, делал? Кто он?

– Зачем – кто? – улыбнулся в усы Хоортай. – Трубка сам делай, – и ткнул чёрным пальцем себе в грудь.

Кузнец ещё раз похвалил трубку, и старик довольно засмеялся, обнажив зубы.

– Зачем далеко ехал? Тут жить, наш аал работай, – предложил он Фёдору, – наш аал дело находил...

– Нам надо в Бондаревку, – сказал Фёдор. – Там родня есть, товарищ есть.

– Сердце хороший – друг будет, – улыбнулся Хоортай.

– Рука есть, топор брал – дом стал. – Хоортай притронулся к мускулистому плечу кузнеца. – О! О, сила большой.

Видя, что гости утомлены и расстроены, старик принялся расстилать на полу шкуры, на них положил чёрную кошму с белым узором, под головы постелил шубы, а укрыться дал овчинным покрывалом.

– Отдыхай надо, – сказал он, показывая на приготовленную постель, занявшую половину юрты. – Спи. Ночь – чёрный, утро – белый, всё видеть... Ночь не ходи. Юртам закрывал эта палка.

– Спасибо, дедушка Хоортай. Да как-то... нехорошо получается. Сам-то где будешь ночевать? – спросил кузнец, видя, что старик, взяв свёрток поменьше, направился к двери.

Руки закинута за голову, словно тянутся к брошенному позади волосяному аркану, свёрнутому кольцами.

Вдруг Сагдай услышал сквозь сон как бы раскаты грома.

«Солнце и гром?» – недоумевал табунщик. Но не открыл глаз: косяки пасутся поблизости, и зоркий Сабис (у сына отцовский взгляд!) следит за ними.

Неизвестно, сколько бы времени ещё проспал Сагдай, если бы над его головой не щёлкнул кнут. Сагдай вскочил, не успев как следует разлепить веки и прийти в себя.

На кургане крутился всадник:

– Где табун, дармоед? Спишь?! Ну, погоди!

Сагдай оглянулся. Над тем местом, где он оставил табун, стеной стояла чёрная пыль. Что такое? Он озирался во все стороны, но нигде не видел лошадей.

– Тойон... Почему ушёл табун? – растерянно бормотал Сагдай. Он вскинул на Буланого седло.

Но Тойон уже мчался туда, где девушки-батрачки пасли Хапыновых овец. Где табун? Где Сабис?..

Солнце греет по-прежнему, но Сагдаю становится холодно. Он видит беркутов над степью. Стая их с криком летит за гору Хуу-Хыр. А ведь каждый пастух знает, что беркуты рады беде. Конь под ним уже втянулся в бег. Можно прибавить ходу! Сагдай взмахнул камчой. Он ехал по свежеистоптанному склону. Широкая, выбитая тысячами копыт полоса походила на русло реки. Впереди оседала клубящаяся пыль. «Что там за ней? Что за ней?» – билось в голове Сагдая...

## ГЛАВА 2

– Но-о, Бурка, но-о, миляга! – негромко понукал хозяин.

Лошадь и ухом не вела. Колеи тянули Бурку за собой, как два аркана. Ещё на рассвете, после ночлега у речки, заросшей топольником, Бурку обрядили в сбрую, впрягли в телегу. С того часа она и трёт бока об оглобли. Её стегают конопляными вожжами, и от них

на крупе остаются тёмные полосы. На крутых спусках телега сама толкает её вперёд, так что хомут налезает на уши, а ремень шлеи впивается в бедра.

Солнце перевалило за полуденную черту, но хозяин не дает Бурке передохнуть. Хоть бы ветерок набежал да обдул обмылье с Буркиных боков...

– Ма-ам, воды-ы!

– Потерпи, потерпи, доченька. Воды у нас на донышке, а путь не близкий... Говорила тебе, Фёдор, давай остановимся, наберем воды.

Федор наклоняется к дочке и шутовски щечочет ей шею окладистой рыжей бородой. Зойка, которая обычно в таких случаях хохочет и взвизгивает, на этот раз невесела:

– Хоть глоток, тятя.

Федор оборачивается к жене.

– Ладно, Варя, – трогает он её за локоть. – Может, скоро где и попадется ручей...

Девочка, худенькая, белокурая, кривит запекшийся рот. Варя хочет чем-нибудь отвлечь Зойку, чтобы она хоть на несколько минут забыла о жажде.

– Во-он, Зойка, сколь беркутов... Ишь, прыгают, – показывает она.

Федор глядит туда же.

– Тр-р-р! – натянул он вожжи.

Приложив ладонь к бровям, Фёдор пытался что-то разглядеть там, где по торцам ушедших в землю камней угадывался небольшой курган.

На кургане что-то темнело. А ещё Фёдор увидел большую пёструю собаку. Когда беркуты бросались вперёд, собака делала прыжок и отпугивала их. Оцепенело следили Фёдор, Варвара и Зойка за тем, что происходило на кургане. Вот хищники снова вступили в схватку с собакой, увёртываются, мелькают, как тёмные лоскутья. Одна из птиц вцепилась в собаку когтями и теперь не может их высвободить. А в это время другой беркут взлетел на темнеющий бугорок, откинул голову и с размаху долбанул клювом. Взметнулось и упало что-то тонкое, слабое. Рука?

Птица отскочила прочь.

А потом все беркуты, с клёкотом и хлопаньем крыльев, бросились вперёд. И тут грохнул выстрел. Фёдор быстро повернул лошадь и направил её к кургану. Под железными ободьями колёс заскрипели, уминаясь, осколки выветренных курганных плит. Ещё немного, и с телеги увидели: на кургане неподвижно лежал юноша, почти мальчик. Фёдор и Варвара кинулись к нему.

Навстречу бросилась собака. Она хрипло лаяла, кружась и хватая себя за бедро, с которого свисал задавленный беркут, оставивший когти в её шкуре.

Варвара подняла голову паренька, слегка повернула: скулы в садинах и кровоподтёках, губы почернели, волосы слиплись от крови, склеились с землёй. На правой ноге старый, мягкий, без каблука маймах, левая – босая – вся потемнела и вздулась.

Федор опустил на корточки возле юноши и приложил ладонь к его груди.

– Теплый ещё, – шёпотом сказал он жене. – А в лице ни кровинки.

Кругом валялось много перьев, женщина подобрала одно и поднесла к ноздрям паренька. Ворсинки на пёрышке заколебались.

– Федя, он дышит! Там, на телеге, бутылка... Разжимай ему зубы.

От воды ресницы парня дрогнули, шевельнулись губы. Левый, здоровый, глаз его был широко открыт.

– Кто ты? Откуда взялся? – спросил Фёдор, тоже наклоняясь к парню. – Из какого ты улуса, далеко ли до него?

Телега была завалена домашним скарбом, и Варя стала торопливо его отодвигать, освобождая место. Она сорвала с себя косынку, разорвала на полоски и принялась бинтовать парня. Потом Фёдор легко поднял паренька и отнёс на телегу.

Зойка примостила ему под голову старенькое пальтишко. Варя кое-как собрала волосы, воткнула гребёнку.

И в этот миг из-за бугра вылетел верховой. Собака сделала навстречу ему такой яростный бросок, что мёртвый беркут наконец оторвался от неё. Но всадник, взмахнув длинным бичом, не подпустил собаку к своей лошади. Фёдор и Варвара молча глядели на него. Откуда он? Что ему нужно? Или он знает «найдёныша», сам разыскивает его?

Похоже, что и так. И тот, и другой – степняки, хакасы. Может, верховой скажет, куда отвезти данного парня, кому его передать? Бурка доверчиво заржала и потянулась к чужой лошади, но та, избочившись, куснула её. Бурка шарахнулась в оглоблях. Фёдор дёрнул за вожжи, осадил её.

– Эй ты! – крикнул он на парня. – Держи своего!

– Парень наш зачем калечил? – спросил всадник.

– Што-о? – сдвинул брови Фёдор.

– Худо делал... Табунщикам конь пугал... Тебя тюрьма садить надо... – И, мгновенно поворотив свою дикарку, всадник пустил её в галоп. Пёстрый, заливаясь лаем, бросился в погоню.

– Ну и ну! – покачал головой Фёдор. И растерянно поглядел на жену.

– Поедем, тятя, – жалобно попросила Зойка. – Я пить хочу...

– Сейчас, доченька. Вот только место это замечу. На всякий случай...

Ещё утром он вырубил две рогульки и жёрдочку для каганка. Сейчас он вбил их у дороги, там, откуда телега в первый раз своро-

тила к кургану, и там, где она опять выкатила на дорогу. На траве, побелевшей на солнце, оба эти сворота выделялись чётко. Снова по однообразной всхолмленной степи ползёт одинокий воз, поскрипывает телега, пофыркивает Бурка. Уже не видно ни колышков, ни самого кургана, только клёкот ещё кружащих там птиц доносится до Фёдора. Около телеги опять появился Пёстрый. Волоча лапу и облизывая бок, пёс побежал рядом.

Час от часу всё жарче. В воздухе колеблется марево, оно похоже на лёгкий пар, что поднимается из огромного закипающего котла. Края котла – зубчаты, сини. Это хребты Саяна и Алатау, окаймившие степь полукружьем. А внутри этого котла раскалёнными кажутся древние надмогильные камни из красного песчаника. Облака над степью и те в рыжих подпалинах от зноя. Белеет солончаковая корка на месте высохших озерец. Потрескивает, высыхая, ковыль. Не видно даже сусликов.

У одной из развилок дороги Пёстрый забеспокоился, вымахнул вперёд и побежал, то и дело оглядываясь на телегу.

«Кажет дорогу, – догадался Фёдор Павлович. – Не иначе там где-то у них улус... Поедем следом, будь что будет...»

– Ма-ма, водички!

Скоро, скоро, доченька, будет водичка. Там, за бугром, увидишь речку, – обещает Варвара.

– Вот за этим большим, мама?

– Ну, может, и подальше. – А вон... смотри-ка... вон над тобой жаворонок.

Зойка запрокидывает голову. Жаворонок трепыхает крылышками, будто трясёт бубенчиками. Вот он застыл на одном месте. Как он там держится – на волосинку, что ли, кто его привязал?

«Тюрр, тюрр, фить-фить», – несётся с неба.

«Жаворонок тоже высматривает ручей, – думает Зойка. – А волосинка, наверно, растягивается. Ишь, птичка то спустится вниз, то снова поднимается. И качается, качается там». Кто-то невидимый дёрнул за волосинку, и птичка перевернулась. Золотом блеснула грудка. А крылышки-бубенчики всё звенят:

«Тюрр, тюрр, фить-фить». Не увидела, значит, птичка ручейка. У Зойки всё горит внутри. Скоро она совсем ослабела, сонливость на неё навалилась. Её уложили рядом с «найдёнышем».

Федор идёт, держась за телегу, и угрюмо молчит. Рубаха его взмокла от пота, рыжая борода в потёках.

«Не может быть, чтобы собака обманула. Где-то в этих местах я сам видел речку, когда ездил по улусам». Видит Фёдор: Варвару тоже сморило, но крепится она, достала светлое рядом, над Зойкой держит, от жары бережёт.

Когда солнце начало клониться к горизонту, перед подводой, почти касаясь травы, вдруг стремительно пронеслись два юрких

стрижа с крылышками, похожими на ножницы. Словно подскочило в груди у Фёдора сердце – где стрижи, там вода. Он принялся понукать Бурку. Пёстрый, ускакавший вперёд, скоро вернулся обратно. Он встряхнулся, и с шерсти посыпались светлые бисеринки.

– Вода! Зойка, слышь-ко! Водички сейчас попьёшь...

Девочка открыла глаза и вскочила, оглядываясь, где же вода. Подъехали к степной речушке. Неширокая полоска воды, вобравшая в себя синь неба, блестела между мшистых берегов.

В речке мыла зелёные космы осоки, высывались шильца молодого камыша, веточки водных растений, облепленные воздушными пузырьками. В глазах рябило от движения быстрых струй.

Зойка подбежала к воде и опустила на коленки.

– Не пей сразу много, дочка! – предостерегает Зойку отец, однако сам пьёт воду жадно.

Варвара, утолив жажду, намочила в речке свой платок, положила его на лоб. Потом, зачерпнув воды в берестяной туюсок, она влила парню в рот. Тот простонал.

– Не пугайся, родимый. Довезём тебя до какого ни на есть улуса.

– Хайда Сары? Сары!.. – он застонал и опустил веко, словно загородился им от чужих.

Бросившись к воде, Фёдор забыл про Бурку. Она сама приблизилась к воде. Не беда, что не отпущен чересседельник и нельзя дотянуться до воды. Бурка упала на колени, пофыркала на воду, будто раздувая по сторонам невидимые соринки, и надолго погрузила в воду мягкие губы.

Варвара достала из поклажи горшки, туюски, чайник, развязала узел с едой. И пока ели, всё время оглядывались на телегу, где лежал раненый. Что бы значило это «Сары»? Может, название улуса? ...Поели и снова в путь.

Теперь дорога стала торнее. Она вела к подножию одинокого кургана. Чем ближе Фёдор подъезжал к нему, тем больше ему казалось: будто кто-то приподнимает этот крутой холм снизу. Холм походил на круглую монгольскую шапку. Оторочкой её служили жёсткие пучки чия, разросшегося вокруг. Схожесть усиливал вросший в курган высокий изогнутый камень с полустёршимися письменами. Когда подъехали совсем близко, Зойка вскрикнула: «Ой, тятя!». С камня глядело грубо высеченное лицо. Широкие скулы, узкие глаза, вместо рта – углубление. В закатном свете один бок кургана пылал, другой темнел. Слепые глаза изваяния были устремлены в степь.

От кургана дорога потянулась на юго-запад, по взгорью, затем стала сбегать вниз, к излучине той же речушки. Вода темнела у берегов, под густым тальником стало прохладнее.

Скоро путники въехали в селение и остановились возле первых дощатых ворот. Темнеющий дом, окружённый плотной изгородью,

неприветливо молчал. Фёдор решил постучать: есть ли тут фельдшер и где можно переночевать.

Вдруг на улице появились два всадника.

– Мына, мына, Ойкан! – кричал один из них другому, указывая на телегу.

Голос был знакомый. «Тот верховой, что давеча у кургана...» – догадался Фёдор. Он спрыгнул с телеги.

– Сдавайся, орыс... Бандит, айна!

Один из верховых заехал вперёд, схватился за уздечку и потянул Бурку за собой, второй ударил её кнутом.

– Эй вы, как вас там! У меня в телеге раненый... Рехнулись вы, что ли? – крикнул Фёдор. Но телега уже катилась куда-то в темноту. Испуганно заплакала Зойка, что-то кричала Варвара. Фёдор, чертыхаясь, побежал за телегой.

«Отбить Сабиса у проезжих, не дать мальчишке проговориться в аале!» Эта мысль обожгла Тойона. Уговорить Сабиса, чтобы он свалил всё на русских! Пообещать ему что-нибудь. Согласится – тогда сбегутся аальцы, пикнуть рыжему не дадут. Закон степи...

Далеко обогнув дорогу, по которой ехал воз, примчался Тойон в аал, но около своей ограды с коня не слез, направился к аалсовету. «Дядя Пичон поможет», – думал он о председателе. Но аалсовет оказался закрытым на замок, на крыльчке сидел исполнитель Ойкан. Тойон подозвал его поближе, и скоро они подкараулили въезжающую в аал русскую семью.

– Стой, Ойкан. Уведи моего коня, дальше я сам... – Тойон натянул поводья, высвободил ноги из стремян. И вот он уже сидит в телеге, держит вожжи. Аал остался позади...

В кустах, у излучины Чобата, он остановил Бурку и стал тормозить Сабиса.

– Эй, Сабис, ты слышишь меня? Если спросят, как ты зашибся, скажи... Эй!

Он и приподнимал Сабиса, и повёртывал его на бок, пытался даже посадить. Но Сабис безжизненно валился в телегу. Тойон выругался. Бросив Бурку, телегу и Сабиса на ней, Тойон угрюмо побрёл от реки, в конце луга наткнулся на небольшую копну и повалился на неё.

Едва начало отбеливать на востоке небо. Тойон был уже на ногах. Кляча, видать, совсем заморилась вчера и стояла в нескольких шагах от того места, где её оставили. Тойон опять затормошил Сабиса. Но тот по-прежнему был в беспамятстве.

«Скоро утро. Надо что-то делать...» Тойон потянул за вожжи. «Только не к Хоортаю. Привязчивый старик допытываться начнёт...»

Боязливо озираясь, он повёз Сабиса в аалсовет.

### ГЛАВА 3

В стороне от степного большака круто опускается к речке Чобат плоскогорье. Место это носит название Чалбах-Тигей – Широкая вершина. Там, где плоскогорье переходит в долину, выбрали место для селения оседлые хакасы. Посмотришь из аала на Чобат, и кажется, что это не речка, а распущенный волосяной аркан, свитый из светлых и темных пучков: он и блестит серебристыми перекатами, и темнеет глубокими омутами, ушедшими под высокие яры. Длинен путь Чобата к большой реке Ахбан. Начинается он с зеленокудых таёжных гор – тасхылов, откуда Чобат спрыгивает, как дикий конь. Но чего не могут сделать с ним горы, делают степи.

На равнине Чобат меняет свой нрав. Течение его становится медленнее, и теперь он уже напоминает ленивую лошадь, которую всё время нужно подстёгивать. Подстёгивают Чобат паводки. По вёснам речка, вспухая от талых вод, посланных тасхылами, приносит и радость, и горе. Чобат становится настолько щедрым, что заполняет водой каждый оросительный канал. Перехлестнув через берега, он накатывается на пастбища и сенокосы, заливая их, а отхлынув, оставляет ил, гальку, коряги и разный мусор. Низины превращаются в топкие болотины, где вязнет скот, в круглые, оправленные осокой и камышами озера, где скапливаются тучи малярийного комара. Насыщая степь, Чобат отбирает её у скотоводов и землевладельцев – ведь самая жирная земля и самый сочный травостой в низинах. Однако плохо и без Чобата, без его разливов, потому что иначе и хлеба, и травы сгубит засуха. Хорошей дружбы с Чобатом не получается.

А сколько побоищ происходит на берегах Чобата вёснами, когда надобно пускать воду по канавам на поля! Аал поднимается на аал. Чаще всего схватываются у распределительных перемычек, перегородивающих каналы. Верхние аалы стараются захватить больше воды себе, нижние им не уступают.

Но теперь, в знойные летние дни, Чобат благодушен, умиротворён. Где-то он и ярится ещё, и крутит воду воронками, но таких мест немного.

Аал над Чобатом приклеился к горе, как ласточкино гнездо. Но что рассмотришь в нём ночью? Да и не до того сейчас Фёдору. Верховые угоняют подводку с Варей и Зойкой куда-то во мглу улицы. Справа и слева неровными зубцами чернеют избы, юрты. Впереди стукотят колёса телеги, лают собаки.

Улица кривая, узкая, и Фёдор натывается то на изгороди, то на кусты бурьяна. А за поворотом он оступился и угодил в канаву, полную воды. Фёдор отстал, пока выбирался, потом хрипло помянул бога и пустился дальше.

– Варя-я! Я догоню, – кричал он.

Первой же мыслью Вари было – соскочить с телеги. Она обхватила одной рукой Зойку, другой сильно оттолкнулась, и обе кувыркнулись на обочину дороги. Варя ушибла колено, но девочка была невредима – упала на неё. То ли всадники в темноте сразу не заметили их бегства, то ли им нужны были не сами проезжающие, а их пожитки, но телега не остановилась.

Ещё не чувствуя боли, Варя поднялась, крепко прижала к себе дрожащую, всхлипывающую Зойку и в тревоге стала звать мужа:

– Фёдор, Фё-до-ор! Где ты?!

– Здесь... здесь я! – отозвался Фёдор. Варя шагнула ему навстречу. – А телегу угнали? Может, они ещё недалеко...

Фёдор рванулся вперёд, но тут же остановился. Он нашёл бы в себе силы догнать телегу, у него хватило бы голоса кричать, звать на помощь – не вымерло же селение. Но как оставишь в незнакомом месте жену и дочь! Фёдор растерянно глядел на сереющие во мраке строения, на дорогу. Что теперь делать?..

По небу прокатывались сполохи, и в их коротком и неверном свечении дома, юрты, заборы казались ненастоящими. Призрачная сторбленная фигура приблизилась к ним.

– Кемнер? – произнёс человек. Голос его старчески дребезжал.

– Понимаешь, дедушка, ехали мы в Бондаревку, – заговорил Фёдор. – Родня, знакомые там. Сам я кузнец, работу ищу. Коней ковать, шины делать, лемех у плуга оттянуть – всё это могу...

Вот... – он зачем-то показал старику свои крупные руки. – Оставили Минусинск, поехали. А дело дорожное, всякое может случиться. У нас вышло – хуже некуда. Двое верховых угнали нашего коня с телегой...

– Мама, мне холодно, – пожаловалась Зойка.

Голос ребёнка окончательно успокоил старика.

– Юртам надо, – сказал он. – Юрта огонь, тепло. За мной ходить...

Через некоторое время старик подвёл ночных гостей к невзрачному приземистому круглому строению возле вросшей в землю избы и, коснувшись палкой порога, попросил их войти внутрь.

Варвара впервые очутилась в хакасской юрте. Всё ей было в диковину. Круглое помещение не имело окон, в самом верху сведённой конусом крыши было проделано отверстие для дыма. Под ним, на земляном полу, был устроен грубый кирпичный очаг, в котором, чадя, горели коровьи кизяки. К одной стене была приставлена низкая лежанка, застланная овчинами, к другой – деревянный ларь, к третьей – ящик, оббитый полосками жести. Четвёртую стенку занимали полки с деревянными блюдами и корытцами, мельницей для муки, глиняными горшками, кринками, чашками. С пятой стенки глядели две потемневшие иконы, а на шестой висели хомут, волосяной аркан и пастушеский бич. Пахло кизячным

дымом, сырмятной кожей, овчинами. Но всё перебивал запах кислого молока, квасившегося тут же, в большой кадке.

Зойка, перестав хныкать, тоже с удивлением оглядывала убранство непонятого домика. Ей казалось, что она попала в терем-теремок.

Старик подживил огонь. Сухие дрова весело затрещали, и над очагом заметалось пламя. Дым привычно потянулся к отверстию в крыше.

При свете старик оказался худеньким, тщедушным, но бодрым. Задубелая бронзовая морщинистая кожа обтягивала его широкие скулы, вислые веки полузакрывали глаза, но когда старик поднимал их, зрачки в узких щёлочках блестели живыми чёрными угольками. Волосы старика, напоминавшие копну, были с проседью. Такими же были его усы и борода. Старик назвался Хоортаем.

– А меня кличут Фёдором Павловичем. Фамилия Полынцев. Вот моя жена – Варвара Петровна, а это наша дочка – Зоя...

Старик одобрительно кивнул.

Примостившись на корточках перед очагом, Хоортай поставил на горячие камни закоптелый чугунный чайник, который вскоре забулькал, запарил, и в юрте к запаху смолистого дымка добавился новый, терпковатый, сладкий запах заваренного шиповника.

Старик колдовал у очага, выдвигал низкий столик, готовил чашки, ворчал:

– Худой люди. Кругом бандит ходил, конь резал, баб таскал... Говорка слышал – русский бандит пастуха избил, мальчишкам... Какой орыс-бандит – не понимай.

Федора Павловича встревожили слова старика: «Русские... избивали». Тот, на кургане, тоже кричал: «Зачем избивали нашего?..». К чаю Хоортай подал пызлах, поставил в блюде сметану.

Зойка ни к чему не притронулась. Мать пощупала у неё лоб – он горел.

И гость, и хозяин пили чай до пота. Щёки старика залоснились, на них, казалось, меньше стало морщин, глаза смотрели благодуще. Фёдор разглядел: левый глаз Хоортая больше правого.

Отставив пустую чашку, Хоортай полез в карман за трубкой и кисетом. Трубка его была удивительной – с медной узорчатой оковкой, сделанной так правильно и тонко, что Фёдор Павлович, знавший толк в чеканке, удивился работе неизвестного мастера. Хоортай предложил ему покурить из трубки.

– Да я некурящий, дедушка, – улыбнулся кузнец. Но, чтобы лучше рассмотреть трубку, всё-таки принял её из рук старика, сделал вид, что затягивается.

– Хорошая трубка. Большой мастер, наверно, делал? Кто он?

– Зачем – кто? – улыбнулся в усы Хоортай. – Трубка сам делай, – и ткнул чёрным пальцем себе в грудь.

Кузнец ещё раз похвалил трубку, и старик довольно засмеялся, обнажив зубы.

– Зачем далеко ехал? Тут жить, наш аал работай, – предложил он Фёдору, – наш аал дело находил...

– Нам надо в Бондаревку, – сказал Фёдор. – Там родня есть, товарищ есть.

– Сердце хороший – друг будет, – улыбнулся Хоортай.

– Рука есть, топор брал – дом стал. – Хоортай притронулся к мускулисту плечу кузнеца. – О! О, сила большой.

Видя, что гости утомлены и расстроены, старик принялся расстилать на полу шкуры, на них положил чёрную кошму с белым узором, под головы постелил шубы, а укрыться дал овчинным покрывалом.

– Отдыхай надо, – сказал он, показывая на приготовленную постель, занявшую половину юрты. – Спи. Ночь – чёрный, утро – белый, всё видеть... Ночь не ходи. Юртам закрывал эта палка.

– Спасибо, дедушка Хоортай. Да как-то... нехорошо получается. Сам-то где будешь ночевать? – спросил кузнец, видя, что старик, взяв свёрток поменьше, направился к двери.

– Сам сарай спать... – Хоортай подал Фёдору крепкий засов, повернулся к стене, где стояли иконы, и пробормотал: – Осподи, палгаслави.

– По-русски молишься? – удивился Фёдор.

– Русский бог, русский молитва, – осклабился Хоортай. – Батюшка-поп учил...

Полынцевы улеглись на шубы. Зойка забылась во сне. Фёдору и Варваре сон не шёл. В очаге погас огонь, и в дымовое отверстие стало видно тёмное небо. Сверху в юрту заглядывала одинокая неяркая звезда. Снаружи слышалось царапанье – кот, цепляясь когтями за выступы в стене, взбирался на крышу.

Внутри юрты, близ дымового отверстия, на одной из жёрдочек раздавалось щебетанье встревоженных ласточек. Одна из них, сорвавшись с жёрдочки, принялась беспокойно летать по юрте.

– Федя, почему ты ничего не сказал старику о том парнишке? – шёпотом спросила Варя.

– Я, понимаешь, совсем уж было... да потом подумал: а вдруг не поверит? Взбрёт в голову, что это мы сами ихнего паренька-то, и выгонит из юрты. Что нам с Зойкой делать? И ты зашиблась. Нет, надо переночевать, а утром пойти в сельсовет, или как он тут... аал-совет. Мальчишка конокрадам не нужен. Он уж и в себя приходиться стал. Вот только кузнечный инструмент мой... Но, думаю, он тут никому не спонадобится. Бурку зарезать могут. Ладно, утро вечера мудренее...

Варя повздыхала, обняла Зойку и впала в забытьё. Потом сон навалился и на Фёдора.

Проснулся он от тихого стука в дверь.

– Кто в юрте? Откройте, – донеслось снаружи. Фёдор не отвечал.

– Есть тут кто из русских? Ваш конь и телега в аалсовете...

– Правда? – спросил Фёдор, приблизившись к двери. – А вы кто?

– Спице, спице, утром придёте за ними. Пораньше... – За дверью послышались удаляющиеся шаги.

«Что за человек был? – думал Фёдор. – Говорит по-нашему вроде чисто. Кто его знает... Ладно, хоть Бурка не пропала...»

Чуть свет, шепнув полусонной жене, что Бурка нашлась, Фёдор вышел из юрты.

Варя бросилась догонять мужа.

## ГЛАВА 4

Старый Хоортай любит ночную свежесть и спит под открытым небом, завернувшись в нагольную шубёнку, дыша запахом сухих кизяков, лежащих кучами тут же, на крыше. В эту ночь он долго ворочался с боку на бок, под ним скрипели ветхие покоробленные тесины.

Думалось ему о многом. Слух нехороший идёт по избам и юртам про бандитов. Какой мальчишка-табунщик попался им? Чей он? А может, мальчишка из чужого аала? Вот внук Сабис никому бы не дался. Ездит он на первом в степи бегунце – такого коня не догонишь... Наконец Хоортая сморил сон, и спал он, пока петух на насесте не принялся горланить в четвёртый раз.

Только проснулся, только глаза протёр Хоортай, а трубка уж у него в зубах, руки тянутся высечь из кремня красные искры, чтобы подожгли они сухой трут, чтобы от трута загорелась насыпка в трубке. Радуетса Хоортай солнечному восходу, приятно ему оглядывать с крыши пробуждающуюся степь. Вот солнце показало край румяной щеки, заблестели освежённые росой хлеба и травы вокруг аала. А солнце всё выкатывается в небесное раздолье, распуская золотые волосы. Покойно на душе у Хоортая, мирно попыхивает дымком его трубка. Синие струйки тянутся из неё, колеблясь, и тают в утреннем воздухе.

Опять голоса, надрываются петухи. Им, наверное, кажется, что это их крики разбудили солнце.

Хоортай не спешит слезать с крыши. Трубка ещё не докурена, не хочется и заезжих людей будить. Там, в юрте, тишина, – значит, ещё спят. Лучше он подождёт тут, на крыше, вдосталь налюбуетса, как солнце начинает творить день. Глядит старик на свой аал. Видят стариковские глаза далеко – и на восход, и на закат.

С восхода, у въезда в аал, заблестели на солнце окна большого

пятистенного дома. Широкие окна. Других таких в аале не встретишь. Ещё бы! Ведь дом-то бая Хапына. Кто с ним сравняется?

А вот сюда поближе, наискосок через дорогу, небольшой домик. Тремя новыми тесинами подправил хозяин старую крышу. «Чудак этот Апах, – думает старик, – тесины приколотил с улицы, а со двора крыша дырявая осталась».

Прямо напротив жилья Хоортая улочка изогнулась, по обеим сторонам её густо разросся бурьян. А на закат от его двора – избы, крытые дранкой. Сеней нет. Вон хозяева выходят наружу – пастух Пулат, батраки Тирнук и Такан...

Ещё поворот делает улица. Там стоят избы Каноя и Ойкана, а за ними виднеется крыша аалсовета. «Большой дом – аалсовет, а сидит там один человек, – приходит на ум Хоортаю. – Зачем одному такой дом?..» Старик пытит трубкой и продолжает наблюдать...

Вон старые гусаки и гусыни с выводками гусят, гогоча и переваливаясь, шествуют к реке, которая алеет в эту пору. Вон во дворах замелькали разноцветные когенеки и платки.

Суетятся хозяйки возле коров. В каждом деннике струйки молока звенят о ведра. Над юртами вьются голубовато-белые кизячные дымки. А вот поднялся в небо дым потемнее, что от смолевых листовенничных дров. Жарко, наверное, горят они в очагах Хапына и Аларчона; эти двое не жалеют топлива, круглый год жгут хорошие дрова...

Что-то захлопало над самой головой Хоортая. Он поднял голову и увидел застигнутую зарёю сову. Увлеклась, должно быть, охотой, дотянула возвращение в лес до рассветного часа и поплатилась за это... Хоть и тарашит глаза, а летит вслепую. Кувырком летит...

Однако чего это русские так долго спят? Хоортаю надо поскорей подоить и выгнать в стадо белую коровёнку, а ведро в юрте. Замякнется – старухи-сплетницы изведут: «Старик Хоортай дрыхнет, покуда все мягкие места не отлежит». Ничего не поделаешь, придётся все-таки разбудить постояльцев. Но сначала он наберёт топлива. Старик завозился на сарае, складывая в полу старенькой шубёнки сухие кизяки. Набирал и думал:

«Как мой Сабис там, в степи? Был бы он дома – заменил бы старика, угнал бы корову на выпас. И пёстрога пса Чохыраха нет – увязался за Сабисом...»

Спустившись с сарая, старик услышал конский топот. Через невысокий плетень увидел – скачет к его двору, сломя голову, на взмыленном коне Тойон, без шапки, волосы взлохмачены.

– В аалсовет, Хоортай-ага! – крикнул Тойон, не останавливаясь.

Старик не успел и слова вымолвить в ответ. А крик Тойона доносился уже от других дворов:

– В аалсовет!..

Хоортай, придерживая кизяки, пошёл в юрту, толкнулся в дверь,

она поддалась. Рыжего русского и его жены в юрте не было. На овчинах спала одна девочка. Скрип двери разбудил её. Зойка увидела чужого старика и вспомнила, где она.

– Мама, тятя! – вертя головой, звала она.

Хоортай подошёл к Зойке, положил руку ей на голову:

– Не надо плачь, хызычах.

Он вышел из юрты, оставив её открытой, и зашагал в аалсовет.

Старик неуверенно поднялся на крыльцо и открыл дверь. Занёс ногу на порог, и тут трубка вывалилась у него изо рта.

– Сабис, палам! – вскрикнул Хоортай, бросаясь в комнату.

На широкой деревянной лавке лежал его внук Сабис. Он не открывал глаз, дышал тяжело. Лицо его было в синяках. В бреду он непонятно бормотал.

– Ой, палам! Ой, Сабис! – продолжал причитать старик.

– Ох, дедушка! Так это ваш?..

Хоортай повернулся на голос. Перед ним, держа мокрое полотенце, стояла вчерашняя женщина. Ничего не понимая, он присел возле Сабиса на краешек лавки.

Варя положила на лоб Сабису мокрое полотенце, и парень успокоился. «Зря не сказали старику, – думала она. – Теперь как объяснить?»

Хоортай увидел – внук жив. Но что с ним всё-таки? А-а, вот оно!.. Вчерашний слух: «Русские бандиты...».

Он снова наклонился над внуком.

– Дедушка, не трогайте, ему лучше, – успокаивала старика Варя, а сама укоряла себя: «Ах, зачем я не то говорю...».

«Какой айна изувечил внука? – размышлял Хоортай. – Кому Сабис плохо сделал?» Густые, чёрные, с проседью брови его задвигались, глаза стали колючими.

И тут вошёл Тойон, успевший объехать весь аал.

Хоортай-ага, там бандит, – сказал он, направляясь в кабинет председателя.

– Кто, Тойон? Кто? – допытывался Хоортай.

– Вот её муж...

Варя повернулась к ним, пытаясь понять, о чём говорят по-своему старик и парень. Тойон, заметив, что она прислушивается, шепнул:

– Тохта, хатычах!

Он снова что-то сказал старику, усадил его на скамейку, сам вошёл в кабинет.

Варя хотела поправить полотенце на лбу Сабиса, но Хоортай оттолкнул её. Она всё поняла и села на другую лавку.

«Федя, Федя, – мысленно кричала она, – не молчи там, Федя!

Тебя хотят напрасно обвиновать. Это всё тот, вчерашний верховой».

А там, в кабинете, куда зашёл Тойон, разговаривали Фёдор и председатель аалсовета Пичон Почкаев. Голоса раздавались то громче, то глуше.

Пичон сидел за столом, покрытым красным сукном, Фёдор – против него на лавке. Пичон недовольно повернул в сторону Тойона голову с гладкими лоснящимися волосами, показал, чтобы тот плотнее прикрыл дверь. Тойон сильнее потянул за скобу, но дверь всё равно отошла. Парень встал у печки, справа от председателя, прислонился к ней, грызя ногти.

Едва вошёл Тойон, Фёдор вскочил, вытянул руку, показывая на него, но не успел выговорить ни слова. Пичон жестом вернул кузнеца на скамейку. Фёдор с недоумением и досадой глянул на председателя: «Что за мороку собрался разводить?».

Пичон переставил под столом короткие ноги в хромовых сапогах, навалился на столешницу, подперев пухлой рукой выбритую до синевы щёку и поблескивая ровными зубами. В правой руке он вертел карандаш, загадочно поглядывая на русского чуть прищуренными карими глазами из-под тонких, почти прямых бровей. Нижняя губа Пичона чуть выпячивалась, и казалось, что он поддразнивает собеседника. Ловчее пристроившись к столу, Пичон раскрыл толстую тетрадь и что-то записал. Потом опять поглядел на Фёдора, покачал головой.

– Вид усталый. Плохо ночевали?

– Нет, вроде. Ночевали хорошо...

– Почему вы вчера не разыскали меня хоть дома? Вам бы любой показал. Знаете, какое сейчас время...

Конечно, Фёдор знал, что, хотя колчаковщину разгромили около года назад, время ещё беспокойное.

– Вышло так... У нас заболела девочка – сильно перепугали её.

Пичон сочувственно пощёлкал языком и тут же, поправив рукой блестящие волосы, спросил:

– Вы знаете, кто угнал вашу подводку и... почему угнал?

Фёдор снова повернул голову к печке, где стоял Тойон:

– Вот он был. Он ещё там, в степи, подъезжал к нам, грозился. Голос я запомнил... А второй то ли Мына какой-то, то ли Ойкан. Так этот его называл...

Губы Пичона растянулись в усмешке:

– «Мына» – это он по-хакасски на вас указывал – «Вот они!». Ойкану указывал, нарочному сельсовета. Ваш конь и телега у него под сараем.

– Видел... Но тогда... – Фёдор пожал плечами. – Я что-то ничего не пойму.

– Сейчас поймёте, – короткие ноги Пичона запереступали под столом. – Кого вы везли на телеге?

– На возу человек был. Вот тот мальчик, что в прихожей лежит.

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

– А ещё что на телеге было? – спросил Пичон.

«Куда гнёт?» – подумал Фёдор, но ответил:

– Всё наше имущество. В Бондаревку мы ехали... Вы что так любопытствуете?.. Ну был там ящик с моими кузнечными и слесарными инструментами, одежда, книжки... Жена у меня книжница... А ещё карабин мой...

– Ага, карабин, – приподнялся Пичон.

– Карабин, – в тон председателю ответил Фёдор. – Документ на него имею. Награда это, там, на патроннике, и надпись вырезана...

– Покажите документ, – потребовал Пичон.

– Документ вот, – Фёдор порылся в нагрудном кармане пиджака, достал бумажку с печатью.

– Дайте сюда, – протянул руку Пичон.

– Не-ет! – помотал головой Фёдор. – Читайте в моих руках.

– Он подержал перед носом Пичона документ и снова спрятал в карман.

– Хитрый, чолчанах! – сказал Пичон, не то одобрительно, не то с издёвкой. – Бумагу имеете, это хорошо, а стреляете возле табуна зачем? Табунщика искалечили зачем? За это будете отвечать.

– Да ты чего напридумывал-то? Мы его подобрали у кургана. Его чуть беркуты не склевали. Хорошо, что выстрелил. Разлетелись птицы. Тогда мы подъехали, взяли мальчика...

Председатель повернулся к Тойону. Тот мигом отскочил от печки к столу и, злобно посмотрев на Фёдора, выпалил:

– С горы глядел, хорошо видел – он стрелял, Соловый конь пугал, Сабис уронил...

– Как ты сказал? – кузнец яростно рванулся к Тойону. Тот невольно отпрянул. В руке Пичона тускло блеснул наган.

– Спрячь игрушку, председатель, – крикнул Фёдор. – Я её не боюсь. Фу, чёрт! Выходит, ты поверил напраслине? Какая же ты Советская власть?

– Тойона я знаю, тебя – нет, – отрезал Пичон. Тойон, опасливо косясь на силача-русского, вышел.

– Слушай, председатель! – Фёдор пылал гневом. – Ты головой-то своей думаешь или нет? Если бы я его бил, я его там бы и кинул...

– А если ты его привёз сюда нарочно, чтобы замести следы? Откуда ты знал, что он из этого аала? Ты мог и стороной проехать, увезти его подальше. А насчёт карабина – кто поверит твоей бумажке? У нас тут бумагам не верят.

– Ах ты... – Фёдор еле сдержал себя. – Значит, тебе наплевать на печать ревкома? Наплевать на то, что награда заслужена кровью? Воевал я! – выкрикнул Фёдор. – Мы били их, паразитов, купцов, кулаков и ваших баев.

– Каких ваших баев?

– Баев-инородцев, – Фёдор забыл в горячах слово «хакасы».

– Как? Инородцев? Значит, мы – инородцы? – приподнялся Пичон, сверля Фёдора потемневшими глазами. – Царь называл нас «инородцами», и ты тоже? Во-он ты из каких!..

– А ты сам из каких, гражданин председатель? – кузнец шагнул к Пичону. – Видел я у нас в партизанском отряде бойцов из ваших деревень. Они так не разговаривали. Попроще... И ты ко мне не цепляйся. А если хочешь обо мне узнать, можешь спросить в Минусинске или... как вы его – в Минсуге, у председателя ревкома Егора Кузьмича Губенкова.

Пичон вскинул на Фёдора недоверчивый взгляд, наткнулся будто на стену. «Айна тебя знает, кто ты такой!» Но заговорил уже мягче:

– Почему вы сюда, в наш аал, ехали? У нас нет русских и никогда не бывало. Язык наш не знаете...

– Не знаю... пока... Зато сам председатель запросто говорит по-нашему, – нашёлся Фёдор. – Только некогда мне с вами препираться. Пойду за конём и телегой.

– Ну что же, идите, – усмехнулся Пичон. – Но... – он показал в окно. – Видите, сколько народу собралось у аалсовета? Думаете, вас пропустят? Не-ет. Для них вы – бандит.

Краешком глаза Фёдор глянул туда, куда показывал председатель. Увидел насупленных мужчин, черноголовых, широкоскулых, приземистых, в сборчатых рубашках с вшитыми оплечьями разных цветов, похожими на погоны; женщин в длинных, до пят, таких же сборчатых платьях, в цветастых платках, повязанных концами назад, с косами, спущенными на грудь и увешанными монетками. Выделил в толпе низенького, плотного, будто тугой мучной куль, но шустрого мужчину.

Сильно кося глазами, тот переходил от одной группы людей к другой, что-то громко рассказывал, жестикулировал. Тут же, в толпе, шнырял Тойон.

«Подстроили... – нахмурился Фёдор. – Сволочи».

– В степи такой обычай, – снова заговорил Пичон, – виноватого судит и наказывает сам народ. Убьют – убьют, выдержишь – отработывать будешь аалу...

– Это при Советской власти?! – возмущенно перебил Фёдор.

– Садитесь, садитесь. Советская власть – я, но я один, наган один. Если устроят самосуд, ничего не смогу сделать.

– Отвечать придётся перед ревкомом, гражданин председатель! Ревком спросит и за меня, и за всю мою семью. Знайте...

– Ну зачем так? – смягчился Пичон. – Если люди увидят, что я вас наказываю, они разойдутся. За то, что стреляли возле табуна, придётся отобрать у вас карабин.

– Отобрать карабин? Не-ет, – выдохнул Фёдор. – Не пройдёт такой номер!

– В этом ваше спасенье. Ещё дешево отделаетесь. Поглядите на них... – опять кивнул председатель.

В кабинет ворвался говор толпы. «Хазах... Хоортай... Сабис...» – различил Фёдор слова, повторяющиеся чаще других.

К окну подошёл плотный хакас, тот, что размахивал руками, заглянул внутрь, покосился на Фёдора. Председатель быстро проговорил ему несколько слов и тут же перевёл их:

– Я сказал, что карабин у меня под замком, и велел им всем идти домой. Сейчас получите вашу упряжку.

– Без карабина не поеду! Вы же сами говорили, какое сейчас время.

Глаза Пичона злобно сверкнули.

– Не поедете? Ну попробуйте остаться. Узнаем про вас в Минсуге. Только дорога туда далёкая, долго прождёте. Где жить будете? Ночевали у Хоортая, теперь как вернётесь к нему? Сабис – его внук...

– Как – внук? – Фёдор озадаченно потёр лоб: «Вот тебе раз, теперь пойдёшь докажи старику!».

– Ага, испугались? – Пичон словно метнул в него указательный палец. – Значит, виноваты?

– Иди ты! – махнул на него рукой Фёдор. – Парня жалко мне. И старика тоже. А ты сам, – начал наступать он на Пичона, – что ж не велел отвезти парнишку прямо домой? Почто он тут лежал, брошенный? А если бы помер?.. Меня спросят – молчать не буду...

– Нельзя было везти. Сначала – следствие, акт...

– Акт? Бумажка? – голос Фёдора загремел. – У вас же бумажкам не верят... Ну, а человек, значит, пропадай?.. Какой ты, к чёрту, председатель...

Неплотно прикрытая дверь кабинета всё отходила да отходила. Вот она совсем распахнулась настежь, стукнула. Фёдор повернул голову и увидел: в дверях стояли Хоортай и Варя.

Кузнец шагнул к старику:

– Так это ваш внук?.. Мы его подобрали, везли на телеге. Вот она, – указывал он на жену, – перевязывала его...

Хоортай ничего не ответил, только поднял подбородок. Встретились две пары глаз – синие, откровенные и чёрные, опечаленные.

– Вы, дедушка, верьте нам... ему, – Варя кивнула на мужа.

– Пригрел этих русских на свою беду, – упрекнул Хоортая по-хакасски Пичон. – Увези внука. Умрёт – придёшь за справкой...

Старик побледнел и стукнул палкой об пол:

– Умрёт? Сабис! Мой палам будет жить.

– Ладно, смотри, если помрёт, на меня, Советскую власть, не пей.

– Так не отдадите карабин? – спросил Фёдор.

– Не могу. Для вашей же пользы. – Пичон встал.

Полынцевы поняли: разговор окончен.

– Варюша, – повернулся кузнец к жене, – такое дело... Пойдём отсюда...

Толпа возле ограды аалсовета не поредела, а женщин даже прибавилось. Звенели монетки на косах, мелькали саржевые когеники – чёрные платки с вытканными и вышитыми цветами.

– Бедный Сабис! Говорят, его сильно покалечили?

– Да. Такое несчастье произошло с Сагдаевым сыном, такое несчастье...

– Какие жестокие люди, эйлер? Собирались угнать все косяки Хапына...

– Может, и собирались. Этот орыс, наверно, хотел сам сесть на Солового...

– Однако где Соловый? – спрашивала круглолицая Онис, жена пастуха Пулата. – В телегу у них запряжён худой конь.

– Кто их знает, куда они его девали. А бабу с ребёнком бандит возит из хитрости, для отвода глаз. Так люди не догадаются.

– Нет, эйлер, не могу я этому поверить, – упорствовала Онис.

– Ты, Онис, молчи, – перебила её пухлая, разнаряженная в цветастое платье жена Хапына. – Русские – они хитрые...

Вдруг по толпе прошло движение, раздался глухой ропот. Русские показались на крыльце. Все повернули к ним головы.

Рыжебородый мужчина стоял прямо, его голова почти касалась навеса над крылечком. У женщины растрепались волосы, и она смущённо, под взглядами собравшихся, поправила их.

– Мына, мына! – кричал Ойкан. На крыльцо вышел Пичон.

– Мылтых чогол, – повторил он несколько раз, указывая на Фёдора.

– Видите, – повернулся он к Полынцевым. – Едва успокоил, сказал, что ружья у вас больше нет...

А Хоортай всё ещё сидел около внука, в прихожей аалсовета. Он думал о своей жизни. Семьдесят лет Хоортаю. Много видел он на своём веку. Помнит хорошее и плохое. Плохого было больше. Сейчас реже стал вспоминать Хоортай свою старуху Татью, которую свёз пять лет назад на кладбище, к подножию Хара-Кургена – Чёрного кургана. Было у них тринадцать детей, но в живых осталась только одна дочь Домна. Много камов шаманило в юрте Хоортая, но ни один не вылечивал ребятишек. Болезнь унесла бы и Домну, не отвези её Хоортай в Минсуг.

Не вспомнил бы Хоортай о том давнем случае, как вылечила Домну ласковая русская женщина, кабы здесь, в аалсовете, не увидел, что Варя положила Сабису на лицо мокрое полотенце.

Внуку стало легче. Злые люди разве так поступают? Рыжий куз-

нец показывал руки в мозолях. Пичона укорял за то, что домой Сабиса не привёз. Русский похож на хорошего человека.

Баба его – тоже. Девочка одна боится оставаться. Оставили!.. Как могли они Сабису худо сделать? Не прятались, ко мне пошли. А Хыпын и Пичон прятались от красных. Сидели, как мыши, в подполье...

Старик приподнял полотенце со лба внука. Почувствовав прикосновение руки, паренёк простонал, открыл глаза.

– Саби-ис, палам! – обрадовался Хоортай. – Скажи, Сабис, – припал Хоортай к уху внука, – кто это с тобой так сделал?

Внук не отвечал, только застонал громче. Опираясь на таях, Хоортай тяжело встал, вышел на крыльцо, к Фёдору и Варе.

– Почто молчал? – спросил старик, не обращая внимания на стоявшего тут же Пичона. – Теперь как верить? Юрта ходить надо, думать надо. – Он протянул руку в сторону своего двора. – Твой маленький хызычах там плачет, – обратился он к Варе, потом посмотрел на Фёдора: – Телега забирай, Сабис вези...

– Сейчас, дедушка! – рванулся Фёдор с крыльца.

Хоортай, как ребёнок, вынес внука, уложил на телегу.

Сам взялся за вожжи. Варя села, положила голову паренька на колени. Фёдор, чуть горбясь, пошёл следом. Толпа качнулась, придвигаясь к подводе с обеих сторон, но тотчас же отхлынула, пропускающая старика.

## ГЛАВА 5

Наголодавшаяся за ночь Бурка резко свернула к чертополоху в углу двора, телегу накренило, трянуло, заднее колесо зацепилось за столбик ворот. Кузнец, шедший следом, приподнял задок телеги вместе со всем, что в ней находилось, оттащил от столбика. Хоортай хмыкнул, ничего не сказал.

Сабис при толчке открыл глаза и коротко простонал.

Из юрты выскочила Зойка, бросилась к матери. Варя увидела: веки у дочурки покраснели, припухли – плакала всё время, пока оставалась одна.

– Мама, мы сейчас поедем? А его тоже с собой возьмём?

– Кого, доченька?

– Вот его... – Зойка показала на Сабиса и запнулась, не зная, как назвать его, мальчиком или парнем.

Хоортай опять что-то промышчал себе в усы.

– Нет, Зоенька. Вот его дедушка, – показала на старика Варя.

Хоортай, осторожно прижимая к себе Сабиса, понёс его в юрту, нагнул перед низенькой дверью, вытягивая вперёд руки с дорогой ношей. Он как будто поручал внука духам-хранителям своего очага.

Положив Сабиса на шкуры, старик сел около него, поджав и скрестив ноги, устался в угол юрты. По лицу его блуждали тени.

Он слышал, белоголовая хызычах сказала: «нашли». «Как можно «найти» табунщика, когда он на коне? Значит, всё страшное случилось с внуком до того, как его увидели русские!..»

Хоортай всё припадал ухом то ко рту внука, то к его груди, а у самого с души спадал тяжёлый камень – «Нашли!..»

«Кто привёз в аал нехороший слух? – спрашивал он себя. – На закате об этом стали говорить. Кто-то быстро ехал от того места, где пасся табун. Чей конь такой резвый?..»

Старик вновь переживал картину, увиденную сегодняшним утром: клубы пыли на дороге и скачущий по улице с криком: «В аалсовет!» всадник Тойон!.. Повернув внука поудобнее и подоткнув ему под бок шубное одеяло, он поднялся на ноги. Из юрты вышел уже другой Хоортай – ноги его не волочились.

– Твой конь выпускай пасти, – сказал он Фёдору. – Сами изба ходить. Там живи. Совсем пустой изба летом. Домна и Кнай отару пасти. Сагдай – табун сторожи...

– Дедушка! – кинулся к нему Фёдор. – Спасибо. – Он обнял Хоортая и прижал к его смуглой щеке, к его сединам, перевитым чернью, свою широкую рыжую бороду.

Белая корова, так и не выпущенная Хоортаем на пастбище, жалобно мычала за сараем. Варя подошла к ней.

– Батюшки! Она ж не доена. Вымя нагрубло... Дедушка, где у тебя ведро? Можно, я подою?..

Она села под корову, поставила ведро, ласково погладила вымя. «Тйом, тйом», – зазвенели белые струйки, падая в ведро. Молоко пузырилось, от него, парного, шёл домашний запах.

Варе показалось, будто не было у неё никаких сборов и переездов, будто время никуда не передвинулось и сама она всё ещё переживает какую-то далёкую, но не забытую пору. Это было даже не воспоминание. Просто после сегодняшних треволнений она взялась за то, что ей знакомо и привычно, и это как бы наваяло ей в чужом далёком селении что-то из прошлой жизни.

Видит себя Варя сироткой, годами такой же, как Зойка, взятой из милости в богатый деревенский дом. Перед ней мелькнуло похожее на иконный лик, благообразное лицо хозяина дома Касьяна Самохвалова. Ей снова озорно улыбнулся чернявый, с ласковыми телячьими глазами шалопай Фролка, сын Касьяна...

С Фролкой вместе росли. В будние дни он бегал к дьячку, который учил ребятишек грамоте по дворам. «Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро...» – заучивал Фролка. Приходил дьячок со своими учебниками и в дом Самохваловых. Им отводили большую горницу, где начиналось самое удивительное для неё.

Варя хоть и не училась у дьячка, но садилась тут же со всей ребятнёй.

– Слоги... – говорил седенький дьячок с волосами, смешно собранными сзади в косичку, перевязанную малиновым шнурком, – слог – сие есть основа глагола, сиречь слова...

И ребяташки повторяли за ним по церковно-славянской азбуке что-то уж очень несуразное: «Бра, вра, гра, дра, зра...».

– Варька! – отрывал её от непонятных словечек визгливый голос расплывшейся, как квашня, Самохвалихи. – Нечего тебе с ними рассиживаться. Неси пойло коровам...

И пойло носила, изгибаясь, как веточка, под тяжестью вёдер, и коров доила, дёргая неокрепшими, красными от мороза пальцами за тугие соски, и навоз выбрасывала из коровника.

Как давным-давно всё это было и далеко отсюда!

Грамоте Варя всё-таки научилась. Фролка помог.

– Тя-ать, – попросил он отца, – пусть Варюха тоже к дьячку с азбукой бегаёт. Кто по двое учится, тем легче.

Самохвалов сказал:

– Резон, Фролка. Коль тебе с Варькой способнее, не перечу. Одначе не забывай – ты купцом будешь, торговлю мою унаследуешь. Тут, брат, надобно смекать. А Варьке от ученья – что за прок?..

А она, Варя, читать научилась раньше Фролки, который ещё с трудом вникал, что это такое: «покой-он-люди-есть» или «како-наш-иже-глаголь-аз». «Эх, ты, непонятливый Фролка!

Ведь это «поле», «книга», – звонко смеялась она. А старший Самохвалов неодобрительно тряс пегой бородой и шипел на сына: «Кто она, Варька? Голь перекатная, а читает шустро. Ты-то, лоботряс, хоть бы за ней тянулся в ученье. Наследни-ик!..».

Фролка... Варя задумалась, и струйка молока пролетела мимо ведра. За ту Фролкину просьбу перед отцом – сто раз спасибо. И за то, что книжки показал, – тоже. Деньги у отца на них выпрашивал. Уж на что прижимист был Касьян, а тут не скупился. Шибко хотелось ему, чтобы сын грамотным стал. А Фролка придёт к ней, Варе, и отдаст книжки. Прочитала она и «Бову Королевича», и «Царевну-лебедь», и «Конька-горбунка».

Как-то дьячок пожаловался Касьяну, что Фролка всё ещё не силён в грамоте.

– Не силён? – удивился старший Самохвалов. – А сколько монетов у меня на книжки перетаскал!.. – И узнал, что книжки те не у Фролки.

– Ишь, книжница! Смотри-ка ты, – укорил он Варю. А сына отхлестал вожжами. Избитого Фролку Варя тогда погладила по голове, даже поцеловала... Только жалела, и всё. А он, как стал парнем, что подумал?..

Щёки Вари загорелись, будто её снова обжёт Фролкин поцелуй.

Что ж, был и он. А только Фролка хотел поозорничать. Бросил бы он её, сироту бесприданную...

«Ну, может, и не бросил бы...» – Варя усмехнулась и опять представила себе Фролку парнем. Чернобровый, кудрявый, форсистый, в шёлковой малиновой косоворотке с витым пояском. И глаза – большие, красивые. Много девок по нём сохло, а не женился...

Да и не пришлось ему жениться. Время такое наступило, которое его вывернуло и людям показало. Ох показало!..

Варя поймала себя на том, что дёргает корову за пустые соски.

– Что это я?! Да мне дороже Феде никого нет. С тех самых пор ещё, когда он у Фролкиного отца работал...

– Палам, проснись! – осторожно тормошил мальчика Хоортай. – Вот молоко, выпей...

Он слегка приподнял Сабиса. Тот, полусидя, открыл правый глаз, левый был затянута опухолью. Сабис узнал деда, юрту.

Припал к чашке с молоком. Долго Хоортай держал молоко возле его губ, прежде чем была опорожнена чашка. Сабис откинулся и застонал.

– Ах, палам, ах, палам! – сокрушался над ним Хоортай.

В юрту вошла Варя с Зойкой. Белые прядки шевельнулись на мокром от пота лбу девочки. Было заметно, что она ещё больна.

– Плохо глотает, молоко пить надо, – посоветовал Хоортай.

Подумав, поднялся, пошарил за ларём, достал топор и вышел, оставив дверь открытой.

Варя вспомнила, что вещи на телеге не разобраны.

– Посиди тут, доченька, – сказала Зойке и тоже вышла.

Сабис не спал. Он с удивлением уставил видящий глаз на незнакомую светловолосую девочку, сидящую напротив. А сам думал: «Хорошо бы сейчас поймать Солового и проскакать на нём. Соловый опрокинул меня, но виноват Тойон. Это всё его дело... Буду с ним судом судиться, властью делиться».

И тот, о ком едва подумал Сабис, непрошеным гостем переступил порог.

– Сабис! Жив? – заговорил Тойон, улыбаясь. – Ты не сердись на меня, это была шутка. Сабис... Совсем не знал, что Соловый такой норовистый... Ты меня прости... – Он подошёл к постели Сабиса, присел. Взгляд ласковый, голос звучит мягко.

Сабис отворачивается.

– Сердишься? Ты прав, – соглашается Тойон, осматриваясь вокруг и косясь на Зойку. – Просить тебя пришёл: никому ничего об этом не рассказывай. Соловый будет твой... Насовсем... Если станут спрашивать, как разбился, – Тойон опять покосился на Зойку, – говори всем, что русские напугали коня...

Зойка узнала Тойона, ведь она видела его там, в степи; это его

лошадь куснула Бурку. «И лошадь злая у него, – думала девочка, – и сам он злой. Он только притворяется добрым».

Тойон потрепал пастушонка рукой по плечу: «Поправляйся». Потом поднялся и ушёл. Зойка видела – у Сабиса мелькнула улыбка.

А Сабис в мечтах мчался на обещанном ему Соловом, самом резвом иноходце во всей округе, – птицу на лету настигал, зверя на бегу догонял.

...Фёдор Полынцев шёл от аалсовета. День снова выдался солнечный, жаркий. «Будто у горна», – подумал Фёдор. Солнце прожигало сквозь чёрный выцветший пиджак. Снял его, повесил на руку, остался в косоворотке.

Встречные мужчины и женщины глядели на него с любопытством. Некоторые даже отвечали на его приветствия. И только двое босоногих мальчишек лет семи-восьми, возившихся в пыли возле ворот, стреканули от него во двор. Над заплотом, с той стороны, показались их вихрастые макушки.

Фёдор смотрел по сторонам, примечал: «Дворы какие-то куцые. А-а, вот оно что! Нет огородов... И чем питаются? – поднялась его бровь. – Неужели всё мясо? А что это там растёт под окнами? Батюшки, картошка! Нашли место...».

«А вот та канава!» – узнал Фёдор рытвину, куда угодил ночью.

Возле дома с крышей, починенной тремя новыми тесинами, стоял хакас лет тридцати пяти, в рубахе цвета яичного желтка и мятых шароварах. В руках он держал уздечку. Фёдор повернул к нему голову, чтобы поздороваться, но тот опередил его:

– Торова, труг!

– И ты здравствуй! – кивнул Фёдор.

– Туда ходил? – новый знакомец показал рукой на аал-советовский конец улицы.

– Туда, – подтвердил кузнец.

– Однако, зря, – быстро проговорил хакас.

– Откуда ты знаешь? – Фёдор заглянул ему в глаза, в глубине их прыгали чёртики.

– Апах видит. Ружьё твой чогол, нет.

Он пристроился к Фёдору, и они пошли вместе.

– Ковыл будем ловить, – показал Апах на уздечку.

– Ковыль? – удивился Фёдор и вдруг сообразил: – Кобылу, значит?

– Ага, ага, ковыл, – закивал, заулыбался Апах. Фёдор увидел, как на щеке его запрыгала родинка. – Ковыл надо подков делать передний ноги, – объяснил Апах. – Русский деревня поведём, хакаский аал подков не делай...

– Эх, – остановился Полынцев, – подковал бы я твою кобылу, да горна нет. И станок надо. Неужели так и маётся без кузницы?..

– Верна, маись... – Апах посмотрел на русского и вдруг предложил: – А ты кузнес, ходит говорка. Делай нам кузниса. Шибка нада...

– Сделаю! – неожиданно для себя согласился Фёдор. «Что это я? – подумал он. – Сразу, ни с того ни с сего».

– Ой, хорошо, – радовался Апах. – Русский кузнес аал живи, кузниса дыми, молоток стучи...

«Так-так, – опять подосадовал на себя Фёдор, – дёрнуло же за язык!» А где-то билась ещё не сложившаяся мысль: «Сказал тому крючку, председателю, что без карабина не поеду... Вот и останусь пока. Дело находится...»

– Аал совсем пустой, – посетовал Апах. – Люди пшенис, ячмень убирай – там, – махнул он рукой.

Полынцев увидел вдали желтеющие полоски, спросил:

– А ты почему не в поле?

– Пшенис убрал, – ответил с достоинством Апах. – Суслон склал. Теперича снопы вози нада. Много ездить. А ковыл некованый...

У поворота Фёдор расстался с Апахом. Прощались за руку. Полынцев опять вернулся думой к своему наболевшему. «Вот сходил в аалсовет, а вертаюсь ни с чем. На двери замок.

Ойкан сказал: «Пичон чогол». Уехал, значит, куда-то, крючок проклятый. Ну ничего, лжа, она как ржа, – пристанет к железу, да можно отшоркать. Того светлей будет».

## ГЛАВА 6

Чашей с пологими краями кажется Красное озеро. В знойные летние месяцы порядочно поубавилось в нём воды: выпило её солнце. Озеро обмелело, берега в кочках и камышах. Долина его уходит к пологим холмам. На взгорьях и в седловинах между ними, в самой долине, пасётся скот Хапына: бычки, тёлочки, овцы. Смотрят через озеро друг на дружку две пастушьи юрты, приткнутые к жердяным загонам. Весь берег в мелких выбоинах – следах овечьих копыт. В загоне – толстый слой притоптанного помёта. Всё тут пропахло овцами: и земля, и загородки, и юрты, и даже сама озёрная вода.

Чабанская шестиугольная юрта высохла на солнце добела. Зато хозяйка её загорела, продубилась за лето. Сорок лет Домне, а на вид можно дать больше. Вот она сидит сейчас на крыше юрты, сушит творог, во рту трубка. Домна блаженно щурится. Похожа она не на отца – Хоортая, а на мать – Татьяу: среднего роста, широкая в кости. Рукава платья она закатала, обнажив очень полные руки. Голова её повязана линялым вышитым платком, из-под которого выпущены две косы. Нос у неё сплюснут, будто прижала однажды Домна лицо к стеклу – рассмотреть чего-то за окном хотела – и

больше нос не захотел расправиться. Карие глаза посажены широко, немного раскосо.

В уголках губ – по несколько чёрных волосков.

С крыши ей видно, как матки с ягнятами щиплют траву на склоне холма. Ягнята взбрыкивают, носятся по степи, подлазят к маткам под брюхо, сосут, упав на передние ноги.

С чабанским посохом – ярлыгой – отару обходит дочь Кнай. Она молода, ноги не утомляются ходить за отарой, руки не устают махать ярлыгой. Лица Кнай отсюда, с юрты, не разобрать, но уж кто-кто, а Домна знает, что дочка миловидна, хоть загар и подпортил её румянец. Щёки у Кнай круглые, нежные, а посмотрит из-под бровей-ниточек чёрными угольками-глазами, любого парня с ума сведёт.

Домна слезла с крыши.

В юрте горел огонь. В дыму очага, на перекладине, коптилось мясо, нарезанное длинными тонкими полосками. Тут же, на другой перекладине, коптились овчины. Много с ними работы, прежде чем они станут шубой, тулупом, шапкой, рукавицами. Свежую овчину моют, скоблят, топчут ногами, чтобы сильнее разбухла. Потом намазывают мездру хлебной закваской, которая отъедает оставшийся жир. После этого овчину обрабатывают скребками, мялками, коптят, снова разминают. Домна – мастерица выделывать овчины. Да и какая хакасская женщина не знает всех способов выделки овчин! Разве только жена Хапына...

Долго возилась Домна с овчиной, прежде чем повесила коптиться. Теперь висят уже одиннадцать овчин: десять овчин – хозяину, одиннадцатую – себе за работу. Наберётся таких с пяток – можно и шубу сшить.

Дождь, наверное, сегодня разразится. Всю эту неделю так жгло солнце, так парило озеро! Домна слышит – потянуло ветром. Она берёт шест с привязанной к нему тряпкой, высовывает в дымовое отверстие. Лоскут на шесте сразу затрепыхался. «С заката ветер, – соображает Домна, – может ливень пригнать...»

Много дел у Домны. Ночью она не заснёт до рассвета – будет караулить овец. И днём спит мало. Домна ещё и сапожничают.

Немного отдохнув после возни с овчинами, она подсела к дверям юрты со своим чеботарством. В маленьком деревянном ящичке сложены толстые и тонкие, прямые и кривые шила и шильца – наколюшники, нитки из жил – прочнее обыкновенной дратвы, иглы, пучки щетины, берёзовые гвоздики. А ещё в её ящичке есть то, чего не встретишь у обычных чеботарей: серебряные и золотые нити, парча! Домна не просто шьёт сапожки – вышивает кожу узорами: листиками, сердечками, цветочками. Сапожки эти она вышивает для жены Хапына, щеголихи.

Домна работает сосредоточенно, изредка лишь поглядывая в

степь. Руки её искусно прошивают стежками гладкую кожу, изредка щёлкают ножницы – до того увлеклась, что забыла и про свою трубку. Вот пройдёт жена Хапына по улице в удивительных сапожках, и заговорят в аале о Домне: до чего искусства!

За свои изделия Домна не назначает платы, не умеет она оценивать свой труд. Пусть жена Хапына уплатит за сапожки столько, сколько ей не жалко...

Но если Домна-чеботарь не признаёт никакой ряды, то Домна-чабан свою ряды знает. Пропасёшь овец благополучно целый год – и за каждую сотню их получишь по ягнёнку. Но если потеряешь, да ещё суйгную, – хозяин возьмёт двух ягнят у тебя: считай, что овца принесла бы ему двойняшек. Худо, если овца сдохнет и ты забудешь вместе со шкурой предъявить хозяину её уши, на которых выстрижена метка. Овцу всё равно поставят тебе в начёт, осенью взамен возьмут твою... Иной год проходит благополучно, а иной – падает одна овца за другой. Оплошаешь, не за всех отчитаешься перед хозяином – пропал твой заработок.

– Домна, эй, Домна-а!

Оказывается, сосед, Хапынов пастух Каной, пришёл из той юрты, что на другой стороне озера.

– Почему подкрадываешься, Каной? Напугал меня, – сказала Домна. – Чего это у тебя с голосом? Как там Терпен?..

– Напился с поту холодной воды. Терпен с ребятами. Твои мужики, Домна, не приезжали?

– Совсем пропали где-то. Ни Сагдая нет, ни Сабиса. Не знаю, что думать, – Домна поправила на голове дырявый платок, заодно почесав твёрдым чёрным ногтем макушку.

– Недобрые дела в степи творятся, Домна, – Каной закашлялся. – Ох, недобрые!

– Что такое, сосед?

– Заезжал Тойон. Говорит, русские бандиты стреляли в какого-то табунщика.

Домна побледнела. Не мигая смотрела она на Каноя, ждала, что он скажет ещё.

– Табунщиков много, Домна, – успокаивал её Каной. – Верить Тойону надо не во всё. Какой-то на сороку похожий... Я вот к тебе пошёл за три версты, думал, ты что-нибудь слышала об этом от своих.

– В какой стороне беда? – быстро спросила Домна.

– Говорит, не знаю, – сипел Каной. – По его словам – к восходу от Чобата.

– Микола-боженька! – перекрестилась Домна. – Пусть беда пройдёт мимо нас, пусть она о камень разобьётся.

Чтобы успокоиться, она набила трубку из кисета и закурила. Каной заметил, что губы её дрожат.

– Ваши ближе сюда – что с ними станется!

– Да-да, наши у горы Оглах. Далеко ли тут верховому! – спохватилась Домна. – А Тойон – обманщик. Какие могут быть русские шатуны?

– Русские-то? Не знаю. Колчаки, наверно... Сама знаешь, недобитые спрятались по тайгам. Кто их нашёл? – вытряхивая трубку, заключил разговор Каной.

Опираясь на таях, он отправился к своим бычкам и тёлкам. Домна отложила сапожок, задумалась: «Отец, однако, совсем старый стал. Раньше приезжал каждый день проводить её, Сагдая, Сабиса, а теперь всё дома да дома... Года, наверно, подошли... Да-а, время идёт. Вон Кнай выросла. Давно ли у неё грудь была, как у мальчишки, а теперь... Невеста! Сабис вытянулся, тоже работает. А скоро, время подойдёт, и семьями обзаведутся. Сына женим, дочь замуж выдадим. Вот уж тогда сама перестану тут степь караулить».

К юрте, мыча, подошли две низкорослые коровёнки. Домна взяла ведро. Молоком от этих коров она выпаивает из рожка слабых ягнят. Молоком питаются и сами чабаны, но его мало, надоила лишь полведра.

Давно пришла из степи отара. Поужинав молоком, сыром и лепёшками, Кнай легла отдыхать, а Домна теперь должна бодрствовать. Время от времени она обходит загон, подбадривая криком собак, чтобы не заснули, лучше помогали ей караулить, успокаивает овец и возвращается в юрту. Сидит при свете жирника, расплетая жилы и суча нитки. Чутко прислушивается Домна к ночным звукам. Слышит, как утихомиренные овцы с ягнятами посапывают за стенкой, как бродят вокруг, изредка взлаивая и взвизгивая, её сторожевые собаки. А вот откуда-то издалека, с закатного края степи, докатился басовитый раскат.

И словно дунуло ветром, поколебав даже пламя жирника в юрте. Услышав дальний гром, Домна выбежала наружу.

Было около полуночи, она определила это по отдельным редким звёздам, ещё не закрытым тучами. Дул сильный ветер и гнал чёрную мглу. Время от времени её прорезали ослепительные дорожки молний, и почти сразу раздавался грохот, будто там, в тучах, тяжело ворочались мельничные жернова.

Пока Домна, окликая собак, обошла овчарню, примчался дождь. Он насквозь прохлестнул лёгкую одежду, и Домна заторопилась в юрту – надеть сырцовую шубу. А ещё вспомнила она, что под дымовым отверстием юрты овчины висят. Промочит их, пожалуй.

Отодвинув овчины и одевшись, Домна подошла к спящей Кнай. Разметалась дочь во сне. Длинные ресницы сжаты и оттого кажутся ещё чернее, губы полураскрыты. Домне жаль было тревожить её. За день находилась Кнай по степи, намаялась. Пусть уж спит...

А дождь всё сильнее барабанит по крыше и скоро превращается

в ливень. Ветер усиливает его; у ветра широкая горсть – махнёт разик, и на тебя будто озёрная волна накатила. Молнии пляшут над испуганной Домной. Овцы в грозу станут жаться одна к другой, грудиться в открытом загоне, а их там полторы тыщи. Сами себя помнут и ягнят подавят. Хоть и лето стоит, а волков тоже надо остерегаться.

– Халтаррах! Халтаррах!

Большой пёс, невидимый в темноте из-за чёрной шерсти, побежал к хозяйке, ткнулся ей мордой в коленку.

– Идём, Халтаррах!

Она открыла загон, пошла среди овец, помахивая таяхом. Ветер свистел, ливень сёк овец, и они шевелились сплошной тёмной кучей. От озера доносились всплески волн. Овцы начали с бляением грудиться к изгороди с подветренной стороны так, что затрещали кольца.

– Узы, Халтаррах! – крикнула Домна и сама кинулась растаскивать и разбрасывать овец.

Собака носилась вокруг, остервенело лаяла. Чабанка хватала овцу за овцой за мокрую шерсть, отшвыривала их от изгороди. Она пробивалась и никак не могла пробиться к середине этой живой ворошащейся кучи. Ноги её скользили в мокром, чавкающем овечьем помёте, руки заломило. Не хватало дыхания. Силы оставляли Домну.

– Халта-ра-ах! – хрипела она, задыхаясь, чуть не плача от бессилия.

Ей некогда было смотреть вверх, где темнота перемежалась огненными вспышками, где всё грохотало и свистело, откуда лились уже не струи, а один сплошной тяжёлый поток, шумно разбивающийся о землю. Домна не чувствовала, что промокли ноги, что оклизла земля, что упал платок, который тут же затоптала отара. Отбрасывая овец, она сделала неловкое движение и пошатнулась. Падая навзничь, Домна подняла руку, закрыла голову. И в тот же момент от земли до неба выросло огненное ветвистое дерево, раздался неслыханной силы удар.

Всполошённые овцы опять кинулись в кучу в то место, где лежала так и не сумевшая подняться Домна. Кнай вздрогнула, открыла глаза. Со сна она не понимала ещё, что это такое грохочет и блестит там, за юртой. В дымовое отверстие крыши хлестала вода. Шипели угли в очаге. Пламя жирника, подставленного к стенке, колебалось. Матери в юрте не было. Донёлся лай Халтарраха, еле слышный из-за раскатов грома и шума ветра.

Девушка быстро сбросила одеяло и в одной сорочке, босиком выбежала из юрты.

– Иче, иче! – кричала Кнай, звала мать. – Где ты, иче?

Она наткнулась на открытые ворота загона и побежала на лай

Халтараха, крича и расшвыривая овец. Над загоном снова блеснуло и грохнуло. Сгрудившиеся овцы ошалело напёрли на городьбу. Старые трухлявые колья не выдержали тяжести, с треском подломились, и вся эта обезумевшая, громоздящаяся и тяжело шевелящаяся живая масса покатила из загона.

С криком «Иче! Иче!» Кнай бегала по опустевшему загону. Опять сверкнула молния, и девушка увидела: мать лежала в грязи, одна рука отброшена, другая на голове. Кнай в ужасе кинулась к ней.

Домна слабо простонала. Кнай обхватила её обеими руками, прижимая к себе. У неё хватило сил лишь наполовину поднять мать. Кнай поволокла её к юрте. Ноги Домны чертили по земле. И это было особенно страшно! Кнай плакала, задыхаясь. Шаг, ещё один шаг. Сделав усилие и перетащив мать через порог юрты, Кнай растегнула на ней мокрую и грязную шубу.

Ливень кончился, перегорели молнии. Ветер расшвырял клочья туч, как чёрный пепел. Немного отбелилось небо, кругляш которого был виден через отверстие юрты. Отара, сломавшая загородку загона и вырвавшаяся из него, теперь бляла, кашляла и жалась к юрте.

Домна постанывала на топчане, куда её с трудом перетащила Кнай.

– Иче, где у тебя болит? – спрашивала дочь.

– Везде, всё тело.

Она уставилась на пламя жирника. Язычок его колеблется, и глаза её тоже то светлеют, то темнеют. А может быть, это не просто отсвет? Может быть, они засветились так сами, изнутри?

Про Сабиса думает Домна. «Палам, сынок, – шепчут её губы. – Вырос ты, Сабис, совсем вырос!» – губы её растягиваются, лицо озаряется, в глазах ещё больше света.

И ещё видит она Сабиса в степи. Желтовато-серый конёк выгибает шею, стрижёт ушами, высоко несёт точёную голову. Его ноги, кажется, загибают воздух. Круп лоснится, золотисто-белый хвост распушился, стелется чуть не по земле. Горяч и дик Соловый. Никто ещё не садился на его круглую спину. А Сабис сел. Объездил её сынок лучшего в табуне коня и к ней, матери, прискакал на нём. Смотрит на неё, глаза, как чёрные звёзды, волосы взбиты ветром, щёки пылают...

Вдруг Домна стала беспокойно поворачивать голову, обшаривая глазами стены юрты. Разве она что-нибудь потеряла? Вот висят выделанные овчины, вон Кнай положила рубики – длинные брусочки о четырёх гранях, на них всё Домнино чабанское счетоводство. Неправда, что у баев овцы не считанные. Считают их, да ещё как! И невозможно Домне обойтись без рубиков, на которых косыми крестиками и прямыми палочками насечено, сколько овец она и Кнай пасут у Хапына.

Но зачем сейчас Домне рубрики? Нет, не их она ищет. Взгляд её остановился на недошитом сапожке. «Сапожок, сапожок...» – она уставилась на него и пытается вспомнить, что надо с ним сделать. – А-а! Вот оно, то самое, что силилась вспомнить. Вовсе это не про сапожок. Просто она держала его в руках, когда приходил Каной и говорил, будто бы кто-то стрелял в табунщика. Каной показал ей совсем в другую сторону – не в ту, где пасут коней Сагдай и Сабис, и она успокоилась тогда при нём. А сейчас подумалось: «Что, если Сагдай перегнал коней на новое место...».

Ночью к ней пришла тревога. Рывком, едва помня себя от резкой боли, Домна поднялась, села, опустила ноги на пол.

– Доченька, Кнайях, – позвала она, – выгляни за дверь, однако, светает...

Кнай увидела на востоке ещё не зарю, а узкую бледную полоску.

– Нет, мама. Ещё не утро...

– Послушай, дочка, не едет ли кто? У меня в ушах шумит...

Прислушалась Кнай – никого не слышать.

– Никто не едет, мама.

Домна опять упала на топчан.

– Боязно мне. Каной был. Рассказывал, бандиты стреляли в какого-то табунщика... Наши не едут... Рассветает. Запряги Чалого, мне надо в аал. Отару далеко не гони, тут паси. Увидишь чужих – прячься в камышах.

– Мам, как ты поедешь? Может, мне ехать?..

– Что ты, дочка! Если останусь, душа изноет.

Ещё сильнее встревожилась Кнай. Стукнет копытом овца, взлет во сне Халтарах – Кнай вздрогнет, глаза её расширятся. Откроет дверь – всё тихо. А заря уже проглянула, разгорается, окрашивая степь. И в юрте стало светлее, видно всё без жирника. Дунула на него Кнай, качнулось неяркое копыцецо пламени и пропало. Лишь у Домны не погас ночной страх. Торопит дочку: «Иди запрягай».

Звякнула уздечка, снятая Кнай со стены. Скрипнула дверь юрты. И уже снаружи доносится голос дочери, уговаривающей Чалого стоять спокойно, пока она надевает на него хомут, ставит в оглобли.

Омытое ливнем, взошло радостное солнце. А Домна вышла из юрты ему навстречу, потемневшая от боли и ночных страхов.

Кнай посадила её на телегу, дала в руки вожжи. Дорога в аал Чалому знакома, затрусил по ней с места.

Обернулась Домна, видит: степь парит. И над сломанным загоном, над юртой как бы лёгкий дымок струится. У юрты стены прохлестаны ливнем, зеленеют пятна мха на крыше. Вход темнеет. А перед юртой Кнай склонилась, как травинка, косички чёрные повисли, руками лицо закрыла. Наверное, заплакала: жалко мать отпускать больную, неизвестно, что с отцом и братом. Одной оста-

ваться страшно. А тут ещё ночная гроза беды наделала... Ни за что бы не оставила Домна сейчас Кнай одну. Сердце её готово разорваться: одна половина его с дочерью, другая – с мужем и сыном.

А Чалый всё рысит да рысит. Вместо юрты уже маячит серое пятно. И лица Кнай теперь не видно, только платье синее. Нехотя отвела Домна взгляд от чабанского становища, глядит вперёд, поддёргивает за вожжи. Ей кажется, что Чалый бежит слишком лениво, хотя дробно толкут дорогу его копыта, а колёса то и дело постреливают грязью.

Начался длинный подъём на холм. Чалый пошёл шагом. Домна никак не дождётся, пока телега поднимется к вершине холма. Ну, скорее бы, скорее!.. Вот уже и дорога будто суше стала, и трава распрямилась, а вершина холма всё ещё далеко.

Чалый взбирается вверх, и солнце тоже всё выше да выше поднимается, вся степь им залита. За лощинами опять идут холмы. Один из них похож на лежащего алыпа.

Над вершиной что-то зачернело, стало расти, и скоро показался всадник. Он взмахнул рукой, ударил лошадь, и она понеслась вниз, навстречу Домне: развеивается грива, комья грязи летят из-под копыт. «Конь Пулата, карий, с лысиной, – узнала Домна. – А на нём кто это? Неужели отец? Он!»

Отец подскакал к телеге, осадил коня, слез с седла.

– Где Сабис? Где Сагдай? – с надеждой и страхом спросила Домна.

– В аале Сабис, – ответил Хоортай. – В аале он, а Сагдай с конями...

– Что с Сабисом? Он живой?

– Живой... Только ушибся... Соловый напугался, волочил маленько... Русские привезли Сабиса...

– Ох, – простонала Домна. – Сабис, сыночек!.. Русские привезли? Каной говорил, русские стреляли... Нет, ты правду сказал мне, отец? Живой он?

Хоортай понял – Домна не успокоится, если он сейчас же не принесёт самую страшную клятву. Он выпрямился, лицо его стало торжественным.

– Пусть проглотит меня Таг-эзи, если говорю неправду, – сказал он, склонясь и касаясь рукой земли.

– А ты зачем так торопился, отец?

– Как зачем? Ночью гроза прошла в этой стороне. Я вставал, молнии видел.

– Кнай там, – махнула рукой назад, к Красному озеру.

– А что с тобой? – пригляделся к ней старик. – Как же я сразу-то...

– Овцы полезли. Ночью. Стали грудиться, – слабо ответила Домна. – Загородку сломали. Поезжай, там увидишь. Поможешь Кнай, а я до аала как-нибудь доеду... – Она опять взяла в руки вожжи.

«Приедет в аал, увидит Сабиса, увидит русских – что сделает? Кто её остановит? – торопливо соображал Хоортай. – И люди всякое нашепчут. Сама хвоя. Ещё пуще захворает... Нет, туда ей нельзя...»

– Послушай, Домна, – Хоортай положил руку ей на плечо. – Сейчас ты лучше не езд... Поправляется Сабис. А увидит тебя такую, хуже ему станет.

– А мне надо его увидеть, – не сдавалась Домна.

– Увидишь, потерпи, – уговаривал Хоортай. – Нельзя, чтобы ты такая к нему приехала.

Домна подумала, вздохнула, ещё раз испытующе посмотрела на отца и нехотя потянула лошадь за одну вожжу.

Телега сделала полукруг, и Чалый потащил её обратно, под гору. Хоортай сел рядом, Пулатов Карька шёл на привязи за телегой.

Ехали молча. Хоортай раскуривал трубку, которая тихонько посапывала, посвистывала, будто убаюкивала Домну, а той вдруг стало спокойно возле отца. Знала Домна, как отец курит, если в жизни тишина, и как он курит, когда случается несчастье. Клятве, может, не поверила бы, а вот трубке нельзя не верить.

Успокоилась Домна.

## ГЛАВА 7

Над крутым берегом Чобата одиноко стоит аккуратно обнесённый заплотом небольшой крестовый домик. К нему примыкает тесовый навес, под которым стоят тарантас и кошёвка. За навесом – амбар, сеновал, конюшня, где бьёт копытами чёрный, как вороново крыло, выездной жеребец.

Он застоялся, давно не видел дороги. В этом дворе чего-то не хватает, чувствуется какая-то пустота. А не хватает юрты. За конюшней, за пристройками для скота начинается густой конопляник.

После заката скрипнули ворота – вошёл хозяин. Повернул голову направо, налево, охлопал городской пиджак, пошаркал у ступенек короткими ногами, отскребая грязь с подошв хромовых сапог, и поднялся на крылечко. Нашарил в кармане ключ, открыл дверь. Скупое осветились сени. Пусто в них, справа и слева двери, все на замках. Покосился на замки и пошёл прямо, в третью дверь, потянул её за скобу на себя и очутился в прихожей. Пощупал русскую печку – холодная, покачал головой. Свернул направо, в столовую с венскими стульями, заглянул оттуда в маленькую комнату, где к стене приткнулась узкая железная кровать, застланная потрёпанным одеялом. Попались на глаза ленточки на угловичке и начатая

вышивка. Смахнул их со столика, проворчал: «Марик, чертовка, где ты бродишь? И ужин не разогрела».

Постояв, подошёл к другой двери, отпер её хитрым ключом. Окна комнаты, выходящие во двор, закрыты ставнями, здесь почти темно. Но хозяин знает, где и что тут расположено. Вот широкая деревянная кровать, где на пуховой перине, прикрытой одеялом из верблюжьей шерсти, громоздится гора подушек с жёлтыми наволочками. Есть ещё тут два больших, обитых полосками жести, ящика с тяжёлыми замками да этажерка с толстыми книгами. Не глядя может взять хозяин любую из книг и не ошибётся, которая – учебник по государственному праву, которая – Свод законов...

Кто это в аале такой законник? Пичон Почкаев, председатель аалсовета.

Пичон зажёл фитиль, присел к маленькому столику под лампой, свет, отражённый абажуром, обволакивал его. Круглая тень от головы скользит по столику, по разложенной на нём карте, истёршейся на сгибах. Председатель водит по ней коротким пухлым пальцем и чуть слышно бормочет:

– Так ... Урянхай... Монголия... Алтай... Телецкое озеро...

В двери кто-то тихо постучал. Пичон быстро свернул карту, перенёс лампу из спальни в столовую.

– Ты, Тойон? Заходи...

– Пичон-абый, русский не хочет уезжать.

– От кого узнал?

Тойон глядит исподлобья, расстёгивает верхнюю пуговицу вишнёвой шёлковой рубашки.

– Апах всем рассказывает: русский будет кузницу строить.

– Ку-узницу?.. – Пичон взялся за подбородок двумя пальцами, немного подумал: «Пусть строит. Кузница аалу нужна».

Всё это время он не сводил глаз с Тойона. Тот, услышав, что председатель как будто бы даже одобряет намерение русского, задвигал бровями, переступил раза два с ноги на ногу.

– Да ты садись, что стоишь-то! – Пичон пододвинул Тойону стул.  
– Расскажи, что ты сделал с Сабисом.

– Я? Да что ты, Пичон-абый? Ничего не делал. Это русский же. Я с горы видел.

– Слышал это. Это для всех в аале. Для меня теперь расскажи.

Насмешливо опустили уголки губ Пичона: «Вижу тебя насквозь».

– Знаете, Пичон-абый! Мои обиды перешли на Сабиса. Руками русского Бог отомстил за меня.

– За что мстил? – В глазах Пичона что-то блеснуло, может, интерес, а может, догадка.

– Помните, как Сабис меня там опозорил... В землю бы ушёл – дыры не было...

– Так-так... – кивал головой Пичон, ему стало всё ясно. Вон, оказывается, с чего пошла завариваться эта каша.

...В начале лета в аале был устроен кюрес – состязания молодёжи в национальной борьбе. На эти состязания собирается народ со всех близлежащих аалов – стар и млад. А девушки-невесты приезжают даже из самых дальних аалов.

Тойон пришёл в новой сборчатой рубашке, в высоких сапогах с вышитым верхом. Закатал рукава, чтобы показать сильные руки. Мускулы так и перекатывались под смуглой кожей. Ровесники боялись с ним бороться. Хапын ходил среди народа, бахвалился: «Никто не одолеет моего алыпа. Не найдётся смельчака...».

Но тут неожиданно вышел щупленький Сабис. Его никто не подбадривал: «Куда ему, малолетку! На два года моложе Тойона. Хвастунишка, видать!».

Борцы возились долго. Много раз Тойон пытался придавить Сабиса к земле. Но Сабис выскальзывал.

Тойон наступал, и опять казалось, что вот-вот Сабис рухнет. Но он ловко изогнулся, напряг всё тело и, как тугая пружина, начал распрямляться, а потом кружить и вертеть Тойона. Он бросил Тойона через голову, и тот растянулся на земле. И, что позорнее всего, Тойон выпустил из себя нехорошие газы. Раздался дружный хохот и девичий визг.

С той поры за Тойоном закрепилось прозвище «Вонючка»...

– Отомстил? – спросил Пичон.

Тойон немного подумал:

– Нет ещё... жив...

Лицо Пичона посерьёзнело, он поднялся, похлопал парня по плечу:

– Кто не умеет мстить – тот не умеет жить. Ну ладно, всё. С русских не спускай глаз. Ты ещё ничего не доказал!

– А как же не спускать?

– Понимай сам...

Закрыв за племянником дверь, Пичон вернулся и зашагал по комнате, то вскидывая голову так, что чёрные волосы разлетались, то опуская её.

Русские в аале. Всё дело в том, какие русские. Был тут в восемнадцатом со своими казаками атаман Сотников, как на Минсуг шёл. Есаул. Сын промышленника с Енисейского Севера. Немного постарше Пичона. Даже общие знакомые по университету нашлись... А отец Пичона водил дружбу с Петрицким. Сколько золотых рудников и приисков было у Петрицкого в Кузнецком Алатау и Саянах! На хакасской нашей земле сидел, золото из неё брал. Золото – «жёлтый жеребец» – звонко ржёт, далеко слышно. В Питере и за границей знали Петрицкого. От местных родов почёт ему был. Когда рудники строили, клятву на дружбу давал. Золото в вино сы-

пал, сам пил, все аксакалы пили. Был бы он сейчас и у Пичона, и у Хапына почётным гостем...

Пичон присел к столу, облокотился, положив на руку подбородок, и уставился в стену. Он видел перед собой весеннюю тайгу, пихты, выметнувшие на кончиках тёмных лап молодые светло-зелёные побеги; видел поляну, розоватую от цветущего кандыка, и толпу на ней. Собрались только мужчины, старейшины родов: баи, аксакалы. Таары – один другого ярче, пестрее. И себя он увидел в этой толпе, немного помоложе, чем сейчас, на два года. Собрались отделиться от России: красные в ней власть взяли, белых гонят.

– Красные плохо и белые плохо, – говорили аксакалы. – Надо объединиться всем нашим тумам, сами править будем народом.

«А какая ошибка была? – силился разобраться Пичон. – Да-а... Армию не организовали. Не все были согласны... Особенно те старейшины, чьи аалы ниже по течению Ахбана. А почему они не согласились? С другими русскими живут, с такими, как этот Полынцев. Надо было с Сотниковым временно соединиться, до изгнания большевиков. Да-а, глава объединённых тумов! А кого ещё другого могли выбрать? Кто ещё из сыновей старейшин учился в университете?»

А случилось это так. Дед Пичона носил царёв пояс за то, что отправил в Питер сорок пар вороных скакунов. А отцу тыщами пригоняли урянхайских сарлыков и курдючных баранов за китайский шёлк, чай и всякие безделушки. Крупно торговал отец. И жаловал ах-хан – белый царь – род Пичона за верность. А деньги на обучение с народа собрали. А когда отца Пичона расстреляли красные, приехал Пичон к Хапыну, а тот сказал здешним: «Помните, всем тумом собирали деньги на учење одному нашему парню? Это он есть, мой двоюродный брат...».

Поверили. Раньше тут его никто не знал и не видел. Совсем мальчишкой с отцом приезжал. А деньги для кого-то собирали, это помнят. Так Пичон Оможаков стал Пичоном Почкаевым.

Хапын верен, надёжен. Ждёт от него действия, чтобы жилось, как в старое время. И Петрицкий за границей ждёт того же.

Пичон перешёл со стула на диван, лёг.

«Полынцев, Полынцев... – думал он. – Стоп! – Вскочил. – А не притворяется ли он красным? Зачем красному забираться в глушь? Врёт, что в Бондаревку ехал. Как проверить? Подожду отдавать карабин, присмотрюсь. Пусть живёт в аале, пусть строит кузницу. Человека мне надо, чтоб он военное дело знал. Голова у восстания здесь, а рука должна быть там».

Петрицкий делает ставку на Пичона Оможакова-Почкаева. Торопит с отделением Хакасии. Людей из-за границы посылает, требует формировать боевые отряды... Только не знал Пичон, у кого

искать поддержки, чтоб удача была полной. Сотников расстрелян. Остаются двое – Оловьев, что засел в Ширинской тайге, на Поднебесном Зубе, и Унгерн, который занял Монголию. С ними можно объединиться...

Со двора в ставень постучали. Пичон вскочил, прислушался. Раз, – отсчитывал он, держа руку на весу, – два... три! – Он энергично опустил руку и быстро пошёл открывать.

– Ну, братишка Серге, садись. Устал, наверно?

– У седека конь устаёт, – ответил, сверкая обнажёнными в улыбке зубами, молодой хакас... Лицом он отдалённо походил на Пичона, только губы были тоньше, ровнее, да волосы с более светлым отливом.

– Есть хочешь?

– Не мешало бы.

– Где-то Марик долго пропадает каждый вечер. Но скоро придёт. Подождём...

Серге хлопнул Пичона по плечу:

– Ловкий же ты!

– Ловкий не ловкий, но до поры до времени это необходимо. У каждого своё место. Твоё с отрядами, моё – здесь...

– Понимаю, – ответил Серге.

– Понимаете, но не все. Вы там в степях и аалах сильно не пугайте народ. Баб уволакивать надо без шума. А вот это, – потрогал Пичон вздувшуюся на груди кожаную куртку Серге, – надо держать незаметно... Ну, как отряд растёт?

– Вот я пришёл заодно и посоветоваться... После отца твоего ты в нашем роде самый старший...

– А сколько недовольных в аалах красными!.. Сколько бродит по тайге! Собирайте, собирайте... Пусть грабят, пусть живут в своём удовольствии. И вот что учтите... Минсуг ещё не крепок. Губенков нетвёрдо сидит. Сотниковцы не все погибли.

Остатки бродят по тайге. Это одно. Потом Оловьев – это сила!

Да ещё собрать надо бродячих наших кызылов, хасов, бельтыр, сагаев, шоров, вот какая армия будет!

– У меня в отряде понемножку все они есть. А вот если больше силы собирать – где нам пока укрыться? Оловьеву-то хорошо, нашёл надёжное место – не подступишься...

– А ты места не знаешь? Хаза-тайга, Кюль-тасхыл...

– Вот это да! – минутку подумав, воскликнул Серге. – Мало кто туда дорогу знает. И впадина между хребтами – как загон. И озеро пресное. Закрой туда проход – и жди сигнала.

– Туда и собирай!

Вдруг они услышали скрип калитки. Серге вскочил.

– Это Марик, – успокоил его хозяин и пошёл открывать сени. – Где долго ходишь? Сколько тебе говорить! Всё у Онис пропадаешь?

– доносилось до Серге из сеней и прихожей. – У нас гость, а ужина нет.

– Я же раньше всё приготовила, дядя Пичон, как вы велели.

– Подавай... Ну, хорошо, Серге, пора и отдохнуть, – сказал, входя, Пичон.

На столе сменялись хыйма, сатырма, абыртхы. Еду и напитки вносила Марик, пятнадцатилетняя девчушка. Серге тайком от Пичона хищно поглядывал на неё.

На Марик трудно было не заглядеться. Одни белокурые волосы её, редкие у хакасок, привлекали к ней. У неё миловидное личико, серые глаза. Платье на груди у неё начинало бугриться. Маленькая батрачка едва держалась на ногах от усталости, а хозяин требовал от неё всё новых услуг.

– Марик, открой ещё одну бутылку... Марик, давай холодной солонины... Марик, его тошнит, неси живее таз...

Серге, глаза на неё, стал шептать что-то на ухо Пичону.

– Оставь, – сердито ответил Пичон. – Зелена ягода...

Серге захмелел. Пичон раздел его и уложил на диван.

Прошёл к себе. В голове шумело. Сел за стол, положил перед собой бумагу, взял ручку. Письмо начиналось так: «Ваше высокоблагородие, господин есаул Анемподист Николаевич Оловьев... Обращается к Вам полномочный представитель хакасского народа...».

Запели утренние петухи. Пичон и Серге прощались.

– Спрячь, – говорил Пичон, подавая заклеенный конверт. – Вручи лично.

– Знаю...

Выезжая из аала на выносливом карем бегунце, отобранном за Абаканом у одного из койбалов, Серге встретил на лугу у дороги Пулата, снимавшего путы со своего пастушьего коня.

Опасливо покосился. Пулат долго смотрел вслед Серге.

«Это же родственник Хапына. Когда он приехал? Не слышно было что-то».

Пулат смотрел вслед Серге, ожесточённо теребя ухо, была у Пулата такая привычка. Давным-давно на охоте разорвалось у Пулата ружьё. Счастливо отделался незадачливый стрелок. Только синие пороховые отметины остались на распоротой мочке уха. И в минуты волнения рука Пулата сама тянется к уху, будто оно начинает свербеть...

Проводив Серге, Пичон вышел на крыльцо, присел на ступеньку. «А что, если этот русский действительно притворился? Отпустил бороду, прячется по степям. Надо, надо проверить. Такую возможность упускать нельзя!...»

## ГЛАВА 8

Сагдай на притомившемся Буланом ехал по следам ушедшего табуна, искал его за горой Оглах и день, и два. Сначала Сагдай увидел, что следы раздвоились. Внимательно осмотрев развилок, он решил, что большая часть косяков пошла к устью Чобата, впадающего в Ахбан, меньшая – косяка три или четыре – свернула к одной из маленьких степных речушек. Сагдай догадался: к устью Чобата лошадей ведёт старый Гнедой – жеребец, у которого в табуне самое многочисленное потомство. Остальные лошади, наверное, ушли за вороным жеребцом, который враждует с Гнедым.

– Надо по большому следу, – решил Сагдай. – Эти кони могут уйти дальше. – А сам всё думал: «Где Сабис? Что с ним?».

Стало смеркаться, когда Сагдай подъехал к какому-то безымянному ключику, всей воды – воробью по колено. Конских следов он уже не различал, и поэтому решил остановиться здесь и переночевать, чтобы на заре возобновить поиск. Он слез с Буланого, расседлал его и привязал к уздечке длинный волосяной аркан. Другим концом аркана обвязал себя. Достав вяленое мясо и сухие лепёшки, Сагдай стал ужинать.

Степь – дом Сагдая. Из дому уехал – в дом приехал. Половину из своих сорока восьми лет он провёл под открытым небом. До ближайшей деревни отсюда вёрст полсотни, так что уж лучше ночевать здесь. Поужинав скудным припасом и напившись из ручейка, для чего пришлось лечь на грудь и уткнуться носом почти в самое дно его, Сагдай пристроился спать.

Ночь была тёплой. Его обступили тишина и мрак. Он лежал и смотрел на звёзды. Белым табуном кочуют они где-то высоко-высоко, перемигиваются друг с дружкой. Вокруг мельтешила разная ночная мелочь. Комар назойливо пищал над ухом, хлопали белесоватыми крыльями бабочки, в сухой траве шуршали мыши. Буланный ходил на верёвке по кругу, выщипывая траву.

«Угу-у, угу-у!» – издали послышалась возня, и какой-то зверёк жалобно заверещал. «Филин зайчонка закогтил», – догадался Сагдай. А потом над ним просвистели крылышки. «К реке с озёр утки кочуют. Всем надо к реке, – думал Сагдай. – Вот и табун туда же ушёл...»

Хоть и устал Сагдай, но в ночной прохладе мысли текли, как струи ручейка, и не давали уснуть. За девять лет заработал Сагдай у Хапына трёх беспородных лошадёнок. С кобылицей и нынешним жеребёнком всего у Сагдая пять лошадей. Одна беда – косячный жеребец ещё матку сосёт. А по правде, Сагдай готов променять всех трёх заработанных коней на одну кобылицу.

До сих пор Хапын за работу не давал Сагдаю кобылиц: отдаст – приплод пойдёт не ему. Но разве Сагдай плохо служит Хапыну.

В прошлые годы брал то, что дают, но нынче решил просить у хозяина жеребую кобылицу...

Снова ухнул филин, на этот раз близко, у ручейка. Сагдай повернул голову, увидел – будто две свечки, горят невдалеке глаза на темнеющем кусте. Не по себе стало Сагдаю от уставленного на него немигающего взгляда этих ночных глаз.

– Проклятый, зайцем не наелся! – плюнул Сагдай и полез в карман за кисетом и трубкой. Покурив, он уткнулся лицом в седельную подушечку и вскоре уснул. Но уши его не спали. Достаточно было фыркнуть Буланому, как Сагдай сразу приподнялся. Что беспокоит коня? Пригляделся – что-то маячит. Не кочка, не камень. Шевелится. Табунщик замер, затаился, продолжая наблюдать. Страх заставил Буланого подойти вплотную к хозяину. Сагдай вполголоса сказал коню: «Тохта». То, что маячило, пропало. Сагдай поискал глазами и увидел – маячит уже с другой стороны.

Табунщик протёр глаза, снова посмотрел: «Тут, тут, язва!». Тогда он резко поднялся на ноги, пронзительно свистнул. Тень качнулась и исчезла. «Волк», – подумал Сагдай. К полудню он наехал на истоптанную конскими копытами тропу, выходящую на основной след табуна. «Собираются косяки», – радостно подумал он.

Показалась белесовато-зелёная грядка низкого кудрявого ивняка, вдали она смыкалась с высокой сплошной стеной топольника.

– Здесь Чобат, а там – Ахбан, – ещё больше обрадовался Сагдай. – Табун буду искать на полуострове... Найду ли?..

Устье Чобата было ещё далеко, а Сагдай уже ощущал речную свежесть. Стало не так знойно, вокруг простирались зелёные луговины, блестели оставшиеся после весеннего разлива Чобата и Ахбана полувысохшие озеринки. Трава доходила до брюха Буланого. Пахло поздними цветами. В просветах между кустарником блестело чешуйчатое серебро речных плесков.

Кричали дрозды, молотили перепела. Поднявшись на бугор, с которого был виден берег, Сагдай радостно вскрикнул. Кустарники здесь росли редкими купами и не закрывали от него реки. Кромка берега впереди была истоптана.

Лошади стояли по брюхо в воде, спасаясь от овода. Они мотали головами вверх и вниз, будто усердно молились. Время от времени кони взмахивали мокрыми хвостами, охлёстывая бока, рассеивая брызги. Подъехав к берегу, Сагдай слез с уставшего Буланого, ржанию которого ответило враз несколько коней. Сагдай с арканом подошёл к воде, выбирая сменную лошадь.

Аркан свистнул, петля упала на голову игренного коня. Игренька уже не раз носил на своей спине табунщика, он покорно вышел на берег, дал надеть на себя уздечку и седло. И вот Сагдай медленно едет на Игреньке по берегу и считает стоящие в воде косяки.

– Полтабуна Гнедого здесь, – отмечает он вслух. – Вороной тоже привёл сюда свои косяки, но все ли? Раз, два, три... А где Мухортый? Где его кони? Доехав до самой «стрелки», где сошлись под углом воды Чобата и Ахбана, Сагдай не обнаружил недостающий косяк. Тогда он вернулся на бугор.

«Косяк не может пропасть, у косяка широкий след, – думал Сагдай. – Где этот след? Может, кони убежали в аал?» Стал припоминать, каких лошадей недостаёт. Потом махнул поводом:

– Торопись, Игренька. Отсюда до аала только двадцать вёрст.

## ГЛАВА 9

Сабис, прихрамывая и опираясь на палку, вышел из юрты на солнцепёк. За те дни, покуда он лежал в постели, перемогая боль, скулы его обтянулись, подбородок заострился, слишком просторным для его шеи стал воротник рубашки. Паренёк всё ещё с трудом приподнимал правое заплывшее веко. Левый, широко раскрытый глаз то вспыхивал, озарённый чем-то изнутри, то терял свой блеск. Заковылял было к покосившемуся сараю, под навесом которого заметил дедушку, вертевшего точило, но, сделав шага три, остановился. У сарая вместе с дедом был и русский.

Русский принёс грубо сколоченный ящик, видимо, снятый им со своей телеги. Поводя бугристыми плечами, он вынес ящик наружу, опустил на землю. Что-то звякнуло. Великан распрямылся, повернул широкое лицо к Сабису. Шевельнулись медные усы и борода, должно быть, он улыбнулся, голубые глаза смотрели ласково.

– Здравствуй, молодец! – пробасил он. – Уже совсем, можно сказать, поправился. Крепкий ты парень...

Сабис не всё понял из сказанного, стоял и молчал, глядя Фёдору под ноги.

– Не понимаешь по-нашему, – вздохнул Фёдор. – А я вот по-вашему не могу. Поговорить-то нам с тобой, парень, вот так надо! – русский коснулся бороды, показывая, мол, позарез. – Ну да ладно, это мы ещё успеем. Okрепнешь, тогда уж хоть через деда побалакаем.

На крылечке избы показалась русская женщина в белой безрукавной кофточке, в пестрядинном переднике. Светлые волосы собраны в узел, одна щека в муке, руки тоже.

– Федя! – позвала она мужа. – Идите с дедушкой Хоортаем поешьте блинков свеженьких. Ты, Сабис, тоже иди.

А Сабис опять промолчал, будто совсем ничего не понял. Дальше по двору захромал. Думал: «Какие эти русские – добрые или притворяются добрыми? Почему не уезжают? Что им надо от дедушки? И отца где-то нет».

Ушёл Сабис в самый дальний угол двора, навалился на старый плетень, продырявленный во многих местах. В эти дыры лез бурьян, разросшийся с той стороны.

Варя ещё несколько раз окликнула парня, приглашая к блинам, но он только покрутил головой в ответ. Фёдор и дедушка Хоортай прошли в избу. Дедушка что-то говорил, и его руки то и дело двигались, показывая то, чего не мог сказать язык.

– Ты один?

Сабис вздрогнул. Потом, когда увидел стоящего по ту сторону забора Тойона, невольно сжал кулаки.

А Тойон, добродушно растягивая губы в улыбке, смотрел прямо, и в глубине его зрачков нельзя было уловить ничего скрытного. Он облизнул верхнюю губу с чуть пробившимся на ней пушком, ухватился руками за плетень и, подтянувшись, перепрыгнул к Сабису. Подол его вишнёвой рубашки затрещал, зацепившись за сухой острый сучок. Он только беспечно махнул на это рукой, ещё раз взглянул на мрачного Сабиса и подставил ему лицо:

– Ну, на – бей!

– Дал бы тебе в глаз, – сказал Сабис. – Зачем пугал Солового так?

– Говорил ведь уже, пошутить хотел.

– А где мой отец? Что с табуном?

– Табун испугался, убежал.

– Кого испугался?

– Эти русские ехали мимо, стреляли.

– А зачем им было стрелять? – Сабис силился сообразить, почему это ни с того ни с сего кто-то открыл бы стрельбу близ табуна.

– Не знаю. Наверно, худое задумали. Разве у них узнаешь?

«Верно, – подумал Сабис. – Не узнаешь. Деду про меня не сказали...» – и доверчивее придвинулся к Тойону.

– А табун где?

– Твой отец погнался за табуном.

– Постой, постой, – Сабис опять отодвинулся от Тойона. – А отец знает, что я упал с коня? Почему молчишь? И сам ты меня бросил.

Он не сводил глаз с Тойона. Тот поднёс палец ко рту, начал грызть ноготь.

– Не сказал, – выговорил наконец Тойон. – Сам испугался русского. Как он начал стрелять... Давай больше не будем враждовать, Сабис. Что хочешь? Всё для тебя сделаю. Соловый тай будет твой. Знаешь, этому коню цены нет. Я поймал его вчера возле горы Куни.

– Соловый здесь? Ты его привёл?

– Стоит дома, в конюшне. Тебя дожидается...

Глаза Сабиса разгорелись. Он даже забыл о больной ноге, неосторожно переступил и охнул.

– Вижу, любишь коня. Бери насовсем. Только помни уговор – русские...

– Русская женщина мне глаз лечила, как о ней мне говорить плохо?

– Ну как хочешь, – Тойон шагнул к плетню, занёс ногу, чтоб перелезть.

Сабис провёл рукой по волосам, проговорил нерешительно:

– Хапын-ага не даст Солового тая.

– Даст, – сразу же спустился обратно Тойон. – Солового для меня растили. Как захочу, так и будет, – и протянул Сабису руку.

Сабис медлил с ответом – рукопожатием, на душе у него было нехорошо.

– А как же, – спросил он, – сказать напрасно на этого человека? Я его возле косяка не видел. Солового ты пугнул.

– Но он же стрелял, Сабис... Стрелял!

Тойон переминается, теряясь. Сколько времени приходится уламывать этого пастушонка! Он быстро-быстро перебирает в голове всё, что ещё можно посулить Сабису. «Постой, постой, – вспоминает он. – А Марик-то!»

...Какой-то весной, когда табунчики обучали жеребчиков-двухлеток, случилось Сабису промчатся на Соловом по улице аала. Звонко цокали копыта. Скакун, горячась, лебедем выгибал шею, волной стлал распущенный хвост. Гордо сидел Сабис на коне.

Проносья мимо дома Пичона, он увидел Марик, тоненькую, гибкую, с белесоватыми косичками. Она стояла на крыльце и глядела на него через низкий забор. Сабис понял: любитесь им! Оглянулся. Марик всё ещё продолжала смотреть вслед.

Он стегнул Солового камчой и припал к его шее. За аалом встретился Тойон. Поравнявшись, они сдержали коней.

– Какие новости, Сабис? – спросил Тойон.

– Что за девочка у Пичона-абыя?

– Марик... А что, нравится?

Сабис ничего не ответил, отпустил глаза. Теперь об этом разговоре вспомнил Тойон.

– Послушай, Сабис, – сказал он доверительно. – Я ведь знаю твою самую большую тайну. Хочешь, устрой встречу?

Сабис покраснел.

– Вижу, вижу, не скрывай. А ты знаешь, я ведь часто бываю у Пичона-абыя.

Сабис упорно молчал.

– Часто бываю, – повторил Тойон. – Хоро-ошая!

Сабис куснул губу и вдруг тихо проговорил:

– А дедушку как обманывать?

Тойон растерялся.

– Нет, зачем дедушку обманывать? – наконец нашёлся он. – Ты скажи, мы с Тойоном помирились, я ему простил. Хоортай-ага поймёт. А русские пришли и ушли. Нам ведь жить здесь...

Сабис вздохнул, помолчал. Потом сказал:

– Ладно. На тебя не скажу. Только слово держи.

В тот же день Хоортай-ага созвал соседей. Пришло человек двадцать мужчин и женщин. В юрте, куда они набились, стало шумно. Мужчины покуривали трубочки, закурили и многие женщины. Подшучивали и друг над другом, и над хозяином, с любопытством посматривали на рыжебородого алып, который, примостившись у двери, пришивал к Буркиной уздечке оторвавшиеся удила. Хоортай расстилал на полу для сидения облезшие талбахи. В центре поставил низкий стол.

Один из приглашённых раскрыл кисет и протянул русскому: «Закури». Фёдор поблагодарил.

Интерес соседей Хоортая к приезжим не был назойливым. Русским не докучали расспросами, хоть и не всем было понятно, как эта семья очутилась в их аале. Но Апах уже многим рассказал, что большой Фёдор обещал построить кузницу. Рассматривали починенную им уздечку. Женщины ласкали Зойку. Онис принялась заплетать ей косички. Широкое добродушное лицо женщины всё время лучилось улыбкой. Чёрные брови то и дело взлетали вверх, две тугие косы позванивали приплетёнными к ним серебряными монетками. Красное сатиновое платье с оплечьями из чёрного плиса было перехвачено в талии шёлковой лентой.

Наконец все расположились вокруг угощений. Просто удивительно, как юрта Хоортая вместила всех, и никому не было тесно. Мужчины сидели, подобрав под себя ноги, а женщины – несколько иным манером, вот как Онис – одна нога поджата под себя, колено второй выставлено вперёд.

Пуллат, муж Онис, широкоскулый, остриженный под кружок, трунил над Хоортаем:

– При таком застолье, ага, считай, что от твоей козы остались рожки да ножки.

– А зачем ты последнюю-то козу зарезал? – допытывался Фёдор.

– В степи закон есть: гость приехал – угощать надо.

– погоди, погоди, дедушка! Закон, говоришь, есть? Степной? Фёдор вспомнил: Пичон толковал про степной закон и грозил самосудом. А тут у Хоортая, который зарезал и сварил для гостя последнюю козу, – тоже степной закон...

– А много, дедушка, степных законов?

– Разный есть. Один закон вот... – Хоортай вытащил из кармана мятую керенку – советские деньги ещё не дошли сюда. – Вот самый большой закон...

Поглядел старик на Фёдора снизу вверх, будто проверяя: «А разве сам этого не знаешь?».

– Хм ... Деньги... А много их у тебя было?

Старик замотал головой.

– Ну вот, стало быть, у тебя другой закон, – решил Фёдор. – А какой?

– Мой, Пёдор Павлыч? Вот такой рука – мой закон. – И он протянул кузнецу жилистую руку с узлами вен и твёрдой ладонью. Морщинки у глаз его собрались пучками.

Фёдор хлопнул Хоортая по вытянутой руке, крепко прижал ладонь к ладони старика и сказал:

– Вот такой закон один и есть. Других не будет.

– Почто не будет? Кто так делал? Ты?

– Не я, дед. Ленин.

Старик вопросительно уставился на Фёдора:

– Иленин, говоришь?

– Да, Ленин. – Фёдор показал на свою бугристую ладонь. – Ленин для твоих рук закон дал. Правильный закон.

– А ты видел Иленина?

– Видел. Вместе со мной он ходит, – Фёдор полез в грудной карман пиджака и вытащил газету «Соха и молот». На первой странице газеты был портрет Владимира Ильича Ленина. – Вот он.

Старик припал к газете, разглядывая снимок. Потом улыбнулся Польшцеву. Фёдор не понял, чему улыбается старик. Тогда Хоортай пошлёпал себя по щеке, показал на лицо Ленина, на его прищуренные глаза.

– Такой наша степь понимает..

Газета со снимком Ильича пошла по рукам. Гости рассматривали снимок. Апах, сидевший с краю, бережно сложил газету, протянул Фёдору.

– Где живёт Иленин? – спросил он.

– В Москве, – ответил Фёдор. – В Кремле... Оттуда новый закон по всей нашей земле пошёл.

– Москва далеко, Москва одна, – задумчиво проговорил Апах. – Иленин надо каждый улус жить. В нашем аалсовете почему нет Иленина? Совсем пустой стена в аалсовете. Надо приходить в аалсовет, глядеть на Иленин. Его закон, его Совет.

– Правильно, Апах, – поддержал Фёдор. – А то ещё есть такие, – он подумал про Пичона, но не назвал его. – Есть, говорю, такие, что забывают про ленинские законы, а называют себя «Советской властью...».

Разговор на время замолк. А потом гости заговорили о другом.

– Твой казан, Хоортай-ага, говорит, что ты человек щедрый.

– А у скупого хозяина и казан скуп.

– Эй, сосед Пулат, это ты про кого? Про Хапына?

Все весело засмеялись. Хоортай перевёл Фёдору шутливые речи гостей, и кузнец улыбнулся тоже.

Для русской семьи Хоортай поставил высокий стол, а около

него – скамейку. Но Фёдор сел, поджав ноги, вместе со всеми мужчинами.

– Алып! Настоящий алып! – смеялся Апах, глядя на Фёдора снизу вверх. Ноги Фёдора затекли с непривычки, он смешно ёрзал, вызывая смех соседей. И Зойка хохотала так, что раскачивались заплетённые по-хакасски косички.

Хоортай-ага приступил к обряду угощения. Первые капли айрана, первые кусочки мяса были предназначены для хакасского божества Худая. Стряхнув несколько брызг из полного стакана и полной миски в очаг и бросив туда же мясные волоконца, старик перешёл к божнице с неизменными в хакасских юртах Миколой и Власом на закопчённых облезлых иконах: Миколу и Власу еды не дал, только подержал перед ними наполненную посуду.

Все гости были почётными, всех оделил Хоортай-ага козлятиной. Зойке он положил в миску варёный язык.

– Кто язык ест – бойким на слово бывает. Так у нас говорят, – пояснила Онис.

Гости ели, хвалили угощение, благодарили старика. Потом мужчины и женщины снова закурили. Все были сыты, и Фёдор предупредил, что на этом угощение закончилось. Но не тут-то было! Встала Онис и пригласила всех к себе – пить чай.

Фёдор топтался, разминая затекшие ноги. Варя стояла в раздумье, поправляла шпильки в высоком узле волос. Онис быстро посмотрела на неё и сняла свой цветастый вышитый платок.

– На, носи, – сказала Онис, накидывая платок на волосы Вари, потом взяла Зойку за руку и повела с собой.

– Видно, надо идти, – развёл руками Фёдор. – Закон степной, ничего не поделаешь.

У ворот ограды, опираясь на выструганную Хоортаем палку, стоял Сабис. Фёдор Павлович улыбнулся мальчику, но Сабис потупился.

## ГЛАВА 10

Сколько паутины летает над степью в ясный день, сколько стрекоз реет! Уходит август, кончается лето. Купол неба всё ещё высок и синь, но меньше кучевых облаков, и с ними теперь уже не спутаешь далёкие Саяны. Вот они синеют, каменные зубцы, а на них что-то белеет: то снег на Саяны выпал.

Оросительные каналы, отведённые от Чобата на поля, сейчас сухи. Днища их заросли бурьяном. Полосы ячменя и овса, похожие на белеющие плёсы самой речки, скоро запросят серпа и жнейки. Конец лета в скотоводческом аале заметен не тем, что начинается жатва: хлебов сеют мало. В это время степняки обычно старают-

ся лучше нагулять скот, закончить сенокос. Днём и ночью идёт дым из юрты во дворе Хапына – это значит, что батрачка Ату, у которой от огня постоянно красные веки, гонит араку. А коль начали у Хапына готовить араку, значит, скоро будет Хапын собирать помочь, иначе зачем понадобилось бы столько араки.

Придёт весь аал – старые и молодые, и за день переделают уйму работы. Никто не возьмёт за неё никакой платы, но хозяин должен не покуситься на угощение. Таков обычай. Помочь собралась на солнцевосходе, и в просторной ограде Хапына сразу стало тесно и шумно. Все уже знали, что придётся делать. Мужчинам – вить верёвки и арканы, женщинам – застилать и катать кошмы. Верёвки из волоса и кошма пойдут на продажу, на них большой спрос в русских сёлах.

Онис – мастерица делать кошмы. На ровной утрамбованной площадке она расстилает мешковину, другие женщины ей помогают. Тут же, рядом, молодые девушки берёзовыми прутьями взбивают принесённую из амбаров шерсть, чтобы вся она была одинаково пышной. Свистят прутья, расхлёстывая в пух слежавшиеся шерстяные клочья. И щебечут, будто ласточки, девушки. Онис требует, чтобы для застила ей подавали шерсть различных цветов, – по чёрному полю будущей кошмы она пустит серые и жёлтые узоры.

– Ату-у! – кричит она. – Скорей неси горячей сыворотки.

Батрачка Ату спешит с двумя вёдрами. Онис обильно поливает застил, уплотняет его и накрывает сверху другим куском мешковины. Женщины, сев на корточки плечом к плечу, накатывают застил вместе с мешковиной на деревянный валик, концы стягивают туго-натуго бечёвками.

– А теперь начали! – командует Онис.

Ползая по земле, женщины долго катают шерстяной кругляк, ударяя его о забор. Время от времени Онис просит ещё полить сывороткой, чтобы шерсть скатывалась плотнее.

– Больше, больше уплотняйте, я скажу, когда будет довольно!

Марик с подружками подтаскивает из амбара шерсть. Когда сбросив ношу, она стремительно поворачивается, чтобы снова бежать в амбар, так и кажется, что что её косички, разлетевшись, вот-вот оторвутся.

В другом конце двора, где кучами пенька и конский волос, мужчины вьют арканы и вожжи. В заборе, с наружной стороны, вделано пять железных рукояток, стержни их пропущены насквозь и заканчиваются крючками. Возле каждой рукоятки – крутильщики. Ещё пятеро – по эту сторону забора. Они цепляют на крючки концы начатых верёвок и пятятся с ними, всё время наращивая пеньку и волос. Арканы постепенно удлиняются. Ещё одна группа пришедших на помощь сортирует сырцовые овчины.

Фёдор Павлович пришёл тоже. Ему не хотелось огорчать ста-

рого Хоортая, который, хоть и не жаловал бая Хапына, но одобрял помочь. «Помогай надо», – говорил старик. Фёдора радовала сама возможность поработать сообща. Русскому доводилось прежде вить конопляные верёвки, но волосяных арканов делать он не умел. Присмотревшись, попробовал он и сам свить аркан.

Подошёл Хапын. Лет пятидесяти, с покатыми плечами, короткой шеей, массивной головой, он не доставал Полынцеву до груди. Из-под полей бурой фетровой шляпы глядели цепкие чёрные глаза. Хапын взял изделие Фёдора в руки, с сомнением покачал головой: «Аркан порвётся». Он велел привести и захомутать лошадь. Серединой аркана захлестнули столб, а концы привязали к гужам хомута. Хапын взял в руки бич и взмахнул им. Лошадь сильно рванулась, но аркан её удержал. Бич свистнул опять, и снова лошадь не смогла порвать аркана. Так и не удалось посрамить приезжего русского. Бросив бич, бай, ни на кого не глядя, отошёл.

«Видал наших?» – усмехнулся Фёдор Павлович. Он искал, тут ли Варя. Нашёл её среди женщин, катающих кошмы. И Зойку увидел, скачущую верхом на прутике по двору вслед за такими же, как она, девчушками.

На помочь, как оказалось, пришли не все, и жена Хапына, толстуха Тапчи, стала громко осуждать неявившихся.

– Кто видел, – говорила она, – чтобы жена Апаха помогала когда-нибудь другим? А ленивая Кычин, наверно, ещё потягивается в постели.

Тапчи, в ярком платье, стояла, гордо подбоченившись. Из-под чёрного вышитого платка, завязанного назад концами, на грудь выпущены две чёрные косы, соединённые между собой нитями бисера. Она постукивала ногой об ногу, будто специально показывала женщинам искусно вышитые Домной сапожки. Тапчи пересчитывала женщин, как чабан пересчитывает отару.

– Жена Апаха тяжёлая, – не смолчала Онис. – Где же ей идти на помощь! А моя золовка Кычин ушла пасти.

– Ладно, едоков меньше, – пробормотала Тапчи. – Ох, чем же накормить столько народу? – завздыхала она, царапая затылок через платок.

В полдень хозяева тут же, во дворе, угощали всех участников помочи. Ату уже подносила араку прямо в вёдрах. Онис, выпив полчашечки тёплого напитка, недоуменно посмотрела на оставшуюся араку.

– Такой араки много в Чобате! Добавила бы сюда, хозяйка, – протянула она свою чашечку. – Тахпах за это спою...

– Пой, Онис! – откликнулось застолье.

Онис поправила платок, повела глазами, запрокинув слегка голову, и запела высоким голосом:

*Закипит сердце – песню петь надо.  
Запоёшь песню – мысли легко приходят.  
Араку выпьешь – не запеть нельзя.  
А споёшь песню – ноша лёгкой будет.*

– Ай да Онис, как складно поёт! – одобрительно закивали женщины. Лицо хозяйки расплылось...

– Давайте споём песню катальщиц войлока, – предложила Онис. И над застольем поплыла озорная, насмешливая песенка:

*Муженёк с кошмы всё гонит.  
«Не нужна, – говорит. –  
Вся овцой насквозь пропахла.  
Спать ложиться не велит.*

Все засмеялись.

– Ай! Вот чёрт... Клещ! – вскрикнула одна из женщин. – Да как больно укусил... – Она показала ползущую по руке бурую сплюсненную букашку.

– Весенний клещ? – удивлённо воскликнула её соседка.

– Это из тюка с шерстью, – сказала Онис.

– А тощий какой!.. И не сдох до сих пор...

– У Хапына и клещи в хозяина, – отрезала Онис. – Такой вопьётся – не оторвёшь.

Смех перекинулся и к мужскому застолью...

Встал хозяин, он несколько не хмельной, зыркнул глазами из-под широкой шляпы – тут ли рыжий русский? Облегчённо вздохнул, и заколыхался его живот, обтянутый шёлковой рубашкой. Рядом с Хапыном Пичон Почкаев стоит, пиджак чёрный городской одёргивает да поглаживает пухлой рукой чёрные лоснящиеся волосы, советует: поговорить с народом надо. Всем поклонился Хапын.

– Люди аала! – начал он. – Вы сегодня хорошо поработали, много сделали, и поэтому губы у вас в сале. У трудолюбивого губы всегда в сале, это у ленивого они сухие. Пейте, угощайтесь вволю. А такую помощь каждый может собрать. Пособлять все придём...

– И ты придёшь, Хапын-абый? – спросил Апах.

– И я, – подтвердил Хапын.

– А разве медведь брат корове?

За столом несмело засмеялись.

– Эх, Апах! – Хапын стал красным, как клюква. – Ум крепко, а язык коротко держи. Вижу тебя насквозь. Скажешь: где найду столько дела, чтоб весь аал занять, где возьму угощенья всю помощь накормить? И у тебя на будущую осень всё будет, только услышанное в ушах сохраняй, увиденное в глазах оставляй...

Сельчане слушают, но не понимают, куда клонит Хапын свою речь.

– Не о себе одном, обо всех забочусь. Много машин хочу купить в Минсуге. Сеялку, косилку «Мак-Кормик», жатку. А есть ещё машины, которые годятся скотоводам: сепаратор, маслобойка. Разве машинам не одинаково на кого работать – на русских или на хакасов? Будут машины – станем помочь всем аалом каждому делать...

– Правильно говорит Хапын-абый, – поддержал его Пичон, приподнимаясь на носках и стараясь казаться выше ростом.

Пулат почесал за ухом, поглядел на соседей по застолью.

Апах с отсутствующим видом цыкал слюну через редкие передние зубы. Хоортай-ага оглаживал белую с чернью бороду.

– Нам не на что машины покупать!

– Верно, верно, – оторвал от бороды пальцы Хоортай. – Машины – добрая покупка, только...

– Но ведь сказано же, – вмешался Пичон, – что машины купит Хапын-абый, а вы на первых порах тратиться совсем не будете. От вас всех только одно и требуется: говорить, что машины принадлежат всему аалу, что у нас товарищество...

– А-а, товариство! Хапын-абый хочет сделать товариство! – загомонили за столом. – Чახсы! Пусть делает...

Мысль о создании «машинного товарищества» гвоздём засела в голове Хапына. «Дальновидный этот Пичон-айна, – думает Хапын. – Про товарищество подсказал».

Не терпится Хапыну заполучить поскорее машины. Тогда он крепче приберёт к рукам лучшие луговые сенокосы и хлебородные участки степи. Чтобы всё опять было по-старому.

Создаст «товарищество» – крепче зажмёт в руке свой сеок. Люди аала угощаются, думают над словами Хапына о русских машинах, а хозяин уже договаривается с Пичоном, как начинать.

## ГЛАВА 11

Солнце уже садилось, когда Фёдор и Варя вернулись во двор Хоортая. Шли к крылечку избы, закатные лучи были им в спину. Тень Фёдора, опередив его самого шагов на десять, первой коснулась ступенек.

Сели на разбитых косых приступочках. Всё равно в избе нечего делать. Варя, помогавшая катать кошму, потирала красные руки.

– Ошпарилась, поди? – спросил Фёдор.

– Нет, но горят.

– Да-а, «помочь»! Сколько заработала? – одной половиной лица улыбнулся Фёдор.

– А ты сам, Федя, сколько?

Оба засмеялись.

Прибежала Зойка, вертя головой. Две белёсые косички на затылке у неё дрожали, как хвостики. Глаза быстрые, и то в них словно солнышко сияет, то будто тучка бродит. Затормозила отца и мать:

– А мне Марик колечки показывала. Блестят... Тятя, мы совсем приехали?

Фёдор, слегка отодвинувшись от Вари, молча потрепал Зойку по льяным волосам. Мать ответила:

– Нет, доченька, ещё далеко нам ехать.

– Тятя, а тятя? – снова подёргала его Зойка за рукав. – Давай поедём домой... Дедушка...

Вскинулись разлтые брови Фёдора, дрогнули кончики щетинистых усов. Он прижал Зойку к себе, она примолкла. Варя провела рукой, на которой всё ещё оставались красные пятна, по глазам, будто удаляя соринку.

– Беги, доченька, играй, – отстранил от себя Зойку отец.

Зойка знала, отчего отец стал вдруг угрюмый. Нечаянно вырвалось у неё то, о чём в семье знал каждый про себя, но не говорил.

Зойка пошла через двор, оглянулась. Мать и отец сидели, будто каменные.

Солнце за аалом совсем опустилось на степь, и лучи от него протягивались теперь снизу вверх. Оно как бы выстреливало их пучками в покоробленные, сухие, как порох, крыши аала и в сизые облака, что начали вечерний перелёт.

– Помнит Зойка дедушку... Жалко, я опоздал, – тихо проговорил Фёдор. – Подлец Харбинка! За что он его?

Варя придвинулась к мужу, положила ему руку на плечо.

– Павла Васильевича теперь не вернёшь...

– Ладно, Варя, – осторожно снял её руку Фёдор. Варя поняла, что мужа нужно оставить одного. Коснувшись щекой его щеки, она вошла в избу, загремела там посудой.

«Домой... – повторил Фёдор в уме просьбу Зойки. – Нету того дома, доченька. Туда не вернёмся...»

Далеко-далеко, в молодость, в детство увели Фёдора прихлынувшие воспоминания...

«Федя-Медя» – дразнили ребяташки на руднике «Улень» рыжего сынишку рудничного мастера. Перестали дразнить после того, как Федя самостоятельно выковал себе коньки «снегурки», на зависть всем тамошним подросткам.

Рудник они с отцом покинули после того, как умерла мать, а сам отец заболел чахоткой. Приехали в большую пристанскую деревню на берегу Енисея, нанялись к Самохвалову, метившему в купцы. Отец сначала за пчёлами на пасеке ходил, а как окреп на вольном воздухе, поставил Самохвалову мельницу на неболь-

шой речке. У Фёдора уже усы пробиваться стали, да не в том дело. И Фролка, его одноклассник, сын Самохвалова, мог зашипнуть свой ус над верхней губой, но Фролка был хлипким, а Фёдку сила распирала. Лет до пятнадцати был он невысоким крепышом, а потом вдруг сразу вымахал, да так, что уж и на отцовскую лысину сверху поглядывал. А «плечей хватало», как шутил отец, и для такого роста. От отца кузнечное мастерство перенял и у Самохвалова же в кузнице работал.

Однажды Касьян Самохвалов снарядил баржи, справил Фролке отвальную.

«За товарами харбинскими отправляю, – захлёбывался Касьян. – Даст бог, в Харбине дом купим».

И «купили». Фролка вернулся в одних подштанниках, прокутив всё, с чем его отправил отец. С тех пор закрепилась за ним кличка «Харбинка».

– У голопузого-то Фёдки золотые руки, – говорил старший Самохвалов, – а твои никакой пользы приносить не способны...

И Фролка возненавидел Фёдора...

Возвращался однажды Фёдор из кузницы после работы. От пиджака, от рук, от волос пахло дымом, угарной железной окалиной. Не знал он, что лицо его чумазо – трогал его чёрной от сажи пятёрнёй. Как обычно, высматривал он на дворе работницу Самохваловых – Варюшу, а она тут как тут. Несёт Варька телятам поило и пестрядинную юбку повыше подоткнула, чтобы подол не облить.

Весна ещё не набрала силу, вечер прохладный, а девчонка идёт босиком, и ступни у неё красные, что лапы у гусыни. Икры тоже красные, в пупырышках. Ведро в руке тяжёлое, большое, а Варька маленькая, хоть и туго сбита. Как ни откидывает другую руку, а ведро клонит-таки Варьку на один бок. Вот она краешком глаза заметила Фёдку и повернула к нему свою косатую голову. А в глазах её серых, будто подёрнутых рябью озеринках, – не поймёшь, то ли просьба, то ли над ним усмешка.

– Помоги-ка, чумазый, ишь какой вымахал, а нет чтоб пособить.

Фёдка не знал, куда девать свои большие руки и ноги, смущаясь, пошёл к Варьке, неловко взял у неё ведро с поилом и понёс в коровник. Варька семенит следом, и он спиной чувствует её усмешку: «чумазый, чумазый».

Хорошо, что в коровнике полумрак и Варька не видит его лица. Он ставит ведро, не глядя на девушку, выходит и сталкивается с Фролкой.

С минуту они смотрят друг на друга. Фролкины зрачки колючи, как шилья, не укрылось от них, что жарко Фёдкиным щекам. Молча смерили парни друг друга взглядами, потом Фёдка обошёл Фролку, как обошёл бы столб. Ноги у Фролки и впрямь будто к земле приросли – ни вперёд, ни взад. В дверях коровника показалась

Варя с пустым ведром, и Фролка обдал её искрами, что метнули его глаза. Нижняя губа его прыгала, он что-то хотел сказать, но вдруг закусил её, повернулся и пошёл быстрым шагом к большому самохваловскому дому. Федька подошёл к телеге с бочкой, вытащил затычку из отверстия в днище, чтобы поплескаться из бочки водой, смыть с лица и рук кузнечную копоть. А может, щёки хотел остудить Федька?..

Варюша от темна и до темна кружилась в работе, как мельничное колесо: носила воду, доила коров, стряпала, стирала, наводила чистоту в самохваловском доме. Узнал Федька, что из родных у неё жива только мать, и та редко приходит из соседней деревни.

Как-то в воскресенье, когда хозяйева ушли в церковь к обедне, Федька опять встретил Варю во дворе. Спросил, почему она в праздники не ходит на деревенские игрища. «А мне с книжками не скучно, – ответила она. – Люблю читать». – «Про что хоть читаешь-то?» – спросил парень.

– Про всё, Федька! – голос Вари, до этого приглушённый, теперь зазвенел, как ручей, прорвавшийся через запруду. – Про людскую жизнь, про разные страны, а то ещё про старинных людей. И вот чудно: одни книжки просто написаны, а другие – складно-складно, как песня. Ты послушай...

В руках у Вари была небольшая книжка. Девушка открыла страничку, заложенную соломинкой.

У лукоморья дуб зелёный,  
Златая цепь на дубе том...

Читала, и щёки розовели, а когда отрывалась от книжки и взглядывала на Фёдора, глаза её будто туманцем были подернуты.

Нередко помогал с тех пор Федька Варю управляться с самохваловскими коровами, свиньями. Варя тоже нет-нет да и прибежит в кузницу, где Федька работал с отцом, принесёт вкусных постряпушек или холодного молока.

Но чаще и чаще, когда Федька встречался с Варей, возле них появлялся Фролка. И случилось неизбежное: на гулянье у мельничного пруда Фёдор и Варя услышали за своими спинами задыхающийся яростный шёпот Фролки: «Путается Варька с ним без венца...». Кузнец остановился, сказал Варю: «Обожди», – и на глазах парней и девчат, рывком подняв Харбинку над головой, сбросил его в пруд.

Утром Фролка уехал куда-то недели на три.

А в канун его возвращения Фёдор и Варя оставили дом Самохваловых. Вскоре они поженились и переехали на выселок этой же деревни. Там и родилась Зойка.

Перед самой свадьбой Вари Харбинка уговаривал её не выходить замуж за Федьку. «Скажи слово, из-под венца тебя увезу», – молил он. Сам весь ещё больше почернел, осунулся, глаза как угли.

Клялся Варя, что слух нехороший про неё и Федьку распустил с горя, из ревности, а потом и сам жалел об этом.

– Прости, Варька... Люблю я тебя... с тех пор ещё, – он теребил ворот голубой шёлковой рубахи. – Поверь, с тех пор...

Варя заметила, что глаза его, уже не шальные, а печальные, вдруг посветлели от слёз. И поверила: не врёт Харбинка. Даже тронула его за плечо – утешить захотелось.

– Ладно, Фрол, – сказала она. – Ладно... За то, что обидел меня тогда... Не знаю, может, и простила бы... Да что тебе толку?.. Фёдора люблю... Его... За доброе – спасибо тебе. За книжки...

И Харбинка как будто отстал от Вари. Но через соседей узнавал, как живут молодые Полынцевы, и не раз появлялся на выселке, найдя какое-нибудь дело.

Началась германская война, и Фёдора взяли в солдаты. Сражался он на Карпатах, брал Перемышль, был тяжело ранен в грудь, лежал в лазарете. Когда его выписали, он приехал домой. Okрепнув, Фёдор вступил в Минусинский отряд Красной Гвардии.

Харбинка на фронте не был, хотя мобилизовали его одновременно с Фёдором. Самохваловы были из казаков, поэтому попал Харбинка в училище казачьих офицеров. Выпустили его хорунжим и послали к атаману Енисейского казачества Сотникову. Стал Харбинка взводным в Красноярском дивизионе казаков.

А Фёдор встретил известие об Октябрьской социалистической революции в Красной Гвардии в Минусинске. Отряд, в котором он служил, помогал первому Совдепу наводить большевистский порядок в городе и уезде. Тогда и Петрицкий сбежал, и казаки попробовали поднять мятеж. Атаман Сотников, вместо того чтобы выполнить приказ губисполкома о разоружении, вывел дивизион из Красноярска и повёл на Минусинск, вокруг которого в станицах были сосредоточены основные силы Енисейского казачества. В своих воззваниях он призывал станичников «встать на защиту Родины от захватчиков-большевиков».

Встретив неожиданно сильный отпор красногвардейцев, Сотников отступил. На помощь красногвардейцам Минусинска пришли рабочие угольных шахт и медных рудников.

В бою удалось захватить в плен большую группу сотниковцев, и Фёдор узнал Харбинку.

Сидел Фрол Самохвалов в минусинской тюрьме. Ждал расстрела. Злился на атамана, который не сумел тогда удрать. А пуще всего – на Фёдора Полынцева, так как это он, Фёдор, конвоировал Фролку в Минусинск.

Уцелел тогда Харбинка. Чехословацкий корпус в июне поднял мятеж по всей линии Сибирской железной дороги. В Красноярске чехи помогли эсерам взять власть. Опять объявился Сотников. Ми-

нусинский Совет пал. Схваченных большевиков казаки бросили в ту же тюрьму, из которой вышел Харбинка.

Вышел он и стал искать Фёдора Полинцева, хотел расправиться с ним. Карательным отрядом командовал. Но Фёдор с красногвардейцами пробрался в лес за Ачинском, в партизанский отряд Петра Ефимовича Щетинкина. Крепко судьбу свою с тем отрядом связал он. Бил белочехов и колчаковцев, проделал не один таёжный поход. Харбинка с карателями не раз приезжал на выселок. Хорошо, что свёкор укрыл Варю и Зойку на неизвестном Фролке таёжном зимовье.

А вот отец Фёдора не уберётся, попался в руки карателей уже перед приходом партизан. Допытывались казаки про Фёдора, но старый кузнец так ничего им и не сказал. Каратели расстреляли его. На выселке говорят, что это был отряд Фролки.

Одной думой жил с того дня Фёдор – отомстить!

Но где он изловит Харбинку? Как сквозь землю провалился!

Уже и Сотникова схватили и поставили перед ревтрибуналом. И самого Колчака спустили в ангарскую прорубь. А недобитки из белой орды всё ещё прячутся в глухих местах...

Вот о чём вспоминалось сейчас Фёдору.

И он видит себя тёмной ночью – с четвертью керосина в руках – и слышит тогдашние свои мысли: «Не нашёл самого, так спалю всё имение самохваловское. Под корень выведу!»

В глазах Фёдора – зарево.

## ГЛАВА 12

Есть над Чобатом глинистый крутояр, в котором стрижи наделали видимо-невидимо норок. В одном месте спуск к реке положе. Там вытоптана наклонная тропинка, по которой женщины ходят за водой. С боков тропинка заросла крапивой и дикой коноплей. Сюда весь аал свозит навоз, вот и вымахали тут эти сорные растения в рост верхового. Пережидают в них жаркое время дня воробьи и скворцы – ни ястреб, ни коршун не увидят их в таких зарослях. А когда в конце лета поспевают семечки конопли, клевать их прилетают и подросшие перепелиные выводки. Сабис осторожно, чтобы не обжечься о крапиву, спустился пониже и спрятался в конопле, неподалёку от тропинки. Смотрит на вершину яра. По ней от каждого огорода к этому единственному спуску проложена отдельная тропинка. Сабис пристально следит за дорожкой от усадьбы Пичона, протоптанной подошвами Марик: «Не обманул ли Тойон?». Солнце уже закатывалось за Чалбах-тигей – длинную плоскую гору, обрывистый склон которой навис над аалом с северо-запада. Низ Чалбах-тигея был в тени,

а верх горел багрецом, будто кто-то пустил там пал и этот пал пляшет сейчас и извивается огненным змеем на самом гребне обрыва. Сабис смотрел на полыхающие закатным пожаром зубцы Чалбах-тигея и не мог оторвать глаз.

Вдруг он услышал песенку и радостно дрогнул. Он увидел наконец на тропинке маленькую гибкую фигурку Марик. Девочка с коромыслом спустилась вниз, к речке. Коромысло слишком длинное. Оно всё время сползает то вправо, то влево. Вёдра болтаются. Но Марик – ловкая, она и на неудобном коромысле удерживает их. Передёрнет плечиком – и коромысло на месте. Бодро топают по каменистому спуску её ноги, обутые в старые сапожки.

«Тойон не подвёл. Сдержал своё слово. Марик послал!» – встретился Сабис.

А Марик, как обычно, шла и напевала, улыбалась своей песенке, и с её круглых щёк не сходили ямочки. Потом Сабис увидел – Марик нагнулась, глубоко погрузив в воду сложенные ковшиком ладони, и замерла. Потом она разом выбросила их из воды, подняв тучу брызг, и засмеялась. «Поймала пескарика, – догадался Сабис. – Сейчас бы встать перед нею на тропинке, заговорить...» Какие слова он скажет Марик?

Набрав воды, Марик уже шла в гору с полными вёдрами.

Вот ещё немного – и она поравняется с кустом, за которым ждёт Сабис. Ещё шаг и ещё... Но Сабиса сковала нерешительность. Он пропустил её мимо. Видел, что ей трудно взбираться вверх с тяжёлыми вёдрами. «Сейчас... – заколотилось его сердце. – Сейчас догоню, помогу ей...»

Но в это время сверху раздался окрик Пичона:

– Мари-ик! Где ты там пропала? Поторопи-ись, Марик!

В отчаянии Сабис рывком бросился ей вслед, но разбередил резким движением недавний вывих и упал. Пока он поднимался, Марик уже вошла на горку.

«Ну, оглянись, оглянись же!»

Марик не обернулась.

Деда Сабис застал в юрте. Старик сидел на полу, поджав ноги. Его сгорбленная спина то сгибалась, то выпрямлялась.

Ходуном ходили лопатки под ветхой рубахой. При свете жирника он что-то мастерил. Пахло кожей. Сабис пригляделся – новое седло. Обернувшись на скрип двери, дед спросил:

– Где так долго ходил? Ногу не бережешь...

– Там, – неопределённо показал рукой Сабис.

– Это седло будет твоим, Сабис, – немного помолчав, сказал многозначительно Хоортай. – Проси у матери её монетки с дырочками, которые она к косам подвешивает, и я отделаю седло серебром.

Сабис удивился: «Откуда дед узнал про коня?!»

– Смотри, никому ни слова. Хапын-ага дарит тебе Солового тая,

– таинственно сообщил дед. – Сам сказал мне. Ну, что же ты не радуешься?.. А скажи, палам, всё-таки, кто тебя с коня сбросил?

Сабис молча опустил голову.

Хоортай сидит, поджав ноги, трубку он не выпускает из зубов.

Сагдай только что уселся против тестя и трубку ко рту подносит не часто. Другим он занят – рассказом, как потерянный косяк искал.

– Когда нашёл девять косяков, – хрипло говорит Сагдай, – стал думать, где же десятый. В степи не видел, возле Чобата тоже нет. Поехал в аал, к Хапыну-абыю. По дороге думал, если не найду хотя бы следы, не миновать мне тюрьмы. Он неуклюже сидит на искривлённых постоянной верховой ездой ногах, короткое туловище его слегка раскачивается. На смуглом лбу его блестят капли пота. Лучше бы с дюжину необученных коней заарканил он, чем вот так рассказывать...

– И я, Хоортай-ага, следы увидел и узнал. Вверх по Чобату они вели, правым берегом. Кони в косяке некованные, жеребята есть. А у Мухортого жеребца копыто с трещиной. Но были там следы двух чужих лошадей, с подковами. Воры на них ехали.

Сагдай передохнул, затынулся.

– А потом следы от Чобата круто повернули к Ахбану. Воры загнали косяк в воду. Вброд кони реку перешли. Я тоже переехал Ахбан на Игреньке. На том берегу косяк гнали по дороге, но потом по ней прошло коровье стадо и конские следы затоптало.

– Целый косяк гнали. Может, видел кто? – в голосе Хоортая тревога, в глазах – гнев.

– Расспросил я пастуха. «Тут, говорит, каких-то коней гнали, сам видел». – «А куда гнали?» – «Вверх по Ахбану». – «А не знаешь, случайно, спрашиваю, откуда эти люди? Кто они?» – «Лучше бы, говорит, об этом помалкивать. Всё равно тебе, оол, коней своих не вернуть, в Хаза-тайгу угнали». – Сагдай сделал глубокую затяжку. – Когда узнал про Хаза-тайгу, приехал в наш аал, к баю Хапыну. У него председатель Пичон сидел...

– Что же он делал у Хапына?

– Араку пили. «Заройся в землю, залезь на небо, – сказал мне Хапын-абый, – но чтоб косяк нашёлся». А Пичон налил мне араки и спросил, что я узнал. Мне что-то не понравилось, как Пичон спрашивал. Я ничего и не сказал. «Доехал, говорю, до берега. Следы у реки кончились. Наверно, косяк за Ахбан переправили». – «А кто, по-твоему, воры?» – «Откуда могу знать?» Тут Хапын-бай рассердился. «За что, говорит, Сагдай, я тебя и твою семью кормлю? Сабису твоему Солового тая подарил, а ты потерял лучший косяк табуна! Ищи опять, приказывает. Не найдёшь – сядешь в тюрьму». А Пичон ещё мне араки подносит и говорит: «Выкупишься, не горюй». – «Чем я могу выкупиться?» – спрашиваю. «Чем? Кобыли-

цей... У тебя, – говорит Пичон, – есть на Красном озере молодая ладная кобылка...» Сам подмигивает...

Трубка в зубах Хоортая шумно пыхнула, старик пробормотал что-то, похоже, выругался.

– Понял я, это он про Кнай, – поперхнулся Сагдай дымом. – Что же мне делать, Хоортай-ага? Косяк искать – смерть искать. Не будет косяка – тюрьма будет... От тюрьмы надо откупаться дочерью. Ой, палам Кнай!.. – Плечи табунщика вздрогнули, он закрыл лицо руками.

– Кнай от нас никуда не пойдёт, – проговорил старик твёрдо. – А косяк пусть сам хозяин ищет... Наверно, они вперёд тебя узнали, где кони. Тебя испытывали... И то, что ты про Хаза-тайгу промолчал, это хорошо. Кто из аала помог бандитам – мы не знаем. Вот и надо молчать...

### ГЛАВА 13

Фёдор ходил по аалу, примериваясь, где поставить кузню. Стоит возле чьего-нибудь двора – голова вровень с воротной перекладной, – поерошит узластыми пальцами свои огнистые волосы, хмыкнет и двинет дальше. Это место ему не ладно, то – не годно.

Был полдень, но уже не такой жаркий, как тот, когда он подобрал в степи Сабиса. Глянул на юг и увидел далеко-далеко за дрожащим маревом Саяны. Самые верхние зубцы их белели.

Прямо на Фёдора, посередине улицы, двигался большой воз со снопами. Натужно скрипели колёса телеги. Буланый мерин при каждом шаге в оглоблях кланялся мордой. Покачивались плотно уложенные и придавленные сверху бастриком пшеничные снопы. А на бастрике сидел Апах в сборчатой рубахе из некрашеного холста, простоволосый, с запутавшимися в чёрных патлах соломинами.

– Изеннер! – крикнул Апах, стрельнув глазами в Фёдора и натягивая вожжи. – Тарова, труг!

– Зачем снопы-то в деревню везёшь? – спросил Полынцев. – Молотил бы в поле на гумне...

– Наш аал в поле не молоти. Ахбан замерзай – там на льду ток делай, – ответил Апах.

– А до тех пор хлеб в клади уцелеет?

– Кто его знай! – озабоченно вздохнул Апах.

Фёдор посмотрел вокруг. И у других хозяев на задворках тоже торчали пшеничные и ячменные клади. Они казались небольшими по сравнению с кладью на задворках Хапына. Туда медленно подходили тяжёлые возы. Укладчики снимали с них тугие снопы и, вздев на рожки деревянных вил, подавали наверх.

– Чудно у вас, – сказал Фёдор, – клади ставят в деревне, всяк у

своего жилья, – и перед глазами его возник пылающий двор Самохвалова. Он даже вздрогнул – таким отчётливым было то, что сейчас представилось ему: пляшущие языки пламени, золотая жара углей. – Вдруг ненароком подпалите!

– Зачем такой слова говоришь? – завертелся на возу Апах. – Снопы дома – душа спокойный...

«Нельзя ставить кузню по этому порядку, – сказал себе Фёдор. – Может, искра из трубы хозяйского дома прилетит и пожару надевает, а свалят на кузнеца. Есть у них такие ловкачи...»

– Ну, вези, Апах, урожай, – Фёдор отступил от воза. – А вечером приходи, посоветуемся, где лучше кузницу строить...

– Зачем вечером? Апах сейчас тебе говори, – возчик приподнялся, показал рукой на пустырь за двором Хоортая. – Там строй кузнис. Чахсы место. В обрыве, однако, камень горячий есть. Аларчон говорил, тот камень айна сидит, Таг-эзи...

– Камень горячий – это каменный уголь?

Апах увидел: Улуг Пёдор – так он называл кузнеца со дня их первой встречи – обрадовался, как мальчишка. Двор обнесён изгородью из редких жердей. На самый высокий кол привешена застреленная ворона во устрашение её жадным сородичам. Принял меры хозяин, чтобы вороны и сороки не расклёвывали кошмы, которые Онис просушивает на заборе. Кошмы эти не свои – катали их во время помочи у Хапына, но с ними ещё много возни.

Онис в красном платье сидит на корточках. Платье-балахон закрыло ей ступни. Можно подумать, не женщина, а колокол это. Правая рука Онис ходит, как рычаг, туда-сюда, туда-сюда крутит маленький жёрнов. А в левой зажата горсть зерна. Пшеницу на лепёшки мелет Онис. На её смуглом гладком лбу блестят бисеринки пота. Онис поводит глазами, удлинёнными из-за продолговатых век. Блеск их притушен густыми ресницами, а брови над ними взмахиваются, как крылья. На Варю, которая пришла к ней и сидит тут же рядом, смотрит Онис. Приятно ей, что Варя надела её подарок – вышитый платок. Только повязала его по-своему, по-русски, нарочито небрежным узлом. Платок чёрный, красными цветами, а лицо у Вари беленькое.

Варя принесла с собой свёрток и сейчас разворачивает его. Из помятой старой газеты она достала длинную узкую полосу белого тонкого холста, разноцветные гарусные нитки, иголку. Положив пальца на колени, Варя вдевает в ушко иглы новую гарусинку. Онис разглядывает узор.

– Мой не такой, – быстро говорит она и поднимается на ноги. Красное платье-колокол опадает на ней, и теперь видно, что Онис хоть и невысока, но стройна, и талия у неё тонкая, гибкая. Варя залюбовалась.

– Чё глядис так? – смутилась Онис.

– Эх, милушка! Нарядить бы тебя, – сказала Варя.

– На праздник платьё тоже есть, – ответила ей Онис. – Такой день не надевай...

– Ну-ну, я это к слову, – заметила Варя. – Твою одежду никто не хаёт.

– Тохта, погоди, – сказала Онис. Она быстро сбегала в юрту и принесла лоскут блестящего чёрного плиса, весь в радужных разводах. Лоскут был выкроен по руке, и Варя догадалась – будут у Онис вышитые рукавички.

– Какая ты мастерица! – похвалила она. – Я так не умею.

– А я так не может, – показала Онис на полотенце Вари.

– Хочешь, научу? Дружить так дружить! – воскликнула Варя и тряхнула головой, отчего узел платка разъехался, развязался, и платок сполз с головы на плечи. Белокурые волосы Вари рассыпались прядями, и она стала их торопливо прибирать, подняв оголённые локти. Онис коснулась рассыпавшихся прядей Вари, задержала на них ладонь.

– Как пух! – и она восхищённо зацокала языком. Онис, кажется, вовсе забыла про свою мельницу. Всё рассматривала вышивку Вари, перебирала разноцветную гарусную пряжу, и она горела у неё в пальцах, тонких, подвижных, как осы.

Возвращая Вале её рукоделье и нитки, Онис случайно задержала взгляд на газете, в которой её русская подруга принесла полотенце.

– Ты читай? – спросила, надломив тонкую, будто нарисованную, бровь и показывая на крупные буквы.

Варя не поняла, то ли Онис спрашивает, умеет ли она читать, то ли просит, чтобы прочитала, что тут написано.

– «Соха и молот», – прочла вслух Варя название газеты. – Соха – землю пахать, молотом кузнец работает.

– Моя знай, знай, – улыбнулась Онис. – Ты учи меня бумагам говорить.

– Милушка моя! – обрадовалась и в то же время опечалилась Варя. – Как же учить? Карандаш нужен, тетрадь нужна...

– А вот так, – Онис подала ей палочку. – Вот карандас, – показала на голую землю, – вот китрат...

– Изеннер, Аларчон. Проходи в юрту. Что тебе говорят твои духи? Будет ли благополучие в аале? – этими словами старый Хортай, стоя возле юрты, приветствовал низенького упитанного человека с брыластым лицом. Щёки у Аларчона свисали со скул, и там, где полагалось находиться подбородку, у него было углубление, из которого торчала метёлка жёстких чёрных волос. Веки Аларчона вздёрнулись и опустились снова, оставив незакрытыми только щёлочки глаз. Он смиренно поклонился Аларчону и ещё раз пригласил его в юрту.

Аларчон топтался на месте, передвигая на животе ремень, украшенный, как уздечка, набором медных бляшек.

– А туда не зайдут эти русские? – спросил он, мотнув головой в сторону избы.

– Они никому не мешают, Аларчон. Да их и нет в ограде. Варвар пошёл к Онис, а Пёдор Павлыча...

– Знаю, знаю, не рассказывай! – прервал старика Аларчон.

– Видел там, – показал он широкой короткой рукой на пустырь.

– Копают землю вместе с полоумным Апахом.

– Кузница будет, – одобрительно сказал Хоортай.

– Беда аалу будет, – щёки Аларчона задрожали, как студень.

Хоортай не выдержал слишком пристального взгляда Аларчона и стал смотреть на носки своих растоптанных маймахов.

– Ты, – ткнул ему в грудь пальцем Аларчон. – Ты сам, Хоортай-ага, виноват, что зять твой, Сагдай, потерял косяк, а дочь твою, Домну, помяли овцы. Думаешь, всё это просто так случилось? Не-ет! Это духи разгневаны. Зачем пустил к себе этого меднобородого и его бабу с девчонкой? Пожалел? А он твоего Сабиса...

Взгляд Хоортая скрестился со взглядом Аларчона, в нём было столько ясности и спокойной силы, что теперь поединка не выдержал Аларчон.

– Ты это сказать мне пришёл, кам?

– Не только... Ты знаешь, – голос Аларчона перешёл в свистящий шёпот, – духи мне сказали: всё, что случилось до сих пор, это только предупреждение тебе. Не выгонишь русских – Таг-эзи придёт...

– Зачем же приходиться Таг-эзи? Его никто в нашем аале не беспокоит...

– Ты, Хоортай-ага, разве не знаешь того, о чём все в аале говорят? Русский собирает жечь в своей кузнице то, что принадлежит Таг-эзи, – чёрный горючий камень. Отступник Апах показал ему место в обрыве над Чобатом, где выходит чёрная жила. Шибко худо будет аалу, если Таг-эзи рассердится.

Слова клокотали в горле Аларчона, а на нижней толстой губе его кипела, пузырясь, слюна.

– Пока ещё не поздно, прогони русских. Хоортай шумно вздохнул. Он верил в Таг-эзи – хозяина гор, в Суг-эзи – хозяина воды.

– Страшно сердить духов, – сказал он, помолчав, – но я не могу нарушить закон степи. Пёдор Павлыча – мой гость, а гостей в юрту приводит Худай.

– Ты, Хоортай, трещишь, как сорока, – снова затряс брылами Аларчон. – Разве ты ещё не понял, что и Худай на тебя разгневан? Худай послал тебе три испытания. Ты их не выдержал. И теперь он отступится от тебя. И не защитит тебя от Таг-эзи... А Таг-эзи придёт к тебе за своим добром...

– Ну, если придёт, – сказал после раздумья Хоортай, – я ему ска-

жу: «Кузнец берёт твоё добро для всех. Коней подковать, плуги наладить надо всему аалу. У всех ищи...». Тогда Таг-эзи никого не тронет.

– А ты разве забыл наши старинные верованья, Хоортай?

Не надо брать то, что лежит в земле. Таг-эзи придёт только в твой двор...

– Тогда он и тебя не обойдёт, Аларчон, – сказал Хоортай.

– Ведь я знаю, что ты сам берёшь в обрыве чёрный горячий камень. Мне Апах рассказывал.

– Беру. Этот камень нужен мне для камлания...

– А скажи, кам, почему, когда ты зимой топишь печь, из твоей трубы идёт самый чёрный дым? Люди говорят, оттого, что ты водишься с самыми чёрными духами. А я раз принял – пахнет твой дым тем камнем... Зачем это говорю? А вот зачем. Зовёшь к другим Таг-эзи, жди его и сам...

Аларчон ничего не ответил Хоортаю. Он только впился взглядом в его глаза. Где-то в их уголках, несмотря на то, что Хоортай не соглашался с ним, Аларчон видел неуверенность, сомнение. «А ну, как и вправду Таг-эзи станет мстить?..»

И он ушёл, посеяв это сомнение...

## ГЛАВА 14

Распахнулись на обе половины тесовые ворота Хапынова двора. Сам хозяин отворил их. Распустив золотисто-седой хвост и держа его на отлёте, лоснясь гладкими и крутыми боками и потряхивая гривой, на мягкой рыси вылетел из ворот Соловый. Сабис избочился на нём, поводья держит в левой руке, в правой – витую камчу. Голова гордо запрокинута. Всяк, кто посмотрит на Сабиса, скажет: «Ловкий, отчаянный наездник». Нос с горбинкой делает его похожим на молодого ястребка. Сабис улыбается всем встречным, улыбается Соловому, который просит поводыев, и, конечно, самому себе. Лучатся глаза, блестят зубы. Он получил Солового, он счастлив.

Только почему он сразу, с места, погнал Солового самой крупной рысью? Сабис не обернулся, не посмотрел на Хапына, но он знает, что хозяин всё ещё стоит у ворот в чёрном широкополом тааре и трёт лоб. Сказал: «Бери коня, только помни, за что он тебе дан». А Сабису не хочется этого помнить! Табунок ребятни бежит вслед за Соловым. В щёки Сабису бросается румянец, губы расплываются в улыбке: внимание есть внимание!

Но вот улыбку будто сдувает ветром. Сабис чувствует, как тяжелеют и опускаются вниз веки. Он проезжает мимо того места, где Большой Фёдор строит кузницу. Сабис в смятении. Ему хочет-

ся хлестнуть Солового концом повода, чтобы иноходец как можно скорее унёс его отсюда. Но вместо этого он, сам не зная почему, натягивает повод, укорачивает шаг коня. Фёдор и Апах ошкуривают листовенничные столбы. Согнувшись вдвое и раскорячив ноги, они гонят топорами с кряжистых сутунков длинную щепу. Вот Фёдор, услышав рядом конский топот, поднял голову, выпрямился. Апах, увидев Сабиса на Соловом, тоже перестал тесать столбы, воткнул топор в сутунок.

– Чахыс пегунес, – щёлкает языком Апах, хвалит перед Фёдором Солового.

– Верно, хорош, – соглашается Фёдор. – Да и наездник вроде не плох. Эй, Сабис! – неожиданно зовёт он. – Погоди-ка, послушай, чего тебе скажу..

Сабис настораживается.

Сабису кажется, что русскому всё известно: и разговор его с Тойоном, и за что Хапын отдал ему такого коня. Может, рыжий алып только делает вид, что любит Соловым? Но Фёдор широко улыбается ему, охлопывает широкой ладонью шею и холку Солового.

– Ты ведь понимаешь по-нашему, Сабис... Гляди... – Он повёл головой в сторону своей постройки. – Тут кузня будет. Приводи тогда Солового, подкуём его на все четыре... Ну чего ты такой неразговорчивый, чудака человек? Али торопишься куда? Ладно уж, поезжай..

Сабис продолжает путь, не смея поднять головы. Маленьким и жалким кажется он сам себе.

Он гонит коня к Чобату, ниже того места, где берут воду. Там, примостясь на широком и покато, выступающем из речки у берега валуне, полощет бельё Марик. Она потихоньку что-то напевает без слов, есть ведь на свете такие песенки. Их сколько угодно можно подслушивать и перенять у Чобата, у леса, у птичек. В такую песенку можно вложить всё, что подсказывает сердце.

Но вдруг солнышко в воде ходуном заходило, заплескалось и разлетелось на тысячи брызг. Это с ходу, рысью, въехал в речку Сабис на Соловом.

– Сабис! Ой, как напугал. Смотри, ты разбил солнышко.

Марик положила рядом с собой выжатый жгут белья и встала на валуне.

– Ничего, – сказал Сабис, свешиваясь на шею коня. – Вот, погляди сюда..

И они, сблизив головы, глядят на речку и опять видят в ней солнце. Пальцы Марик запутались в гриве Солового, и рука Сабиса – там же. Обе руки нашли друг дружку, коснулись, переплелись пальцы..

– Значит, Соловый теперь совсем-совсем твой? – спрашивает Марик.

– Мой. Совсем...

Марик рада этому не меньше Сабиса. Он достоин такого подарка. Кто ещё может быть таким же ловким наездником?

Сабис дни и ночи проводит в седле, перегоняя косяки.

Им обоим вдруг не о чем стало говорить. Притихли. И в этой тишине слышно, как звенят, срываясь с губ Солового, капли воды.

– Знаешь, Марик, там, где сейчас пасётся табун, много «сладкого корня», – преодолел молчание Сабис. – Ты приходи завтра в луга.

– Если дядя Пичон...

– Тойон часто у вас бывает? – перебивает Сабис.

– Почти каждый день.

– А зачем?

– Мало ли зачем! Араку пьют, в карты играют. Он сидит тихо, только вот... – Марик замаялась, покраснела.

– Только – что? – нетерпеливо спрашивает Сабис.

– Уставится и глядит, – безотчётно понизила голос Марик.

– А-а! Так он приходит, чтобы смотреть на тебя?..

Звякнула уздечка. Конь одним прыжком вымахнул из речки на берег.

– Сабис! Сабис, я приду-у! – кричит Марик вдогон. Но в ушах Сабиса уже поёт ветер.

Шаманским, размалёванным в красный цвет бубном скачивается солнце с островерхого Саяна за степь, туда, где берёт начало Чобат.

Низкорослый Апах, шурия и без того узкие глаза, смотрит вверх – на Фёдора Полынцева.

А Фёдор топчется возле вкопанного столба. Приминает землю подошвами пудовых бахил. Надо, чтобы крепко держался столб – не поддавался б ни непогоде, ни лихому человеку.

– Уу-уююй, как много надо позух – стенка приколотить, – замечает Апах.

– Чего-чего? – не понял Фёдор.

– Позух... – В глазах-щёлках Апаха бьётся смех. – Его голова круглый, всё равно как мой, а нога острый...

– Гвоздь!..

– Пусть гывоздя будет. Мой говорит: «Позух...».

– Не понадобится, – качает головой Фёдор. Он показывает на протёсанные пазы в столбах. – Это стенку лучше удержит...

Теперь они отдыхают. Вьётся тоненькой змейкой дымок из трубки Апаха.

У кузнеца не идёт из ума Аларчон. Собой хлипок. Чихни – и упадёт. А какую бучу поднял, когда узнал, что он, Фёдор, собирается каменный уголь для кузницы копать. Бегал шаман по всему аалу, кричал, что постройка кузницы не угодна духам. «Трава двадцать

лет не вырастет там, где ляжет красная лисица», – говорил всем Аларчон.

И сейчас Фёдор спросил Апах, давно ли он знает Аларчона.

– Росли вместе, – ответил Апах. – А потом Аларчон стал кам.

Вспомнил Фёдор один случай из своей партизанской жизни.

Когда щетинкинцы отбили у белых Минусинск, то навстречу им вместе с жителями вышли и попы. Один даже хлеб-соль нёс. Партизаны приняли его, никуда не денешься. А на другое утро командир разведчиков Пётр Жарков привёл этого попа в трибунал под конвоем: «Колчаковцев прятал. В церкви, под полом, у него тайник. Там и винтовки, и пулемёты...».

Полынцев, словно наяву, увидел Жаркова, своего партизанского начальника. Высокий, а не плечистый. Силы вроде и не так много. А как взглянет – будто насквозь тебя просветит глазами... Головастый и дельный командир. Главное – совесть у него чистая, как на ладони. За таким легко в бой идти... Где же он теперь, наш Пётр Иванович?

Фёдор кончил трамбовать землю, отошёл от столба, посмотрел – вкопан прочно.

– Пёдор Павлыча, – попросил его Апах. – Делай мне, пожалуйста, вот такой сундучка... – он показал руками размер. – Апах пойдёт на темир-чолы – железный дорога...

Полынцев не совсем понял. То ли Апах куда-то собирается ехать по железной дороге, то ли работать на какой-то станции. Фёдор знал, что ближайшая отсюда железнодорожная ветка Ачинск – Минусинск, строительство которой было прекращено в колчаковщину, достраивается. Может быть, Апах туда и собирается?

– А почему ты аал оставить хочешь? – спросил Фёдор. Апах сел на траву, набил трубку. – Почему?

– Работа нету. Ханынов скот пасти? Не надо. Ребятишек по-русски учить надо... Ящик делай... Железный дорога машина есть. – Апах встал и запыхтел, изображая паровоз, закрутил руками. – Настоящий айна! – и захохотал.

На восточном конце аала залаяли собаки. Послышался конский топот, стук колёс. В сторону аалсовета мимо двора Хоортая проехали двое в тарантасе. Их хорошо видно было и с того места, где Полынцев и Апах строили кузницу.

Всмотревшись в лицо одного из них, одетого в защитный дождевик и военную фуражку, Фёдор удивлённо ахнул, брови его полезли вверх.

– Понимаешь, Апах, какая оказия! – говорил Фёдор возбуждённо. – Радость-то какая!.. Только ведь про него подумал, а он сам тут и появился... Ну и оказия!..

Обоз растянулся на полверсты. Низкорослые степные лошадки с косматыми гривами впряжены в телеги, нагруженные высоки-

ми связками шкур, громоздкими тюками. Вожжи держат смуглые широкоскулые возницы, одетые в длиннополые хакасские таары. Фыркают кони, скрипят телеги, раздаётся быстрый отрывистый говор возчиков.

– Корат? – проговорил одноглазый Тирнук, показывая кнутовищем вперёд.

– Город, город, – подтвердил сидящий рядом с ним Пичон, подтягивая ичиги, отряхивая пыль с таара и поправляя на голове коричневую войлочную шляпу.

Вдали – не в ряд, а как попало, – саманные, белённые известью домишки окраины. Стёкла окон пускают в обозников зайчики. За тремя линиями домов – гряда тополей. Она почти сплошная. Деревья высокие, старые. Над толстенными бугристыми стволами раскидистые кроны. Пожухлая листва не облетела. Тополя стоят на берегу протоки, у самой воды. Они, как часовые, берегут прозрачный Тагыр, разделяющий город Минсуг на две части.

«Тагыр, Минсуг – наши названия», – думал Пичон. Ему тесным кажется воротник таара, и он не расстёгивает, а рвёт верхний крючок. В горле у него клокочет, как будто там кипит, а пар не может протолкнуться наружу. А может быть, что просятся слова, которые Пичону хочется сейчас произнести вслух, но он сам же поставил перед ними крепкую преграду и произносит их лишь мысленно: «Нашим будет весь этот край, нашим. И Минсуг возьмём. Людей наwerbруем и вооружим на деньги Петрицкого...».

А в раме дуги уже новый вид – деревянный решетчатый мост через Тагыр. Вот подвода вкатила на мост. Щёлкают копыта по дощатому настилу, гремят колёса. Рыжка пугливо косится на мелькающие справа и слева высоченные бревенчатые фермы. В это время, в сентябре, Тагыр мелкий, и мост кажется особенно высоким. Тирнук не был здесь раньше, не видел моста.

Он соскакивает с телеги, подбегает к низким перилам.

– Туда глядеть – голова кружится, – говорит он Пичону.

– Не зевай по сторонам, а запоминай дорогу, – недовольно замечает ему Пичон. – Не будет меня на возу – куда править станешь?..

Сам Пичон на мосту обернулся только раз. Посмотрел на тот берег, с которого они въехали по дощатому настилу. Но не на своих обозников глядел Пичон. В стороне от моста, ниже по течению, несколько поодаль от прибрежных тополей, краснело кирпичом широкое трёхэтажное здание с узенькими окошечками. Даже отсюда, с моста, видно было, что окошечки зарешечены.

Пичон с силой сдавил челюсти, и зубы его громко скрипнули. Если бы взгляд его мог прожечь эти толстые кирпичные степы, эти железные крестообразные решётки на окнах! Ведь где-то за ними, под стражей, сидят сейчас последние приверженцы атамана Сотникова, на которых он, Пичон, мог бы опереться. Сидят и госпо-

да из управления рудников Петрицкого. За тюрьмой – сосновый бор. Может быть, отсюда бывшие знакомцы Пичона переселяются под землю, в царство Юзут-хана... Зябко повёл спиной Пичон, велел Тирнуку быстрее съезжать с моста. Чаше защёлкали по доскам копыта Рыжки, громче застучали колёса. А Пичону показалось, что это пулемёт ударил по мосту.

На правом берегу Тагыра от моста пошли каменные строения. Кирпич тут окончательно вытеснил дерево. Улочка была неширокой, только-только разминуться двум встречным подводам. По обе стороны лежали тротуары из плит дикого красного камня – песчаника. К окнам нижних этажей привешены тяжёлые ставни, в наличники вделаны железные петли с болтами.

Улочка повернула, привела на площадь. И тут Пичон и Тирнук увидели собор. Он сверкал позолотой высоких куполов, стеклом множества полукруглых окон, яркой медью фигурных крестов, венчавших купола. Широкая паперть, сложенная из того же песчаника, вела к главному притвору. Двери его были приоткрыты. На паперти толпились нищие и старухи в чёрных платках. Внутри шла служба. Пичон расслышал даже пение хора.

Тирнук, раскрыв рот, рассматривал никогда не виданное прежде здание. Каменное, оно, казалось, вовсе не давило на землю, – плыло, будто корабль, обращённый носом к востоку.

– Вожжи уронил! – окликнул батрака Пичон.

У Пичона с этим русским православным храмом было связано одно воспоминание. Приезжал сюда с отцом на благодарственный молебен, который заказал в соборе золотопромышленник Петрицкий. На молебен собиралась вся местная знать – и русские купцы, и хакасские владельцы.

Пичон стоял тогда внутри храма, в правом его приделе, среди кряжистых аксакалов байских родов. Все аксакалы были крещёными, хотя крестились неумело. Блестело серебро их наплечных нашивок, переливались шелка сборчатых рубах и тааров. Мальчишка, он вытягивал шею, стараясь получше рассмотреть возвышающегося впереди, перед самым амвоном, Петрицкого. Но того загораживали спины в пиджаках из дорогой шерсти. Плотным кольцом окружали «золотишника» купцы-лабазники. Пичон всё-таки рассмотрел тупые толстые плечи, натёртую тугим крахмальным воротничком красную шею, покрытый завихрившимися завитками рыжих волос затылок. И посредине затылка – шишку величиною с кулак. Он забыл, что находится в церкви, и громко засмеялся, показывая отцу на затылок русского бая. Но отец, оскалив зубы, как табунный жеребец, зло сверкнув глазами, забрал в пятерню волосы Пичона и больно потянул. Тогда он обиделся на отца. Лишь после понял: не мог отец, состоящий в свите Петрицкого, обойтись с ним иначе. Всё тут – и великолепие храма, и пёстрая

толпа русских и хакасских воротил – было только пышной рамой для Петрицкого. Для него волосатый дьякон, одетый в серебряный стихарь, возглашал многолетие, да так, что тряслись и звенели подвески паникадила. Для него ангельски умильно пели два хора на клиросах и третий – на балкончике под потолком.

Петрицкий казался скалой, вросшей навечно в минсугскую землю... Где теперь эта скала? Большевики уронили? Хым... Ведь в руки большевиков не попала большая часть денег Петрицкого, в минсугскую тюрьму не угодила часть его людей. А главное – остались рудники. И сам он из-за границы шлёт верных гонцов – торопит с антибольшевистским восстанием, с отделением Хакасии.

Пичона он, наверно, и не помнит. Где там! Но Петрицкий хорошо слышан о хакасских националистах. Знает, что они выбрали даже президента...

Пичон похож на пьяного. Сухой огонь блестит в его глазах. Закричать бы сейчас по-беркутиному, чтобы этот крик услышали те, кто прячется где-то в таёжных чащах. Вот он, Минсуг! Им надо овладеть как можно скорее, не дожидаясь, пока большевистская власть окрепнет.

Крупные капли пота блестят на лбу Пичона. Тирнук смотрит на него с опасением: не заболел ли? А Пичон смахивает пот рукавом таара: да нет, это он мысли сгоняет. Страшные они, далеко идут. Вдруг люди в Минсуге их подслушивают. Страшно. Может быть, не надо было ехать с обозом в Минсуг, где его могут узнать? Но он не надеется встретить тут знакомых. Он успокаивается, ловчее устривается на телеге.

Обоз подошёл к двухэтажному каменному зданию ревкома. Передние подводы остановились, а задние всё подтягивались и подтягивались. Дуги коренников обвиты красными лентами. Над одним из возов на двух палках алеет полотнище: «Аал идёт к городу».

На тротуарах останавливаются прохожие. Вozy окружила любопытная детвора.

Странное состояние испытывал Пичон, когда поднимался по лестнице на верхний этаж. Мысль стремилась туда вперёд него самого, а ноги казались пудовыми. Его захватил одновременно прилив и отчаянной смелости, и страха. На разведку шёл Пичон. Убедиться лично, прочна ли в Минсуге Советская власть.

Председатель уездного ревкома сдержанно поздоровался с Пичоном и показал ему на стул.

– Нет, присидатель. Мой стоять будет. Вот бумага, читай...

Нигде и никогда до этого не говорил Пичон, ломая русскую речь. А здесь – надо.

Егор Кузьмич Губенков взял из рук хакаса листок, стал читать. Пичон потихоньку наблюдал за ним. При каждом движении пред-

седателя его мягкие светлые волосы, зачёсанные на косой пробор, вздрагивали. Лицо Губенкова казалось непроницаемым. Лишь пошмыгивал чуть-чуть вздёрнутый нос.

Пичон рассмотрел и чёрный, в полоску, поношенный пиджак Губенкова, и широковатые брюки, немного нависшие на голенища грубых сапог.

Из малограмотного документа Губенков понял: батраки, бедняки и середняки одного из далёких хакасских аалов привезли своим братьям – русским рабочим – тюки кож и кипы шерсти.

Губенков слегка улыбнулся, когда прочитал пожелание сшить из этой кожи сапоги для бойцов Красной Армии и тужурки для комиссаров. У города аал просит сельскохозяйственные машины – там организуется машинное товарищество.

– Что же вы стоите? Садитесь, – пригласил Губенков, раздумывая над бумагой и одновременно продолжая изучать посетителя. «Кажется простоватым, но глядит и держится смело. Интересно, из каких он будет?» Губенков подсадовал, что до сих пор плохо знает низовые кадры уезда.

Был он неплохим командиром подразделения в партизанской армии Кравченко – Щетинкина. На самые трудные и рискованные операции посылало командование батальон Губенкова, и всегда они кончались разгромом колчаковцев. А теперь, когда партия доверила большой пост председателя ревкома, он не чувствовал себя так же уверенно. На кого опереться ему? Коммунистов в уезде, считай, пока горсть. Однополчан-партизан под рукой нет – после разгрома Колчака часть их влилась в ряды регулярной Красной Армии, остальные отпущены по домам... «А может, не с того конца начал? К директивам из центра прирос? Надо почаще выезжать на места... Тогда не будет таких неожиданных знакомств в твоём же кабинете. Что я знаю про его аал?» – Он бросил взгляд на стену, где висела карта уезда. Встал, подошёл к ней. За синими волнистыми линиями, изображающими реки Кимсуг и Ахбан, коричневели сгущённые горизонталы, сходящиеся хребты Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Коричневые штрихи полукругом окаймляли большое зелёное пятно – степь.

«Вот он, хакасский юг! – вздохнул Губенков. – Там до некоторых мест ещё и вовсе не дотянулись ниточки от уезда». Молчание становилось неловким.

– Так, так, председатель аалсовета... – заговорил Губенков. – Много ли баев в аале?

– Один, – сразу ответил Пичон.

– Много скота у него?

– Один большой лог – косяки, один маленький лог – коровы, два маленьких лога – овечки...

– Договор есть с баем у пастухов? Бумага...

– Есть, есть, присидатель. Всё есть.

Губенков задержал взгляд на Пичоне. Не заливаает ли, не смеётся ли в глаза? В русских сёлах уезда и то властям с трудом удаётся оформить договоры о найме рабочей силы. Не идут на это кулаки. Подписать такой договор – всё равно что поставить на себе крест. Бумажка всем скажет – ты кулак, а кулака теперь сторонятся. Да и сами батраки зачастую не хотят подписывать договор, чтобы не портить отношений с хозяевами. А тут в хакасском аале вдруг оказываются выполненными все требования уездного ревкома. Удивительно!

Посетитель выдержал взгляд хозяина кабинета и кивнул на окно:

– Видишь? Весь улус давал. Хакас – сознательный люди. Принимай, пожалста!

Губенков прошёлся по кабинету. Шагов не было слышно, их глушил толстый ковёр-палас, оставшийся в здании от прежнего владельца. Ковёр этот Губенков не любил. «В нём старорежимная пыль», – не раз говорил он коменданту. Но комендант, тоже старый партизан, уговаривал: «Пожалей свои ноги, Егор Кузьмич! Они же у тебя простуженные ещё с той зимы, как мы с товарищем Щетинкиным прошли по сугробам от Ачинска до Степного Баджея...».

Егор Кузьмич поглядел на обоз, стоящий внизу, перед зданием ревкома. Он увидел отсюда не только противоположную сторону площади, но через просветы между домами – и следующую за площадью улицу. Площадь широкая, обстроена со всех сторон добротными домами. Первыми хозяевами их были купцы да золотопромышленники. Строили не для жилья, а чтобы извлекать доход. В нижних этажах размещались магазины, под ними были подвальные помещения, где хранилась всякая всячина. Вон, напротив, дом с весёлыми башенками на крыше, со сводчатыми окнами. Строил его купец Спорышев. А рядом с ним квадратная глыба, выкрашенная жёлтой охрой, – дом мельника Пашенных. Оба были главными воротилами в Минусинске. Пашенных успел удрать от красных в Харбин, а Спорышеву не удалось.

Но было в этом городе до революции и другое. Рассказывали Губенкову, что когда-то жили здесь сосланные декабристы. Кто они такие – предревкома в подробностях не знал, но радовался тому, что уже давным-давно шли эти люди против царя. Хорошие, значит, люди, честные, смелые! Да что декабристы – сам Ленин здесь в конце прошлого века бывал.

Ленинцы, его друзья и помощники здесь жили и работали. А вон там – отсюда не видно этого дома – аптекарь Мартьянов создал интереснейший музей по истории изучения края. Слухи есть, что Владимир Ильич приходил к Мартьянову, интересовался музе-

ем. В общем, будто две разные России сталкивались здесь в давние времена – тогдашняя и сегодняшняя.

Вот тебе и маленький городишко! Вот где тебе придется сегодня командовать, предревкома Губенков! А ты ещё не совсем знаешь, с какого конца начать...

Он поворачивается к Пичону:

– Не случилось ли тебе, председатель аалсовета, бывать раньше в Минусинске?

Пичон, продолжая коверкать речь, рассказал, что он приезжал в город, даже в этот дом заходил. Просто посмотреть. Тогда у входа стоял человек с медалями, с золотым шитьём на рукавах.

Увидел, идёт бедный инородец, – погнал прочь...

– Ну вот, а теперь, – улыбнулся Губенков, и даже тени усталости под глазами его словно крепким сквознячком сдуло, теперь, видишь, совсем другой коленкор получается. И в этом кабинете не я хозяин, а народ.

«Доверчивый или... испытывает?» – думал Пичон, а вслух попросил:

– Ты нам помогай, присидатель. Бандит ходит. Отряд нужен...

– Знаю, знаю. Всё знаю... В вашу волость поехал уполномоченный Жарков. Он вам поможет организовать отряд самообороны...

– Бандит ходит, – повторил Пичон. – Народ боится. Партизан твоих тоже боится...

– Каких партизан? – брови Губенкова взлетели вверх.

– Который кончил воевать, пошёл деревня. Тебе в отряд разве такой люди не надо?

– Такие люди, брат, везде нужны. Да чего же их бояться? Или случай какой был?

– Случай не был, – замотал головой Пичон, – а неизвестный люди винтовка, карабин с собой таскай. Говорит – партизан был. Мой понимает, – Пичон хитро сощурился, – ревком такой люди послал туда-сюда глядеть...

– В разведку, значит? – полуутвердительно, полувопрошающе отметил Губенков.

– Вот-вот, разведка... Хороший дело. Банда гоняй надо...

– Добьём, – уверенно сказал Губенков. – И вы в этом поможете. А вот... – Он присел рядом, взглянул ещё раз в документ посетителя.

– Ну вот, говоришь, Почкаев, что кожу и шерсть привёз, это хорошо. Только ещё вот мяса надо. Скот гнать: быков, баранов... – Председатель ревкома встал, прошёл к столу, достал отпечатанную на машинке директиву. – Поймёшь? По этой бумажке скот отбирай у баев, гони в город. В Красноярск на баржах будем отправлять. Оттуда в Москву, в Питер. Там рабочие голодают...

Пичон кивнул: дескать, всё понял, постарается.

– Так, значит, знаешь город. Ну и хорошо.

Губенков объяснил, куда сдавать кожи. Спускаясь по лестнице, Пичон дышал так, будто долго по ней поднимался.

Обоз давно ушёл из многолюдного центра и теперь приближался к одной из рабочих окраин. По обе стороны кривой улочки друг к другу теснились деревянные лачужки. Здесь и заборы были ниже, и ставни не в каждом жилище, видно, обитателям халупок нечего было прятать. В нескольких местах с той и другой стороны дворы разгораживались друг от друга высоченными каменными стенами из дикого плитняка.

Правя Рыжкой, одноглазый Тирнук поворачивал голову то туда, то сюда.

– Однако, Пичон-абый, – сказал он удивлённо, – у соседей, что отгородились друг от друга, кровная вражда?..

– Нет, Тирнук. Просто эти люди боятся пожара, – усмехнулся Пичон.

И внезапно у него заколотилось, запрыгало нетерпеливое сердце. Рассчитываться с большевиками так рассчитываться. Надо со всех четырёх сторон подпалить Минсуг, когда придёт время! От деревянных улиц останутся только вот эти плитняковые стены. Каменный центр пусть сохранится. Может, Петрицкий вернётся в свой дом, похожий на дворец. А не вернётся, тогда он, Пичон Почкаев, президент отделённой от большевистской России Хакасии, посадит там своё правительство.

Рыжка мотал головой, встряхивая космами гривы. Пичон глядел сквозь полуовал дуги на деревянную улочку и думал, думал.

Внезапно раздалась свистки, резкие, отрывистые, с трелями. У Пичона ёкнуло в груди. Неужели Губенков понял, кто он, Пичон, и теперь послал милиционеров задержать обоз? Противная слабость приковала Пичона к телеге, хотя он знал, что лучше – бежать, перемахнуть через забор, скрыться в первом попавшемся дворе...

Вдруг в телегу вскочил заросший до глаз чёрным волосом детина. Сначала, впопыхах, он только упрасивал о чём-то глазами. Пичон так и не успел его как следует рассмотреть. Увидел только, что детина босиком, а пиджак надет прямо на голое тело. Дышал он часто, шумно – сильно запалился. Беспреданно ворочал головой, поглядывал то на проулок, из которого доносились свистки, то стараясь поймать взгляды Пичона и Тирнука.

В глубине проулка, с которым поравнялась подвода Пичона, показалась цепь милиционеров.

Незнакомец ещё раз взглянул на Пичона, и в его затравленном взгляде что-то блеснуло, у него появилась надежда.

– Господин Почкаев, – хрипло и торопливо выдохнул беглец. – Спасите. Закройте чем-нибудь. Я Самохвалов...

Пичону некогда было удивляться. Беглец распластался на дне телеги, а Пичон и Тирнук навалили на него ворох овчин.

– Поезжай, как ехал, и не верти головой, – приказал Пичон Тирнуку.

К подводе подбежал парень в обычной красноармейской гимнастёрке. В руках он держал винтовку. Наверно, из новобранцев. Видно, боец не нашел звёздочки, чтобы при-

крепить над козырьком, и нашёл на будёновку самодельную звезду из красного сукна.

Запахавшись и облизывая языком запекшиеся губы, он спросил неокрепшим баском:

– Не видели тут одного?.. Контра, его трибунал ждёт...

– Мин пильбинче, – показал ему на себя Пичон и помотал головой: не разговариваю по-русски...

Парень обратился к Тирнуку, но тоже не добился от него ни слова.

– Эх! – произнес он огорчённо и, махнув рукой, присоединился к своим.

– Теперь не оборачивайся, – шептал Тирнуку Пичон.

Отряд, проводив обоз глазами, рассыпался обшаривать ближние дворы.

«А ведь это не милиция! – внезапно сообразил Пичон. – Неужели всё-таки Губенков догадывается о восстании, если вызвал чиновскую часть?!»

## ГЛАВА 15

Над Чобатом горят и не сгорают в жёлтом пламени костры тополиных крон. А попадаетея среди них осинка, пожухлая листва её – красный огонь.

Сгорел на этом огне летний гнус. Овод не тревожит теперь табунных коней, и они не забираются, спасаясь от него, в речку. Огонь листвы кажется всё горячей и горячей, да только вода не согревается, а всё холодеет и не манит коней.

Десять косяков пасут Сагдай и Сабис на отавах возле Чобата. Выдобрели кони. На круглых боках, под лоснящейся шерстью, не видно рёбер. Можно на любого садиться без седла. Мягко, как на подушке. А вот с гривами и хвостами просто беда – все в репьях да в липухе. День расчёсывай – не расчешешь. Из всех коней ухожен только Соловый, на котором ездит Сабис. И грива разобрана на прядки, и хвост волнистый. Махнёт им Соловый, и разделится он на тысячи волосков. Молодой табунщик не налюбуется своим иноходцем. То припадет к выгнутой по-лебяжьей шее, потреплет её смуглой рукой, то начнёт что-то нашёптывать в стригущие уши коня. Сабису кажется, что все вокруг: и трава, и деревья, и даже лысый Хара-Курген – разделяют его любовь к Соловому. Пружиня

на стременах, Сабис носится вокруг табуна, искоса поглядывая на слитые воедино тени – свою и Солового. А вот отец ездит на игреневом коне, грива у которого свалаялась, как потник, что подложен под седло. В чёлку Игреньки вцепилась колючая ветка бурьяна и торчит из неё уже который день. Седло на спину коня брошено небрежно, хлопает по ней, потому что ездок перестал следить, хорошо ли затянут ремень подпруги. Сам Сагдай высох и почернел. На всём лице – одни глаза, угрюмые, не улыбочивые, глядящие мимо табуна, даже мимо сына, который поминутно подъезжает к нему, чтобы и отец полюбовался Соловым.

Сагдай постоянно глядит в сторону далёких синих тасхылов – саянских вершин, что маячат там, где земля сходится с небом. Зубцы тасхылов белым-белы, и холодом веет от них. Но не снег на тасхылах приковывает внимание Сагдая и даже не сами Саяны. Он бессчётное число раз их видел и знает, что там лишь горы, да небо, да глухая звериная тайга. Но каждый раз взгляд его ищет одну из вершин – острую, как зуб чудовищной ведьмы Юзут-Арыг, что во время чёрных бурь скачет по небу на трёхногий кобыле. Болит душа Сагдая. У него, лучшего табунщика, недобрые люди угнали косяк. И угнали под тот самый островерхий зубец, до которого отсюда будет, пожалуй, вёрст около сотни. Зубец хорошо виден, потому что высок и погода ясная.

«Мухортый-то жеребец норовистый, – думает Сагдай. – Чужим не даётся. Как это конокрадам удалось его увести? Или убили Мухортого, чтобы не мешал гнать косяк?..» Жалко Сагдаю Мухортого. Лучший косячный жеребец был. Никакие стаи волков не могли одолеть коней, которых водил этот долгогривый, горбоносый, с лысинкой на лбу и одним ухом скакун. Второе ухо Мухортого было отрублено шашкой ещё в Гражданскую войну. Обменял жеребца здесь, в аале, на спокойного конька какой-то красный солдат. Жеребец будто спас ему жизнь, поднявшись на дыбы во время сабельного боя. А расставаться с ним приходилось потому, что, встречая других партизанских коней, жеребец свирепел. Грыз их и бил копытами, старался подчинить себе. Горе было ездоку, если Мухортый увидит кобылицу. Вот красный и взял себе коня поспокойней, а Мухортого оставил здесь.

«Что за люди угнали и косяк, и самого Мухортого?» – спрашивает себя Сагдай и не находит ответа. А глаза его глядят на далёкий заснеженный саянский зубец.

Рано утром Серге в кожаной тужурке, в которой он был у Пичона, вышел из землянки.

Ещё не поблёкли звёзды на западной тёмно-синей стороне неба. На востоке небо бледнело, белые полосы на нём постепенно набухли нежно-розовым цветом. Темнела сонная пока тайга. Верховой ветер всё же пробивался через скалы и глухо шумел в

макушках кедров и пихт. Самые верхние зубцы скал перекрашивались в рыжий цвет, а ниже, в ночной тени, скальные стены уходили как бы в бездонный провал. Лес шумел за спиной Серге, скалы темнели впереди и по бокам. К землянке Серге и окружавшим её другим землянкам спускался пологий склон, сплошь заросший вековыми хвойными гигантами, заваленный почти непроходным буреломом. А обратная сторона этого склона представляла отвесную стену двухсот-трёхсотметровой высоты. Стена эта шла полукругом с юга-запада на юго-восток, доходила до самого Ахбана, в его верховье. Непрístupной с той стороны была эта природная крепость.

А впереди, с северо-востока на северо-запад, громоздилась вторая цепь скал, отвесные стены которых обрывались внутрь Хаза-тайги. Под ними лежало небольшое, но глубокое озеро. Вода холодная – напьёшься, и зубы заломит. Над этими скалами, что гляделись в озеро, высывались макушки небольших деревьев, как будто подкравшихся с той, обратной, стороны к вершинам, чтобы посмотреть, а что же такое там, внизу? Ниже их шёл крутой склон, заросший лесом. Эти две скалы – северная и южная – похожи на скобки, повернутые друг к другу вогнутыми сторонами. Западные их концы внизу почти соединились, образуя вверху воронкообразный распадок. Озеро Кюль-тасхыл под скалами не замерзло, и в середине вода крутилась воронкой. Через узкую щель наружу – единственный проход на востоке, напоминавший огромные ворота, был накрепко закрыт заставами часовых.

Нельзя было во всех здешних краях найти более непрístupного, дикого и угрюмого места, чем Хаза-тайга... Серге постоял, поёживаясь, стряхивая с себя остатки сна, потянулся, подняв руки, и его коричневая кожанка, оттопыренная на груди неразлучным наганом, закрипела. Из кармана её, засунутое туда одним концом, высывалось грязное полотенце. Перепрыгнув через ствол сваленной на дрова сухостоины, Серге направился к озеру. На траве, по которой он ступал, блестел иней. От землянки к озеру протянулась узкая тёмная дорожка.

Подойдя к самому урезу воды, опустил на корточки, стал умываться. Руки и лицо вмиг покраснели, передёрнулась обтянутая кожанкой широкая спина. Потом выпрямился, выдернул из кармана полотенце и провёл им по щекам. Оно цеплялось за жёсткую ость не бритой несколько дней бороды.

Вода у берега успокоилась, и Серге увидел в ней всего себя. Он остался доволен своей осанкой, она вполне подходила к его положению в Хаза-тайге.

Серге повернулся в ту сторону, откуда пришёл, и стоял с высоко поднятой головой, оглядывая широкую поляну и опушку леса,

и размышлял. Его верхняя губа, поросшая щетинистыми усиками, вздрагивала, зрачки глянцево блестели. Вот на поляне стадо коров, отбитое у пастухов на выгонах степных аалов, отара овец, отнятая у чабанов, и косяк лошадей. Коровы перестали доиться, да и не для молока нужны здесь, так же как и овцы – не для шерсти. Косяк коней тоже поредел. Отались только годные для верховой езды лошади да косячный жеребец. Уж этот жеребец! В глазах Серге, когда он смотрит на Мухортого, ледяная неприязнь. Невзлюбили они друг друга с первого дня. Далёкий путь был у косяка. Мухортый несколько раз порывался повернуть коней на старое пастбище, к знакому доброму хозяину, что ездит в выгоревшей синей рубахе и заплатанных, протёртых о седло штанах, на буланом коне.

Спина, круп и бока Мухортого покрыты рубцами, они гноятся. Он часто катается по земле, пытаясь унять боль, но рубцы саднят ещё пуще. Тогда Мухортый подходит к кобылице – к той, что с точёной шеей и мягкими, прохладными, слегка влажными ноздрями, вытягивает свою шею, поросшую буйной гривой, и кладёт голову ей на спину. Так они стоят долго-долго и глядят перед собой глазами, не видящими ни хребтов Хаза-тайги, ни озера Кюль-тасхыл. А видят они пастбища вокруг далёкого аала и свой табун. Ещё кобылица видит своего жеребёнка, звонко скачущего на молодых копытцах, распутив хвост. Там, в родном табуне, был он с ней. А здесь его увели вон к тем земляным жилищам и убили. Потом возле каждой землянки пылали костры, и в воздухе разливался запах варёной молодой конины. А шкура её детёныша и сейчас висит, сушится, распяленная между двумя сосенками.

Увидев Серге, Мухортый плотно прижал к голове своё единственное ухо, глаза налились кровью. Он настороженно смотрел, как этот новый хозяин в блестящей коже идёт к землянке мимо остатков косяка. И рубцы на спине жеребца горят огнём. Их оставила плеть этого человека. Каждый раз, как только набрасывал на него аркан, потом прикручивал к толстой сосне и пускал в ход плеть со свинчаткой на конце. Мухортый, косясь на Серге, выгибает колесом шею, трясёт головой, отчего грива и чёлка взлетают космами. Особенно страшным он становится, когда обнажает, как сейчас, жёлтые большие зубы. Всю жизнь они перетирали траву, но с каким злым удовольствием он рванул бы ими тело того, в кожанке. Кобылица трётся о холку Мухортого мордой, успокаивает его. И он не бросается на Серге, который, проходя, не спускает с него глаз и правую руку держит за оттопыренной пазухой.

Скот охраняют четверо верховых хакасов с ружьями. Опушка Хаза-тайги гудит говором проснувшихся и высыпавших из землянок людей. Горят костры, кипит в котелках и вёдрах варево. Тут режут коня, подальше свежуют быка, а в другой стороне несколько баранов подвесили к лиственнице за задние ноги и сдирают

шкуру. Вялятся впрок разрезанное полосками мясо. Режут скот мужчины, варят тоже мужчины. Одеты кто во что. На одном – новый чёрный таар, другой в вельветовой куртке, третий в драповом пальто; кое-кто в вышитых хакасских шубах с воротниками из мерлушки. У костров собираются группами. Вот три качинца у шалаша, покрытого хвойными ветками, готовят кан – национальное блюдо из крови. А вон у землянки четыре сагайца варят суп-угре из баранины, бросают в котёл для густоты поджаренный ячмень. Пар вкусно щекочет ноздри.

А возле конусообразного шалаша несколько шорцев обглядывают овечьи мослы, запивая обед пьянящим напитком – абыртхы.

Четвёртая группа лесных жителей, уединившись у своего шалаша, ест бараньи шашлыки. Щёки вымазаны жиром.

Каждая кучка говорит на своём наречии.

Пожилой толстый кызылец разливает самогон, насмешливо косясь в сторону качинцев:

– Только закусывают. Выпить-то нечего... А ты пей, палам, – говорит он парню лет семнадцати. – Согреешься...

Все дружно хохочут.

Однако кызыльцы ошиблись. Нашёлся самогон у всех. Всё чаще звучат оскорбительные прозвища. Вот кто-то встал, погрозил, выкрикивая бранные слова. В ответ тоже раздалась брань.

– Ты – убийца! – слышался хмельной крик.

– А ты – бабий вор!..

Так перекрикивались они, пока один из качинцев не бросился на сагайца. И пошла драка. Всё перемешалось. Хватали друг друга за волосы, колошматили кулаками, давали пинка.

Серге, позавтракав в своей землянке, что посреди лесного стана, услышал громкую брань, вышел.

– Командиры пятёрок, ко мне! – зычно крикнул он.

Прибежали толстый кызылец, сагаец в кожанке, шорец в беличьей шапке, командиры качинцев, бельтыров, койбалов.

– Садитесь, – указал Серге на бревно. Сам опустился на пенёк.

– Пьёте? Дерётесь? – обвёл их всех строгим взглядом.

Поднялся толстый кызылец.

– Виноваты, командующий. Делать нечего. От безделья пьём... Надо бы выступить. Минсуг когда возьмём?

– Силы малы. Вот я поеду... Ещё соберём. Налёты продолжать будем. Запасаться надо. Овёс надо лошадям.

– А где кипитан нашей земли будет? – поднялся качинец, сплёвывая сквозь зубы. – В Минсуге, наверно?

– В Аскизе будет, – запротестовал сагаец.

– Хватит! – оборвал их Серге. – Правительство отделённой Хакасии знает. Сначала победить надо.

Он запрокинул лохматую голову назад, свёл густые брови у переносья, строго глядя на командиров пятёрок сверху вниз. Потом распорядился собрать все отряды на воинское учение.

Банда выстроилась. Было в ней человек триста. Делились на пятёрки, у каждой был свой командир. Над плечами бандитов торчали стволы боевых карабинов, из карманов высовывались рукоятки наганов, кольтов, маузеров.

Серге зашагал вдоль строя, покачивая плечами. Куртка его лоснилась и поскрипывала. Кривые ноги наездника переступали по земле неуклюже. Время от времени он подходил к одному-другому добровольцу, проверял, в порядке ли оружие. Затем обратился с речью ко всему отряду:

– Алып! Все мы с вами потомки великого Ханза-пига, о котором под говор струн чатханов не устают петь наши седовласые аксакалы-хайджи. Ханза-пиг прославился тем, что воевал против ах-хана – белого царя. Он побил несчётное число русских. Теперь ах-хана нет. Но пришли большевики и отняли наши земли, теперь забирают скот. Наше богатство, нажитое торговлей, они развеяли, как пыль по ветру. Многие старейшины славных хакасских сеоков сидят в минсугской тюрьме за крепкими замками и решётками. Кровавыми слезами плачут их семьи. Кто вступится за них? Кто освободит черноголовую Хакасию от красных притеснителей? Это должны сделать мы с вами, алып. Скоро настанет время большого похода на Минсуг. Но мы не одиноки в этом восстании. С севера нас поддержат силы есаула Оловьева, а с юга, из Монголии, подойдёт армия Унгерна... Поддержат нас и заграничные друзья хакасского народа.

Серге говорил и внимательно смотрел, какое впечатление оказывают на добровольцев его слова. Заметил, что некоторые хмурые лица прояснели.

Он подошёл к молодому парню в лисьем треухе, из-под которого выбуривали мрачные глаза.

– Апанис Тогочаков, скажи алыпам, за что ты будешь мстить красным.

– За то, что они забрали отцовское золото. Пришли ночью и взяли. Донёс им батрак. Он родом из нашего сеока. Рассчитаюсь с большевиками и повешу батрака.

– Чахсы, хорошо сказал Апанис, – одобрил Серге. – Выметем красных русских, а заодно пустим кровь отступникам от наших родовых обычаев. А ты, Торка Сагалаков, – обратился он к другому добровольцу, – знаешь ли, за что пришёл сражаться?

– Я пришёл сражаться с этими русскими за отделённую Хакасию, – ответил верзила в драповом пальто и кожаных маймахах. Руки его, сжатые в кулаки, далеко высовывались из рукавов. Одна пола измазана глиной, в другой прожжена дыра.

Но над плечом парня торчало дуло тщательно вычищенного карабина.

Серге похвалили добровольца и ещё раз прошёлся вдоль шеренг. А солнце поднималось всё выше и выше над Хаза-тайгой. Вершины скал, на которые эта осень раньше срока нахлобучила снежные шапки, горели бело-розовым огнём. А в долине, где Серге обучал своих алыпов, было хмуро и сыро. Чадили догорающие костры. От землянок тянуло кислой кожей сапог, овчинами, самогоном. Острым конским духом пахли развешенные для просушки попоны и подседельные потники. Возле озера бродил поредевший косяк коней. Там понуро стоял Мухортый, повернув одноухую голову в сторону единственного прохода из Хаза-тайги.

## ГЛАВА 16

Двое приехавших – те, кого приметили Фёдор Полынцев и Апах, – остановили пароконную упряжку возле аалсовета. Первым прыгнул молодой широколицый хакас в чёрных галифе и френче из шинельного сукна. Он подбежал к кореннику, серому плотному мерину с аккуратно подрезанной чёлкой и тавром на крупе, с правой стороны, в виде буквы «Ш». Мерин шумно отдувался после дороги. Потные бока его то вздувались, касаясь оглобель, то опадали, и тогда становились заметными выпирающие из-под шкуры крепкие рёбра. Гнедая пристяжная кобылица тоже дышала часто и переступала на месте с ноги на ногу.

– Говорили тебе, Эпсе, Гнедуху надо подковать. Ты не послушался. Теперь, видишь, отбила ноги, – сказал с упрёком широколицему парню пожилой горбоносый его спутник.

Вылезая из плетёного коробка, он зацепился за что-то полой. Плащ распахнулся совсем, на груди горбоносого блеснула пряжка портупей. Он откинул назад и капюшон, который предохранял голову не от дождя – погода стояла ясная. В том и другом ухе его торчали ватные затычки: на быстрой езде уши продует. Капюшон упал на спину, и приезжий остался в военной фуражке с малиновым околышем и красной звёздочкой над лакированным потрепавшимся козырьком. Поглядев направо, налево, он зашагал по двору, разминая ноги.

Стайка любопытных ребятишек взобралась на заборы на противоположной стороне улицы.

– Орыс чаачи! – указывая пальцами на горбоносого, кричали ребятишки. – Хызыл чаачи!

– О чём они гомонят?

– Они толкуют, что вы русский красноармеец.

– Верно, милый человек! Я вижу, тут никого не проведёшь... Да

и я припоминаю, что аал этот мне знаком. Куда только не заносила походная жизнь! Вон ту хибарку с тремя новыми тесинами в крыше помню. Правда, тогда вместо тесин чернела большая дыра. И хозяина помню. Балагур, пересмешник. Всё передразнивал этого... как его... ну, шамана.

Он ещё хотел что-то сказать широколицему парню, но тут слышались быстрые шаги. Во двор не вошёл, а вбежал Фёдор Полынцев.

– Товарищ Жарков! Пётр Иванович! – вскрикнул он, бросаясь к приезжему.

– Мил человек! Как ты здесь? – Жарков обнял Фёдора.

Кузнец тоже обхватил Жаркова руками, приподнял, покружил.

– Кости ломаешь, – сквозь смех сказал Жарков, глядя уже не на Полынцева, а мимо, на улицу, где, кроме ребятишек, начали появляться и взрослые, с изумлением наблюдавшие, как обнимаются только что приехавшие хызыл чаачи и этот Большой Фёдор.

– Вот что, зайдём в Совет.

Поднявшись по кривым ступенькам на крыльцо аалсовета, Жарков дёрнул за дверную скобу. Фёдор прошёл за ним. Сели в прихожей на длинную скамейку, стоявшую возле закопчённой стены.

– Да-а, аалсовет! – задумчиво покачал головой Жарков. – Больно тут неприятно...

– Мне ещё неприятней было, когда в первый раз оказался здесь, – отозвался Полынцев.

Жарков остановил серые глаза на лице Фёдора, подумал немного, стараясь понять смысл этой фразы, но, так и не рассеяв недоумения, полез за кисетом.

– Рассказывай, как тут оказался. Один или с семьёй?

– Всем гамузом... Может, лучше пойдём ко мне? У одного старичка здешнего квартируем. Варюша обрадуется...

– Можно пойти, мил человек. Только уж коли начали здесь, так здесь и договорим. Ты почему свою деревню бросил? Выжили?

– Да нет. Сам...

Жарков ждал.

– Поджёг я... Касьяна... – выдавил наконец Фёдор. – Всё дотла...

– Узнаю, узнаю Фёдора!

Полынцеву казалось, что он никуда не уходил из партизанского отряда. И вот теперь командир сурово отчитывает его за проступок.

– В Колтыке ты застрелил пьяного комэска, который подвёл ваш отряд, – строжал голос Жаркова. – А его, такого-распротакого, суд ждал. Помнишь? Я тогда тебе простил... Значит, не дошло до тебя, коли ты в своей деревне опять «сорвался»... Касьяна, значит, спалил. А других-то почто оставил? Там же много кулачья...

– Не мог я Касьяну за дела Фролки простить.

Жарков помахал рукой, разгоняя дым, и, глядя прямо в глаза Полынцеву, спросил:

– Поджѐг и удрал? Демобилизовался? А как сюда-то попал, к хакасам?

Фѐдор скупно рассказал свою историю.

– Значит, здешние люди считают, что ты бандит?

– Не все... Но на лбу ведь не написано, кто я...

– Вот именно – кто ты? – Жарков притронулся к красной звездочке на околыше своей фуражки. – А у меня написано на лбу... Хотел еще тогда тебе сказать: демобилизоваться рано. Власть-то взяли, а вот укрепить ее труднее. Думал ты об этом?

– Думал, – приподнялся Фѐдор.

– Так, мил человек, берись-ка ты за дело настоящее. Тут берись. А попутно и мне поможешь. Понимаешь, остатки колчаковцев, сыновья обиженных хакасских баев, сотниковцы всё ещё думают вернуть своё. Где-то они накапливают силы. Между тем грабят, насилюют, запугивают народ. Против Советской власти настраивают. Придѐтся, браток, на коня. Карабин у тебя испытанный... Пока что организуешь отряд самообороны. Со мной паренѐк приехал, говорит и по-русски, и по-хакасски. За тобой его закреплю.

– Да вы сами-то кто теперь, Пѐтр Иванович?

– Уполномоченный ревкома по Хакасской волости. А работаю начальником уездной милиции. Вот езжу из аала в аал, организую, где можно, отряды самообороны. По поручению ревкома помогаю аалсоветам создавать комбеды, чтобы они наступили баям на горло. А эту бандитскую нечисть мы скоро прижмѐм к ногтю... Ну, так как, кого здесь можно взять в отряд, кого выбрать в комбед – знаешь?

– Старик Хоортай, потом Апах, хо-роший мужик! – начал Фѐдор, загибая один за другим крупные пальцы с обломанными ногтями. – Правда, этот Апах собирается на железную дорогу...

– Так же, наверно, как ты в Бондаревку... Пстой, пстой, а какой он из себя?

– Да такой... Уже в годах. Низенький. Но шустрый.

– Должно быть, он, – пробормотал Жарков. – Ну, а другие?

– Онис с пастухом-мужем, соседи старика. Табунщик Сагдай.

Уполномоченный быстро взглянул на Фѐдора, но ничего не сказал, хотя видно было, что какие-то слова уже готовились слететь с его губ.

А Полынцев, как бы раздумывая, ронял с расстановкой:

– Значит, опять воевать? Карабин-то мне дорог как память, а все не как оружие. Работать хочется. Без работы руки мякнут. Тут кузницу ставим...

– И ставь кузницу, и отрядом руководи. А карабин заставим от-

дать, – ответил уполномоченный. – Да-а, слушай-ка, Фролка-то, Харбинка, говорят, не то в деревне вашей, не то в Минусинске скрывается.

– Жив! – вскочил Фёдор. Лицо его сначала побледнело, потом покраснело. – Ж-жив? – повторил он, и это слово прозвучало так, как будто кто провёл клинком по точилу. – Ну, что же, как говорится, даст бог, встретимся. Только для одного из нас эта встреча будет последней...

Дальнейшему разговору помешал вошедший Эпсе. Он пришёл за распоряжениями.

– Лошади кормятся? – спросил его Жарков. – Вот что, Эпсе. Надо послать здешних парней, кто пошустрее, в степь. Созвать чабанов, пастухов, табунщиков. И сам съезди. К утру чтоб приехали на сход.

Кнай поворачивает отару к стану. Сытые овцы, пощипывая мимоходом траву, медленно выходят из поймы Чобата. Кнай покрикивает на собак, чтобы не растеряли овец. У кривого тополя, сбрасывающего в Чобат ржавые листья, остановилась, поглядела в зеленоватую осеннюю воду. Оттуда на неё взглянуло круглое лицо с удлинёнными глазами, немного сплюснутым носом, маленьким ртом.

Девушка посмотрела на своё отражение, улыбнулась. Невеста. Она надела выцветший таар, поправила платок, свернув колечком. Вот сейчас она угонит отару вёрст за пять, и дневные заботы её кончатся.

*Много шерсти на шубах у вас, овцы.  
А мне на тёплый платок жалеете.  
Солнце щёки мои сожгло, губы спалило,  
А мне жалко вас оставить, мои овцы.  
Парни и девушки в аале веселятся,  
Ветры и травы меня веселят.  
Сверстницы мои любовь нашли,  
А меня целует холодный хиус...*

Казалось Кнай, что и степь поёт вместе с ней. И что это за чудо такое – песня! К любому сердцу найдёт она дорогу.

У кого Кнай научилась петь? В степи у неё нет подруг, а мать молчалива. Если Кнай изредка и встречается с другими девушками, то у них больше, чем песен, опасений – как бы не смешались отары. Они сами просят Кнай, чтобы она научила их тахпахам. Что ж, ей не жаль слов, которые подсказаны её же сердцем. Не жаль мелодий, навеянных шумом ковыля, звоном Чобата, шорохом дождя. Но подруги далеко, а единственный её слушатель – кривой тополь. А вот голосу Кнай вторят даже крутые склоны Чымых-хая...

За небогатым ужином Эпсе передал Домне и Кнай приглашение на сход.

– Какой сход? – недоумевала Домна. – У нас я не помню, когда был сход... В аалсовет нас не зовут.

– Приехал очень большой начальник из Минсуга, – пояснил Эпсе, дуя на чай. – Комбед будут выбирать.

– А это что такое?

– Беднякам, батракам помогать...

Глаза его встретились с глазами Кнай. Девушка смутилась.

А Домна всё замечала.

– Кнай поедет, а я пасти буду.

Парень просиял. Быстро простился, однако порог юрты перешагнул неохотно.

– Кнай, проводи гостя... Собаки...

Вышли, остановились. Эпсе посмотрел на загон.

– Тыщи две?

– Почти угадали, – ответила Кнай. – Как вы можете знать, не считая?

– Приходилось... – ответил Эпсе. – Я с Нижнего Ахбана. Там баи побогаче.

Эпсе снова подал руку Кнай.

– Ну, анымчох, – и долго сжимал ей пальцы, глядя в глаза.

– До встречи на сходе. – Потом он быстро вскочил на коня.

Хотя на острой макушке Чымыр-хая ещё догорает вечерняя заря, подножие горы обволакивают сумерки. Будто гора замёрзла к ночи и закуталась в шубу из чёрной овчины. Вверху гора голая, а понизу, почти до половины, заросла караганой.

Выше, со стороны, обращённой к стану, в горе зияет отверстие. Сначала оно было неглубоким, но его углубили люди аала, которые издавна ломают тут известняк. По-разному называют это отверстие в аале – кто «глазом», а кто и «ртом» горного духа. В сумерках угрюмая гора дрожит, от неё далеко раздаётся стук, словно в этом «рту» зубы чакуют. А на самом деле под горой быстро бежит упряжка, стучат копыта коней и колёса телеги.

В телеге чёрные силуэты, лиц уже не видно. Передний всё время размахивает руками – он то натягивает, то ослабляет вожжи, то хлещет ими по бокам коренника.

Двое других на телеге почти неподвижны.

– Тохта, стой, – сказал один из них.

– Куда это мы приехали? – спросил по-русски его сосед.

– А ты не спрашивай. Уж не туда, куда бы тебя привезли те, которые гнались за тобой в Минсуге.

Тот ничего не ответил.

– Ты, Тирнук, жди здесь, – распорядился Пичон. – Я скоро вернусь. Пойдёмте, господин прапорщик Самохвалов.

Тирнуку было слышно, как всё больше грузнеют их шаги, как сверху, с крутого склона Чымыр-хая, срываются и с сухим стуком несутся вниз неосторожно задетые ногами камни.

«Однако, прямо в рот Таг-эзи повёл», – поёжился Тирнук.

Место на телеге показалось ему ненадёжным. Он спрыгнул на землю. Обхватив Рыжку рукой за шею и прижавшись, он стоял так, покуда снова не услышал знакомые шаги.

– Теперь в аал... – приказал Пичон.

От страхов, которых натерпелся в эту поездку, Тирнук отошёл только когда подвода доехала до чабанского стана.

Загалдели в темноте собаки. В загоне заворочались испуганные внезапным лаем овцы. «Кемнер?» – раздался женский голос.

– Изеннер, Домна! – поздоровался Пичон.

Чабанка успокоилась, впустила их в юрту. Невидимая за развешенными овчинами Кнай спросила:

– Иче?

– Председатель аалсовета и Тирнук... Ты спи, Кнай, тебе рано утром в аал, на сход...

– На какой сход? – удивился Пичон. – Кто его собирает?

– Какой-то тойман приехал.

Пичон задумался. Долго он сидел неподвижно при свете жирника, отбрасывая на стену горбатую тень. Потом подозвал Тирнука.

– Придётся взять с тебя клятву... И с остальных обозников тоже. Поехали им навстречу. Скажешь, бородатый был не человек, а айна, куда пропал – сам не знаю...

Простились. Их телега с грохотом покатила в ночь. А в это время в избушке Хоортая люди вели разговор о Пичоне.

– Ну как, у вас председатель грамотный? – спрашивал Жарков старика.

– Грамотный... Этот... – Хоортай потёр морщинистый лоб. – Много учился, говорят...

– Много? Значит, он богат?

– Не, обчество собирал ему, говорят, ахча – деньги...

– Ну-ка, ну-ка, расскажи, мил человек. Любопытно!

И Хоортай, задумываясь временами так, что складки на его лбу собирались гармошкой, рассказал, как однажды, ещё до революции, по аалам ездил мелкий чиновник Качинской степной думы с какой-то бумагой. Чиновник тогда всем рассказывал, что в большом русском городе – название города Хоортай забыл – учится парень-хакас, которому надо помочь деньгами. Приглашал всех поставить крестик на той бумаге и просил по целковому – по два, у кого сколько найдётся.

– Люди спрашивали, кто будет тот парень, – продолжал Хоортай. – И чиновник имя назвал, только соврал маленько. Совсем-совсем маленько. «Учен», говорит... А он не Учен, а Пичон... Наш Пи-

чон Почкаев... Так учился, верно... Сейчас в Минсуг поехал. Приедет – сам тебе всё расскажет.

Жарков поднял бровь и перевёл разговор на другое.

– Дед Хоортай, – спросил он, – сколько лет твой внук пасёт косяки Хапына?

– С семи год...

– Сколько заработал, Сабис? – обратился Жарков к прижавшемуся в углу Сабису. Тот не понял.

– Зачем парнишка заработай? – заговорил Хоортай. – На конь ездит – крепкий будешь. Он отец помогай.

– Он коня заработал, – подал голос Фёдор, сидевший на положенной набок табуретке перед раскрытой дверцей железной печки. Оба рукава его были закатаны выше локтей. Правой рукой он прокалывал шилом подошву бродня, левая с зажатым в ней концом дратвы и щетинкой вся была засунута в голенище.

– Да ещё какого коня-то заработал! – повторил он с похвалой.

– Пегунес, – гордо пояснил Хоортай.

– А отец твой давно пасёт? – Жарков наклонился к Сабису. Тот молчал. Тогда он спросил у Хоортая: – Зять-то твой?

– Пир, ики, юсь... – загибал пальцы на руке Хоортай. – Он алты... шастнадцать год.

– Та-ак. Сын – восемь, отец – шестнадцать, – рассуждал Жарков. – А много косяков-то пасут?

– Десять, – вынув трубку, откликнулся от железной печки Хоортай.

– Сколько заработали всё-таки сын с отцом?

– Шуба давал, маймахи, товар на рубашки. Худой кобыла на мясо давал...

– А у самого-то у тебя хороший конь?

Хоортай печально опустил глаза, потом вскинул их на Жаркова, потянулся к таяху.

– Вот конь мой.

Жарков выпятил подбородок и прикусил губу. Фёдор грохнул броднем об пол.

– Вот так обдуривают темноту, – сказал Жарков неизвестно кому – Фёдору или Хоортаю. – Но так больше не пойдёт. – Голос Жаркова был твёрдым и вместе с тем доверительным. – А за то, что он восемь лет пасёт, ему восемь таких коней положено...

– Сагдай – шестнадцать, Сабис – восемь... Тогда, наверно, не Хапын будет бай, а Хоортай. Ты чё-то, Пётра Иваныч, шибко много говоришь. – приблизился старик к Жаркову. – Ты пришёл – ушёл. Нам здесь жить...

– Останется комитет бедноты. А ему помогать будет вот, – Жарков показал на Фёдора Павловича. – Отряд соберёт. Командир Эпсе, комиссар – он...

Хоортай оглянулся на Сабиса.

– Агам, агам! – вскрикнул и выбежал Сабис, поняв весь разговор. Жарков и Фёдор Павлович переглянулись.

Кузница задымила. Улуг Пёдор разжёт всё-таки в горне проклятый камом Аларчоном чёрный камень...

Сильно обрадовался кузнице Апах. Каждый мускул лица у него играет, а чёртики в глазах прыгают ещё пуще. Переходит Апах из избы в избы, из юрты в юрту с новостью. Чинно рассказывает всем, как он строил кузницу с этим русским алыпом. Сначала получилась избушка, сделанная по-холодному. Затем Улуг Пёдор начал ладить горно. Кирпичей в аале не было, тогда он, Апах, подсказал – можно из плитняка. Хоортай-ага посоветовал взять готовый плитняк у пещеры Чымыр-хая. Все вместе они туда и отправились на двух подводах. А когда стали накладывать плитняк на телеги, в горе, в пещере, что-то загремело, будто пещера обвалилась. Им снаружи не видно было. Хоортай вздумал посмотреть, но ничего там не разглядел, только запах дымка унюхал. «Либо человек, либо айна, – предположил Хоортай. И окончательно решил: – Айна. Человек так не гремит...» Улуг Пёдор, тот покачал головой. Но из пещеры так никто и не показался. Они наложили в телеги плитняку и повезли в аал.

Апах не только новость про кузницу разносит. Он ещё и приглядывается к разному завалящему хламу во дворах.

– Темир нада, – говорит он всем.

Обошёл все дворы, вернулся, растягивая рот до ушей.

– Много железа видел. За оградой Хапына шерстобитка негодный валяется. Под сараем Харола плуг сломанный, – перечислял он, загибая пальцы.

Фёдор в кожаном, залосненном ещё от прежней работы фартуке, в кожаных колицах передвигал наковальню. То ему казалось, что она стоит далеко от горна, то – слишком близко к нему.

Горело в горне лопаты с три каменного угля. Пламя было не особо жаркое. Дым шёл в кожух, растопыренный над горном, как ладони, расставленные, чтобы что-то словить. Пока Апах обходил аал, Фёдор не терял времени даром. Весь угол, что ближе к горну, был загромождён большими железинами непонятного Апаху вида.

– Где взял столько темир? – спросил удивлённый Апах.

– Ахбан-суг дал, – ответил Фёдор. – Понимаешь, друг, мне дедушка Хоортай рассказывал про карбас с железом, что затонул в Ахбане.

Апах сразу сообразил, какой это темир! Его выплавляли из руды в Абазе, на железодельном заводе, что стоит выше аала вёрст на полтора по Ахбану. Теперь и гора железная, и завод – советские. Тут весь Минсугский уезд абазинскими плугами пашет, их

ними же серпами жнёт. Хоортай сказал Большому Фёдору про это железо. Теперь осень, Ахбан мелкий.

Улуг Пёдор съездил туда, покопался на песчаной косе и достал железо.

– Полос бы шинных да тавровых брусков сюда, – мечтал Фёдор. – Все бы телеги и сани вам оковал... – Он шагнул к подвешенной гармошке кожаного меха.

– Гляди, Апах! Когда надо подживить огонёк, качнёшь вот так...

Мех испустил громкий вздох, потом задышал чаще и чаще. Фёдор передал Апаху ручку, сам взял клещи и встал против горна. Из узкого рожка, подведённого к горну, дула сильная струя. Красные угли затрещали и вспыхнули белым огнём. Враз вишнёвым стал положенный на угли железный штырь.

– Ковать будем! Сейчас вот кузню опробуем – изладим подковы для твоей Гнедухи. Жаль только, молотобойца у меня нет. Но я тебе, Апах, покажу...

Он выхватывает из горна побелевшую железину и кидает на наковальню. В правой его руке молоток-бегунок. Взглядом показывает Апаху, чтобы тот взял кувалду.

Смешно они выглядят сейчас: грузный Фёдор, занимающий собой чуть ли не треть кузни, держит в лапище игрушечный молоточек, а тщедушный Апах через силу поднимает пудовую кувалду с расшлёпанными концами.

– Бей, куда покажу! – Бегунок в руке Фёдора подскочил и тюкнул по штырю. Апах с громким выдохом опустил кувалду и промахнулся.

– Гляди! Вдругорядь без рук останешься, – предупредил Фёдор. – Наковальня ведь холодная, удара не смягчает. Точно попадай...

Дверь кузницы распахивается, и на пороге показывается Хоортай. Увидел Хоортай испорченную подкову и нахмурился.

– Апах.

– Ну так что ж, что Апах? Первый же раз...

– Почто Хоортай не звал? – упрекнул старик Фёдора.

– Тут молодая сила нужна, дедушка...

– Он – молодая сила? – обидно засмеялся Хоортай, концом трубки показывая на Апаху. Подскочил к нему, выхватил кувалду, махнул ею. – Мин умей, умей, – возбуждённо говорил Хоортай, глядя умоляющими глазами и держа кувалду на весу.

– Клади, Пёдор Павлыча!

На этот раз ковка пошла.

«Тук-тук» – сдваивал молоточек Полынцева. «Гррук!» – выговаривала кувалда, и ещё раз: «Гррук!».

– Погодь! – крикнул Фёдор Хоортаю и опять кинул подкову в горно. – А ты поддуй, Апах!..

И пока железина калилась, Полынцев выспрашивал старика, где и как он научился работе молотобойца.

– Молодой был, за Алатау – Пёстрый гора – ходил, туда, вверх Ахбан, – показал старик за стену кузни. – Шорский народ тама живёт. Шорец – всё равно хакас, язык такой же, только слова шипи. Мы говорим «сор» – печаль, горе, а он скажет «шор». По-нашему люди – «кизи», по-шорски – «кижи»... У шорцев много кузнес. Учили. Темир, однако, в той земле богатый-богатый...

– Выходит, мы тёзки по рукомеслу? – удивился Полынцев. – Я давно приметил, по трубкам твоим.

– Угу, угу, тёзкам! – радостно закивал Хоортай.

– А пошто же сам кузню не ставил? – спросил Полынцев.

– Тогда Хоортай бы весь был Хапынов, – ответил старик.

Фёдор задумался. Резонно ведь ответил старик. На Апахову Гнедуху надо стготовить четыре подковы, если ковать её на полный круг, а для Хапыновых коней сколько же подков требуется? Другим аал становится. Батраки идут в комбед, спрашивают, когда заставят Хапына справедливо рассчитаться с ними. Знают, что получать придётся скотом. И лошадей ковать, сани да телеги ошиновывать, выходит, будет он, Фёдор, не одному Хапыну...

Руки сами собой делали работу, закругляли поковку на круглом рожке наковальни, оттягивали шипы – один посредине, два с концов, наметили кернышком и пробили бородком дыры для плоских гвоздей. Наконец сунули пышущую жаром, вишнёвую, похожую на молодой месяц, подкову в шайку с водой.

Шайка вмиг «осерчала», вода в ней стала «разговаривать», выстреливать паром. Утоп и сразу почернел полумесяц. Только изладили первую подкову, пришёл Пулат. Навалился на косяк двери, держась за разорванное ухо. Мимо кузницы шёл Тирнук, и он завернул поглядеть на невиданное дело – в аале кузнецы объявились! Где Тирнук – там второй батрак Хапына, рябой Такан.

Он принёс на старых истоптанных маймахах запах коровьего навоза.

Первая изготовленная Большим Фёдором тёплая ещё подкова со свежими следами молота стала переходить из рук в руки. Слышалось восхищённое «чახсы». А кузнец с помощью Хоортая уже выковал и швырнул в шайку с водой другую подкову, за ней – третью, четвёртую...

– Можно какого-нибудь коня подковать. Ухнали у меня есть, – сказал Полынцев. Понимал, что пришло время казать лицом весь «товар» – своё умельство. – Ты, Апах, и веди Гнедуху...

Но Апах успел только растворить дверь кузни, как показался силуэт подъехавшего всадника. Это был Сабис, разыскивающий деда Хоортая.

– Сабис! Палам! – окликнул его старик. Внук услышал, слез с

коня, привязал его за один из четырёх столбов, вкопанных перед кузницей.

– Вовремя, Сабис, приехал, – сказал Большой Фёдор. – Вот сейчас твоему Соловому и наденем железную обувь.

– Нада, нада! – поддержал Фёдора дед. – Конь табунщика всю зиму под седлом ходи, косяк паси. Без подков – худо.

Сабис не возражал. Но, чувствуя вину перед Фёдором, он опасался, что кузнец теперь-то начнёт ему мстить, испортит иноходца.

– Конь не засекается? – спросил Фёдор.

– Чох, нет, – ответил за Сабиса Хоортай. – Каждый нога чახсы ставит.

– Тогда пойти примерить обновку...

С подковами в руках Фёдор вышел из кузницы, за ним все остальные.

– Заводи Солового вон туда, – показал кузнец между столбов. Незнакомый ещё с ковкой конь покорно зашёл в станок.

Фёдор взял повод уздечки и продел его в кольцо, ввинченное в один из столбов, подтянув вверх голову Солового. Под брюхо у передних и задних ног пропустил по кожаному ремню. Кольца, которыми оканчивались ремни, накинул на крючки, вбитые в столбы.

Всякий раз, как он прикасался к Соловому, по бокам коня проходила дрожь. Но задранная вверх и удержанная поводом голова не давала коню увидеть, что такое с ним делают. Почему стал уходить из-под ног дощатый настил? Доски провалились, но Солового удержали подбрюшные ремни. Он повис на них, не в состоянии забиться, расшвырять копытами непонятно для чего сошедшихся сюда людей.

Полынцев сходил в кузню, вернулся с рашпилем.

– Ногу, ногу! – повторял он, приподнимая иноходцу копыта.

Потом Фёдор опустил на корточки у передних ног коня. Положив на колено копыто Солового, принялся шаркать по нему рашпилем, сглаживая бугорки. Ноздри коня раздувались, глаза налились кровью, натуга свела его всего, от ушей до хвоста. Но ремни, на которых он висел, не давали ему возможности шевельнуть ни единым мускулом.

– Чтобы подковы держались крепче, лучше ковать нагорячо, – объяснял Фёдор. – Дедушка Хоортай, держи копыто.

Сам же он попевал управляться и в кузне, и возле ковочного станка. Вот он держит в клещах раскалённый полумесяц подковы. Вот быстро прикладывает его к копыту. Оно зашипело, запахло палёным рогом. На копыте, там, куда её приложил кузнец, образовалась впадина, тоже в форме полумесяца.

Каждую подкову Полынцев калил и вот так примерял, а потом швырял их в шайку с водой.

Сабис отвернулся, чтобы не глядеть, как мучится в станке Соловый. Подковы прилипали к ногам иноходца, как влитые. Кузнец вгонял в них сразу ухнали, острия которых выходили из копыт вверх, эти концы он загибал, заставляя их снова войти в копытину, – так погибают железный пробой, чтобы его нельзя было выдернуть.

Наконец сделана последняя заклёпка, и Соловый опять ощутил под ногами дощатый настил. Ремни отстегнули. Иноходец рванулся было, но крепкий повод не дал ему оторваться от столба. Сабису вдруг грустно стало смотреть на него. Куда девалась вся гордость Солового! Он поднимал то одну, то другую ногу, вдруг непонятно отчего ставшие тяжёлыми.

– А теперь поезжай, паря! – велел кузнец.

## ГЛАВА 17

Старый степной беркут привык в полдень описывать круги в вышине над аалом, над степью. Он распластал двухаршинные, сверху ржавые, снизу бурые крылья и парит. Чуть поднимает одно крыло, приспустит другое – и пошёл кружить, будто поднимается или спускается по невидимой винтовой лестнице. Матёр беркут, долговечий. Помнит эту степь ещё такой, когда под обрывистой горой Чалбах-тигей, возле речки Чобат, совсем не было никакого аала. Только большой курган торчал там с воткнутым в подножии высоким накренившимся камнем. Не раз садился на камень. Глядел на изображённое на нем человеческое лицо.

Парит беркут в вышине на крепких крыльях. Надёжны его старые мускулы. Под тем и другим крылом – по воздушному столбу. Беркут чувствует, как упруг воздух, – это он растопырил его длинные, жёсткие маховые перья, загнул кверху кончики крыльев.

Ноги беркута, в опушке из перьев, поджаты, полукольца когтей спрятаны. Но ему недолго их выпустить, если глаза увидят добычу. Однако сейчас беркут не охотится. Разве нельзя парить над землёй просто так? На то и крылья ему даны, чтобы жить выше всех, – там, куда пока ещё не дотянулись жители степей.

А внизу, перед крыльцом аалсовета, – стол, застланный красной скатертью, за ним стулья. Идёт сход жителей аала.

Жарков сидит за столом, рядом – Пичон, Хоортай.

Пичон поздно приехал, Жаркову сказал, что не знает, кто и за чем собирает сход. Жарков достал из кармана френча отпечатанную на пишущей машинке четвертушку желтоватой бумаги с лиловой печатью уездного ревкома – свои полномочия.

Пичон помял бумагу в пальцах, обронил: «Ну, тогда проводите».

Но за столом сидел, будто его тут и нет. Всем видом показывал: дело не моё.

Говорил Эпсе:

– Приехал из Минсуга большевик, улул пастых, – кивнул в сторону Жаркова. Улыбаясь, растянул рот до ушей. – Минсуг послал с ним закон. Он говорил об этом законе со многими из вас, а сейчас со всеми говорит... Вы по-русски ещё плохо понимаете. Я за него говорю... Советская власть – бедняков и батраков власть. В аалсовете не один, а много человек должно быть. У вас один только Пичон Почкаев. Ему трудно одному. Комбед надо выбрать...

– Какой комбед? – спросили из круга.

– Хоортай-ага, объясни, – Эпсе повернулся к Хоортаю. – Ты теперь знаешь...

Хоортай встал, погладил чёрно-белую бороду, покряхтел, попереминался с ноги на ногу. Показал на Жаркова.

– Мне Пётра Иваныч говорил. Комбед смотрит: работник с бумажкой пасёт – даст коня, корову... Бедным ребятишкам помогает. Шибко правильный... – Старик сел, утирая пот подолом рубашки.

Жарков всё время наблюдал то за Хоортаем, то за Эпсе: поняли ли про комбед? Во время речи Хоортая Эпсе одобрительно кивал головой. В толпе кто улыбался, кто почёсывал подстриженный овечьими ножницами затылок, кто смотрел на Хоортая, молчаливо раскрыв рот. Кнай спряталась за чьи-то спины, покрасневшая, украдкой поглядывала на Эпсе.

Утром приехала Кнай. Увидела на окнах избы белые занавесочки, поняла – русская женщина их развесила. Пошла Кнай в юрту к своему деду, а того там нет. Стала дожидаться его, но дед так и не пришёл, пришла русская светловолосая женщина, поглядела на Кнай по-доброму: «Иди к нам и ты, красавица». От рук женщины пахло вкусной стряпнёй, она улыбалась так приветливо, что Кнай не стала отказываться. «Однако хорошие люди», – думает Кнай, сидя на сходе.

Поднялся Хапын и спросил сидящих за столом по-русски:

– Кто должен в комитете быть?

– Чья власть, те должны, – ответил Жарков. Эпсе перевёл ответ для всех.

– Власть всего народа, – сказал Хапын.

– Народ – разный, – поднялся во весь рост Жарков. – Вот Кнай, вот другие. На кого они работают? На тебя...

Хапын сел.

Эпсе перевёл сказанное Жарковым и спросил:

– Поняли?

По кругу пошло движение, люди зашептались, заговорили.

– Нужен аалу такой комбед? – спросил Эпсе. – В других аалах давно комбеды работают, аалсоветам помогают...

– Кирек, кирек, – крикнула Онис.

– А где коня, корову возьмёт комбед? Надо Хапына потрясти. У него всё есть, – крикнул Апах, смеясь.

Жарков слушал, а сам вытягивал шею, глядя в толпу. Там, сзади, протискивался, видимо, только что приехавший пастух или табунщик. Лицо обветрено до черноты, усики редкие, кривые, жёлтые от табака зубы. И глаз не сводит с него, Жаркова... «Он, – радостно ёкнуло сердце уполномоченного. – Тот самый!.. Значит, и конь живой. Тут...»

– А мне дадут лошадь? – продолжал шутить Апах. – Если дадут, я сам выберу. Нравится мне его Мухортый жеребец...

– Мухортого Сагдай продал, – еле слышно сказал Хапын, но голос его донёсся до того, кривоzubого, только что пришедшего на сход.

– Неправда, – вскочил он. – Косяк угнали в Хаза-тайгу. Сам след разыскивал...

«Ну, точно! Это ты и есть, тебя и зовут Сагдаем!.. – узнал окончательно табунщика Жарков. – Но о каком Мухортом они тут говорят? Уж не о моём ли одноухом? Надо расспросить этого Сагдая... И что это за Хаза-тайга?»

– Ну, кого выбирать будем? – спросил Эпсе.

– Хоортая...

– Каноя...

– Три человека... Три человека... – повторял Эпсе.

– Тирнука! – крикнули из задних рядов.

– Надо женщину, – сказал Эпсе.

Батрачка Ату встала, вытерла покрасневшие глаза.

– Онис надо... Созыеву...

– Чарир! Чарир! – кричали женщины. Жарков увидел: поднялись и ушли Хапын с женой, Аларчон, Тойон и ещё многие из их сеока.

– Ну, будем голосовать, – предложил Эпсе. – Кто за то, чтобы в комбедке были Хоортай, Каной и Онис, поднимите руки. Оставшиеся на сходе бедняки и батраки, переглядываясь и подталкивая друг друга, тянули вверх чёрные потрескавшиеся ладони.

– А теперь есть ещё одно дело, – привстал за столом Жарков, найдя глазами в толпе Фёдора Польшцева. – Растволкуй им, Эпсе... Да пусть вернут сюда бая и его сына...

– У степной дороги собрался народ. Верховые спешили. Кто приехал на телегах – слез. Впереди шёл Фёдор, за ним Пичон, Жарков, Эпсе. Сзади с любопытством наблюдали Хапын и Тойон. Хоортай в сторонке о чём-то спрашивал Сабиса, сидящего на Соловом.

– Вот, – показал Фёдор Павлович, – один кол. Вон – другой. Здесь сворачивали, а там выезжали на дорогу. Теперь пойдёмте во-он к тому кургану.

Толпа повалила за ними. У небольшого кургана с камнями, торчавшими по бокам наподобие столбов, Фёдор остановился.

– Вот здесь мы его взяли. Пёстрая собака здесь дралась с беркутами. Одного, кажись, искусала...

Фёдор поманил Сабиса.

– Подойди сюда.

Сабис решительно подъехал. Тойон стоял тут же и не спускал с него глаз.

– Он, наверно, ничего не помнит, – махнул Фёдор, что-то разглядывая на земле. Потом зашагал куда-то в сторону. У куста чия остановился.

– Идите сюда!

Люди подошли. Фёдор поднял лапу беркута.

– А потом он подъехал, – Фёдор указал на Тойона. – Угрожал...

– Чойланча, чойланча! – быстро выкрикнул Тойон.

– Палам, скажи правду, – потребовал Хоортай у Сабиса.

Удивлённо раскрытыми глазами рассматривал молодой табунщик курган. Это место ему было знакомо, но он хорошо помнит, что не приезжал сюда на Соловом. «Неужели я так долго тащился за стремянем, что оторвался только здесь?» Ему захотелось спрятать лицо в гриву Солового, зарыться в ней, чтобы не видеть уставленных на него глаз деда Хоортая, Большого Фёдора, приезжего комиссара. Сабис, вздохнув, слез с Солового, наклонился к земле, сделал вид, что он что-то рассматривает. Но заметил – Марик тут.

– Палам, говори... – дед Хоортай строго смотрит на Сабиса.

И Соловый тычется мордой в плечо. Может быть, Соловому хочется, чтобы молодой табунщик поскорее сел ему на спину, разобрал поводья, гикнул и – ускакали бы они в степь, подальше от этих людей, которые заставляют их зачем-то томиться возле низенького, невидного курганишка. Никто не понимает, что, если Сабис не встанет на сторону Тойона, ему уже не сидеть на этой золотистой спине, не расчёсывать ковыльной гривы коня, не трепать рукой горячей тонкой шеи.

– Солового отберут, – чуть не плача, с трудом выговорил Сабис. К нему подались все, стараясь лучше понять, что он такое сказал.

В глазах Сабиса Зойка мельтешит, белеют её волосёнки, выбившиеся из-под заячьей шапки. Зойка, видно, узнала курган.

– Мама, гляди-ка, во-он она!

– Что ты увидела, доча? Где?

– Бутылка! – звонко кричит Зойка. – Наша!

Бутылка пошла по рукам. Опять зашумела и смолкла толпа. И все услышали, как Сабис горестно повторил:

– Отберут Солового...

Жарков, распахнув дождевик цвета блёклой травы и обнажая на груди косой ремень портупей, шагнул вперёд:

– Слышали? Запугали мальчишку. Парень, не бойся. Коня у тебя никто не отберёт. Ты не одного такого заработал.

Эпсе перевёл.

Сабис припал к ногам Хоортая:

– Агам, агам!.. Мин чой...

Медленно-медленно распрямился Сабис. Сначала он смотрел в землю, потом робко нашёл глаза деда. Осторожно повёл головой, скользнул взглядом где-то ниже лиц Фёдора, Вари, протолкавшейся поближе Марик. И уже рывком повернул голову влево, где стояли окружённые работниками Хапын и Тойон, оба в лисьих малахах, в новых суконных таарах.

Размазывая грязь по лицу, Сабис вытер слёзы кулаком, шагнул к Тойону.

– Он коня пугал. Вон там... Я упал, нога осталась... Соловый тай поволок, больше не помню... Потом увидел – аалсовет...

– Меня обманул! Весь аал обманул, айна! – закричал Пичон, подсакивая к Тойону. – В Минсуг его надо отправить! А вы, Фёдор Павлович, извините, – остановился Пичон перед Полынцевым. – Ружьё ваше можете получить в аалсовете...

Быстро разнеслись новые вести по аалу. Говорили, что Улуг Пёдор не виновен и что теперь Тойон отвечать будет; говорили, что комиссар – тот самый хызыл-чаачи, который когда-то оставил Сагдаю Мухортого. Будто он сильно жалел, что конокрады угнали одноухого жеребца, обещал послать отряд милиции по их следу. А ещё – самое важное – это он сосчитал Сагдаю, сколько тот заработал у Хапына.

– Шестнадцать коней! – с удивлением толковали батраки.

Рассказывали, что Каной пришёл к комиссару, просил сосчитать, сколько коров за восемь лет заработал он и Терпей. Будто бы комиссар насчитал очень много.

Ребятишки разносили вести по аалу:

– Пятьдесят коров возьмёт у Хапына дядя Каной...

И ещё одно событие взволновало весь аал: будто бы Каной явился к Хапыну.

– Пришёл рассчитывать, – войдя в дом Хапына, сразу сказал Каной.

Хапын испугался: комбедчик пришёл, а в аале всё ещё живёт комиссар Жарков. И этот большой мужик-кузнец, которому Пичон отдал карабин, никуда отъезжать не собирается.

Молча глядел Хапын на Каноя.

– Свой своего грабить пришёл? – налетела на Каноя Тапчи.

– У тебя чей сеок? Не его ли? – указала на мужа.

– Мы рассчитаемся, Каной, рассчита-аемся, – тянул Хапын.

Смысл слов его был тёмен, они напугали Каноя, и пастух будто бы поспешил уйти.

И еще. Будто бы встретил Хапын Жаркова и говорит:

– Комиссар, я работникам хочу подарки делать. Вот Каной – мой харындас, брат, значит. Я ему два хороших коров дарю.

Жарков будто бы усмехнулся и сказал:

– Две-то мало, наверно, будет. Пусть комбед сосчитает. И Каную, и другим работникам.

К удивлению Жаркова, аалсовет был чисто вымыт. В печурке трещали лиственничные дрова. На окнах белели шторы. Из кабинета вышел Пичон, приветливый, сияющий.

– Проходите, проходите, – приглашал он.

– Вот это порядок! – похвалил его Жарков. Хоортай, Онис, Каной сидели на лавках.

– Как будем рассчитывать пастухов? – спокойно спросил Жарков у Пичона. – Вот комбед, пусть сосчитает.

– Пилебис, разберём, – ответил Каной.

– Вот вместе и делайте, – повернулся Жарков к Пичону. – Комбед должен немедленно приступить к работе.

Заговорила по-своему Онис. Эпсе переводил:

– Ребятишек учить надо. Плохо, если хакасы не знают грамоты.

– А найдётся из ваших грамотный человек? – спросил Жарков Пичона.

– Школу обязательно надо открывать. Губенков приказал, – нашёлся председатель. – А вот учителя нет.

– Зачем нет? – волнуясь, выговорила по-русски Онис. – Варвара меня учил. Он пиши, читай. Сан пёк.

– Чарир, чарир, учитель будет, – поддержал Каной.

– Назначим, – с готовностью согласился Пичон.

– Если народ не возражает, назначайте. Распоряжение пришлём, – заключил Жарков.

И такая радость за свою Варю, книжницу, охватила Фёдора! А потом он подумал, что радоваться нечему, ведь Варя хакасского языка не знает. Сказал об этом Жаркову.

– Пусть учится у Онис, – возразил уполномоченный. – А школа где будет? – спросил у Пичона.

– А вон у Хапына четыре комнаты, – сказал Каной. – Две комнаты отделить, дверь прорубить, вот и школа.

Пичон вдруг словно захлебнулся, глотнул воздуха. Лицо побавровело, глаза выкатились. Но он справился с собой и даже поддержал Каноя:

– Пойдёт, пойдёт...

– Так дайте распоряжение сейчас же оборудовать школу.

Комбедчики поднялись. Каждый прощался с Жарковым за руку.

– Так-то, милые люди, – говорил им уполномоченный. – Наводите в аале наш, советский, порядок...

В аалсовете задержались трое – Пичон, Жарков и Полынцев.

– Так-таки, товарищ Почкаев. Где ты, говоришь, учился? В университете? Не окончил, значит? А на какие деньги учился?

Ни одна жилка не задрожала на лице Пичона. Готов был к такому вопросу. Ответил:

– Общество учило меня. Собирали деньги.

«Совпадает с рассказом старика», – подумал Жарков.

## ГЛАВА 18

– Пир, ике, юсь, – загибает морщинистые пальцы на правой руке Хоортай. Кожа на подушечках большого и указательного – коричневая оттого, что он постоянно придавливает ими горящую насыпку в трубке.

Старик высчитывает, сколько же времени живёт в аале Большой Фёдор. Выходит, что три раза успел народиться и сойти на ущерб месяц. Однако, теперь совсем останется здесь Улуг Пёдор. Говорка худая кончилась. Дело шибко хорошее есть у него и у бабы. Девчонка в школу пойдёт. Куда им ещё ехать, зачем?

Пора уже Домне пригнать отару в аал. И Сагдаю время подошло пасти табун не в степи, где всё ошипано, выбито, а на островах по Ахбану. На островах выпасов нет, одни покосы летом были. Хорошая трава успела нарасти. Сейчас-то она давным-давно пожухла. Ноябрь на дворе. Скоро снег повалит. Да ведь здешние степные кони умеют добывать себе подножный корм. И овечки умеют. Копытят занесённую траву, хорошо наедаются за день. Домна и Сагдай будут пасти овец и коней поблизости от аала. Но где они станут жить? Надо отказывать Большому Фёдору. А как? Язык не поворачивается...

Наклонился Хоортай над очагом, дует на угли. Подложил в очаг сухого хвороста, а сверху накрыл кизяком. Теперь в юрте будет тепло.

Кнай сидит на деревянной кровати, разбирает косички. Глаза перебегают с предмета на предмет, но ни на одном не останавливаются. Кислый запах молочной сыворотки щекочет ноздри. Старик каждый день, как подоит Белянку, сливает в кадку молоко, оно сбраживается там и превращается в напиток айран. Каждую осень айраном отмечается приезд матери и отца домой. Собираются соседи и пьют айран вёдрами. Допьяна не напьёшься, только смех станет веселее да разговор громче...

«Если бы на угощение пришёл этот ласковый оол Эпсе», – думает Кнай, переламывая брови и особенно тщательно заплетая косички. Она снова приехала в аал с тайной надеждой встретиться с Эпсе. Тогда, после схода и поездки в степь к колышкам Полинцева, он проводил её до юрты деда Хоортая. Шёл рядом, по-

скрипывая новыми сапогами, от которых пахло дёгтем. Говорил негромко, всё время наклоняя голову поближе к её лицу, одёргивая на себе серую тужурку с накладными карманами на груди и с боков, и рассказывал, как учился в русской школе, жил в Минсуге. Мать он не помнит, а с отцом пасли байский скот. Отец простудился и умер. Взял его к себе товарищ отца – русский. Многое в его рассказах было непонятно ей, выросшей в степи. Вот какое-то «кино». Будто бы на большом полотне движутся люди-тени. Разве может быть такое?

Кнай заплела косичку, откинула голову назад, держа перед собой осколок зеркала. В тусклом зеркале да при тусклом свете лицо Кнай – нехорошее.

– У-у! Совсем Аязым-арыг!

Аязым-арыг – это старуха из древнего сказания, которое однажды услышала Кнай от бродячего хайджи. Эпсе не станет любить такую...

Мать отпускает её в аал, понимает, что тянет дочь из степи. И девушки-сверстницы собираются там на ойыны – вечёрки, как прежде, играют или загадывают друг другу загадки. А то есть ещё – ворожба. Придут стайкой в потёмки к заброшенному нежилому дому и тянут руки в пустынные оконницы, вдруг да айна – домовой – их коснётся. Прикосновение мохнатой руки сулит девушке богатство в замужестве. А парни прознают о ворожке, заберутся в дом и хватают их за руки. Сколько тут визгу, смеху! Да и страшновато всё-таки...

Мать совсем оправилась после того, как её помяли овцы. И теперь часто приезжают отец и брат, так что она там не одна. Вот почему Кнай не спешит из дедовой юрты к Красному озеру.

– Хоп! – громко говорит Хоортай, ударяя ладонь о ладонь.

– Придумал!..

– Что такое придумал, дед?

– Вы где вчера ворожили? В пустом доме на отшибе за нашим двором? Айна там живёт, Аларчон говорил... Как не будет там жить айна, когда хозяева умерли? И может, айна русских испугается, уйдёт? – спрашивает дед. – Пусть Пёдор Павлыча просит в аалсовете этот дом. Пичон не захочет отдавать – комбед есть.

Все морщинки и рубцы на лице Хоортая несколько раз собрались и распустились, как мехи гармошки. Хоортай велел внучке собираться на пастбище, к матери.

– Скажи ей, пусть приходит. Помочь сделаем Пёдор Павлычу. Дом белить надо...

## ГЛАВА 19

Ударили морозы. Домна и Кнай перегнали отару в аал. Овечье зимовье совсем простое. С наветренной стороны, близ ограды Хорортая, там, где был конопляник, навалили кучи ракитника, ветер наметает на них сугробы, и под их защитой ночуют овцы. Притоптанный навоз служит им подстилкой.

Сами чабанки поселились в своей избушке, которую освободили Полицевы. Выйдя из избушки к овцам до рассвета, Кнай посмотрела на звёзды. «Небо ясное, морозное, бурана не будет», – решила она. Утром Кнай погнала овец тебеневать. Пастбище знакомое – лог Чымыр-хая, исхоженный ею вдоль и поперёк. За логом – гривка, а перевалишь её – начинается подлесок. Снег прикрыл траву, но это не беда. Овцы знают своё дело, неутомимо работают копытцами. Копнут раз, другой – и вот он, корм. В тихие дни Кнай удаляется с отарой от зимовья вёрст на десять. Ближние пастбища она бережёт – вдруг соберётся буран, тогда она и стравит отаре эти загонки.

Восход застал её с отарой на перевале. Девушка ехала на смирном чалом меринке. И грива Чалого, и воротник шубы заиндевели. Лицо молодой чабанки покраснелось от ядрёного морозца. Чтобы не очень студило, Кнай повязалась поверх шали синим платком. На руках у девушки рукавицы, вышитые разноцветными нитками, за опояской заткнуты другие – мохнатые, их она надевает в сильный холод. Перебравшись через лог, овцы набросились на нетронутую пастбище с подснежной травой. Четыре рослые собаки подгоняли отставших животных. «Здесь буду пасти до вечера».

Однако вскоре ей снова пришлось сесть на коня: овцы стали разбредаться. Кнай на Чалом рысила вокруг отары, собирая её в кучу, подбадривала собак. Скоро ей пришлось извлечь из-за опояски меховые рукавицы.

Объезжая пастбище, Кнай увидела машистый волчий след. Но днём, в ясную погоду, да ещё с надёжными псами девушка не боялась волков. И всё-таки она чаще кричала собакам: «Э-э-эйсь!».

Время тянулось: только поскрипыванье снега да перестук овечьих копыт. Замёрзла какая-нибудь отбившаяся ярка, и тут же раздаётся хриплый собачий лай. Сиргун или Коктир подгонят замешкавшуюся овцу к остальным и бросаются к своей хозяйке, виляют хвостами, заглядывают ей в лицо, докладывают: «Видишь, ты ещё и крикнуть нам не успела, а мы уже навели порядок». Чабанка достаёт из арчимаха корку ячменного хлеба.

Кнай привыкла к одиночеству. И всё-таки хорошо было бы с кем-нибудь поговорить. Перед глазами девушки возникает лицо Эпсе. Вспоминает она, как после схода Эпсе подошёл к ней, ласково поздоровался, пригласил прогуляться. А в последнее время Кнай

не видит Эпсе. Он часто уезжает куда-то с Жарковым и её отцом Сагдаем. Потом собираются у Полинцевых – в том самом, раньше пустом доме, где девушки любили ворожить. Дом отремонтирован. У Полинцевых была помочь. Даже мать её ходила, помогала Варваре Петровне белить стены и потолки.

Кнай очнулась, чуя, как под полы её шубы поддувает. Поглядела вдоль лога. Там уже шла позёмка. Струи снега тянулись, как ручьи, степь казалась переливчатой. Прошло немного времени, ветер усилился, вокруг засвистело, завывало. Чабанка принялась заворачивать овец, но отару всё катило ветром.

Около полуночи вьюга пригнала овец к чему-то, показавшемуся Кнай высокой тёмной стеной. Стена шевелилась. «Лес, – поняла Кнай. – Тут ждать до утра». Соскочила она с коня, привязала его к тонкой берёзке, удлинив повод уздечки арканом. Окликакая собак, обежала отару, собравшуюся на глухой еланке среди густоборья. Сколько тут овец? Все ли дошли? Овцы набрели на не вывезенную копну, захрустели сеном. Кнай привалилась к копне с подветренной стороны.

Сколько подремала она – не знает. Ветер всё так же пробрасывает сквозь деревья снег. Звёзд не видно. Может быть, скоро наступит рассвет. Овцы сбились в кучу, ни одна не ложится – холодно. Собаки жмутся к копне. Кнай чутко вслушивается в лесные шумы, пристально вглядывается в темноту. Вдруг послышался конский топот, раздался вроде бы человеческий крик. «Ищут отару и меня!» – обрадовалась чабанка. Кто-то едет верхом, понукая коня.

Собаки бросились в ту сторону, лают, но не так, как на чужого. Чалый вытянул шею, заржал.

– Кнай! Кнайах! – кричал всадник. – Вот где я тебя нашёл! – Она узнала голос Эпсе. – Долго ехал. След всё время терялся. Собаки залаяли – помогли найти...

– Один ехал? – спрашивает Кнай.

– Зачем – один? Пулат и Апах были со мной. Ещё работники Хапына. Разъехались в разные стороны.

Эпсе умолчал только о том, что сам он поднял тревогу в аале, когда не вернулась Кнай. На рассвете приехали остальные, погнав отару к жилью. Кнай подъехала к Эпсе совсем близко, сию секунду растянуть в улыбке находившие губы.

– Ты, Эпсе, однако, смог бы жить в степи, как мой брат и отец...

– Запомни, Кнайах... Это место... – и он показал на высунувшуюся из-за холма вершину Чымыр-хая, похожую на сахарную голову.

Кнай встревожилась: «Что такое! О чём он?..».

А у Эпсе из головы не выходит: «Когда искал отару, видел – огонь светится на склоне Чымыр-хая. Кто его зажигал? Маленький такой огонёк. Вроде там спичками чиркали? А может быть, просто

в глазах замельтешило? Вон и кустарник, возле которого отверстие пещеры темнеет, будто разинутая пасть». Эпсе даже на стременах привстал.

Батраки получали расчёт у Хапына. Распоряжался дедушка Хоортай, потрясая чёрно-серебряной, будто хвост лисицы-сиводушки, бородой. Онис, строго поджимая губы, ходила за ним следом с тетрадкой в одной руке и карандашом в другой. Губы лиловели от карандаша, который она муслила всякий раз перед тем, как вывести что-то в тетрадке.

– Крестик – будет Тирнук, – говорила она. – Кружок – будет Такан. Ну, два крестика – дед Хоортай...

– Тебе, Тирнук, – корова и конь. Выбирай, – сказал Хоортай.

Тирнук, сын старой Мангынас, высокий, худой, бельмастый, презрительно скривил губы: он пользовался особым доверием Хапына и Тойона. Ему было не с руки ссориться с сеоком Почкаевых. Однако и комбеда послушаться не посмел. Выбрал белобокую стельную корову и жерёбую игреневую кобылу. Тапчи то и дело подбегала к коровам и выщипывала у них из пахов шерсть, колдовала:

– Мой ырыс! Мой ырыс...

Хапын стоял, навалившись на забор, молчал, глядя на комбедчиков и батраков. Фёдор и Жарков внимательно наблюдали за происходящим. Пичона в аале не было.

– Гляди-ка, мил человек, что это там? – тронул Жарков Фёдора за плечо и кивнул в сторону чобатского откоса. Фёдор посмотрел и увидел: на Чобате прорвало лёд. Должно быть, где-то в русле речки намёрз затор. Вырвавшаяся из-под льда вода пошла поверху.

Людям казалось: сегодня со дна Чобата забили новые родники.

## ГЛАВА 20

По аалу пошёл слух: где-то вблизи поселился айна. Лица не видно, только шерсть и красный нос. Из дома в дом, из юрты в юрту передавали аальцы: видели айну ночами и в ограде Хоортая, и под окном дома, в котором живёт Пичон. И что айна ходил к новой кузнице. А ещё видели его около теперешнего жилья Полянцевых.

Первым увидел айну в аале Пулат. В тот вечер Пулат засиделся допоздна у Апах, домой возвращался в темноте. Подходя к своему двору, услышал Пулат приближающийся топот конских копыт и прижался к плетню. Очень близко от него проехал одинокий всадник. В это время Онис, наверное, переставляла в избушке лампу. Свет брызнул из окна, и Пулат различил заросшее лицо всадника.

Тот миновал плетень. Пулат не знал, кто бы это мог быть. А едет по аалу уверенно. Оробев, запыхавшийся Пулат прибежал домой.

Видел айну и Фёдор. Глубокая ночь была. Окна дома без ставней, так Варя завесила их изнутри. Фёдор, однако, не спал – мало ли о чём ему думалось! Может, походы партизанские вспомнил... Потом за одним окном послышался шорох. Фёдор встал, подкрался, прячась за косяк, осторожно приподнял край одеяла, которым было занавешено окно. Снаружи немного отбеливало ночное небо. Фёдор увидел прижавшееся к стеклу чьё-то лицо, черты его, однако, невозможно было разобрать. Тут же отпрянул назад, к стене, на которой висел карабин. Налетел на табуретку, та загремела.

– Федя, кто там?

Тише. Молчи... – Фёдор сдёрнул карабин, подскочил к окну, сорвал одеяло. За окном никого не было.

– Он китрай. Растаял, – сказал утром Хоортай, выслушав кузнеца. – Пулат говорит, чисто Таг-эзи.

– А ты сам видел Таг-эзи хоть раз в жизни? – спросил Фёдор.

– Слышал только. А Пулат хорошо его разглядел – чёрный шерсть, лицо нет, только нос красный, шуба чёрный, катанки большие...

Варя ничего не могла понять, но сильно встревожилась: «Как бы с Федей чего не случилось, Зоюшке бы какого лиха не сделали...».

И вот она с полными вёдрами на коромысле идёт от Чобата к дому. Сюда ей дальше носить воду, чем в избушку Хоортая. Плохо протоптана тропинка в снегу к новому гнездовью. Сугробы на пути, вязнут в них пимы. Пурхается Варя в Фёдоровом дублёном полушубке, полы метут снег понизу. Руки Вари распяты на коромысле. Вода в вёдрах покачивается, льдинки звенят.

Старый дом похож на гриб-боровик, только шапка на нём снеговая. Нанесли на крышу бураны аршина два снегу. Варя слышала от Хоортая, что такая зима – невиданная здесь, непривычная. Хакасы привыкли к бесснежью, сена для скота заготавливают мало – надеются на тебеневку, когда овцы, коровы и лошади сами копытят подножный корм. А от снежной зимы аальцы ждут чего-то такого, что всем на удивление. Только вот что это будет – радость или горе?

У старого дома нет ограды. Прямо с пустыря Варя ступает на покосившееся крылечко. Коромысло у неё на плечах скособенилось, вёдра качнулись, сплеснулась на ступеньки вода.

Фёдор услышал изнутри, что она топчется на крылечке, открыл дверь, помог снять вёдра с коромысла. Шагнула Варя через порог, в тепло, зашуршал мёрзлый полушубок, заскрипел принесённый на пимах снег. Фёдор следом занёс в дом оба ведра. Зойка в одной понёвке, босиком – и тоже к вёдрам. Присела возле них на корточ-

ки и разглядывает, что там, на дне. Не принесла ли мать и сегодня в воде жука-плавунца? Больно заняты кажутся Зойке эти жуки. Возьтятся-возьтятся на дне, а потом вынырнут наверх, пошевелят лапками и снова вниз. Только когда опускаются опять, кажутся серебряными. Под каждой лапкой, под брюшком держит жук какие-то блестящие горошины. Откуда они взялись? А это вовсе не горошинки, а пузырьки воздушные. Мать говорит, что этим воздухом жук дышит под водой. Вот какая она умная, мама Варя. За это её учительницей назначил дядя Жарков...

– Простынешь, Зоюшка, босиком-то, – говорит дочке Варя. – Беги, сядь на постель...

Пол в кухне и в горнице – ледяной. Да ему и не бывать тёплым. Ремонтировали-то этот заброшенный дом наспех. Ладно ещё, Хоортай печь подправил, и побелено внутри, и натоплено, а своим, полынцевским, ещё не пахнет. Пусто в комнатах. В прихожей – стол с почерневшей столешницей да широкая лавка, приставленная к печке. А в горнице видно большую самодельную деревянную кровать и топчан поменьше, на нём Зойка спит. Когда они дома одни, просторной кажется старая хоромина. А сейчас в ней вдруг тесно показалось Варе. Отчего бы?

Когда вошла, не сразу разглядела, что на лавке ранние гости сидят – Хоортай, Каной и Онис, в шубах и в шапках. На голове у Онис из-под одной шали выглядывает другая. Тревожно переглядываются между собой гости.

Онис поворачивается на лавке, неловко поворачивается из-за своих одёжек, обшаркивая рукавом побеленную печку.

– Пулата ковыл Рыжка умер... Чогол теперь.

– И Терпей корова тоже, – сказал Каной.

– И у Такан корова пропадает, – добавила Онис. – Все Хапына скот брали. Айна, говорят, кушает.

Опять айна!

В глубине леса, за горой Чымыр-хая, где пережидала метель с отарой Кнай, есть обширная елань, посреди которой стоит старая лиственница. Бугристый ствол лиственницы, покрытый шелушащейся корой, в толщину несколько обхватов, а чтобы с земли увидеть её макушку, надо так запрокинуть голову, что свалится шапка. Чёрными кажутся голые ветви, лишённые в зимнюю пору хвои. В трещинах коры тут и там смолистые натёки. Сколько лет лиственнице – двести, триста? Не одно поколение хакасов косило траву на этой елани.

Конские следы... Ведут они к одинокому стогу, смётанному здесь работниками Хапына. Если лучше приглядеться к стогу, можно увидеть в нём нору, из которой время от времени высовывается человек в кожаной ушанке с козырьком. И конь наготове...

Лицо человека почернело от мороза, в бороде сухие былинки

сена, усы заиндевели. Но в стогу ему тепло, к тому же в кармане шубы у него фляжка, из которой он время от времени делает по глотку. Самогон-первач обжигает рот.

Человек вздохнул, полез в карман, достал часы с истёршейся крышкой.

– Пора бы...

Конь наострил уши.

– Эй, Фрол Касьяныч! Не пальни случайно. Это мы... – слышалось из-за деревьев.

Приехавшими были Пичон и Серге. Оба в волчьих малахаях.

Пичон вывалил арчимах со снедью:

– Берите, Самохвалов, это подорожники. – А сам продолжал незаконченный разговор с Серге: – Ну, сколько в армии-то теперь?

– Человек четыреста...

Бородатый уплетал мясо, отхлёбывал остывший чай из тuesка. Пичон при лунном свете разглядывал то одного, то другого.

– Ну, долго нам тут рассиживаться некогда. Фрол Касьяныч принимает командование, а ты – к Унгерну...

– Станут ли мне доверять? – спросил бородатый. – Там же все ваши.

– До возвращения Серге. Ненадолго, – сказал Пичон, разливая спирт. – Понемножку... Холодно...

– Там мой заместитель есть, – проговорил Серге. – Он будет командовать. Твоё дело – военному учить... Там есть и несколько русских, сотниковцев.

– То, что тебе крайне нужно, – перебил Пичон, наклоняясь к бородатому, – придёт время, может, я выполню... А дольше оставаться здесь нельзя. Полынцев аал мутит. Сегодня в отряд самообороны человек двадцать записал. Ночью аал охранять... Поймают тебя. На тропах Хаза-тайги выставь охранение. Сагдай пронюхал, куда ушёл табун Мухортого. Он, наверно, и Жаркову об этом донёс. Только зимой без проводника красным туда не пробраться, а Сагдай дороги не знает. Зиму продержитесь, а весна придёт – сами ударим по Минсугу... Вот это, – Пичон показал на второй арчимах, – увезёшь в Хаза-тайгу. Лучшее оружие. Разобранное...

Харбинка приподнял арчимах.

– Тяжёлый. Пуда четыре будет.

Все трое сели на коней. Прощаясь с Серге и Самохваловым, Пичон несколько задержал руку Серге:

– Ты хороший связной. С самим Оловьевым связал, и с Унгерном сумеешь. Бумагу береги...

Эпсе рассказал Фёдору про огонёк, который мелькал в пещере. «Да, нет дыма без огня, – подумал Фёдор. – Значит, всё-таки там кто-то был, когда мы с Хоортаем ездили за плитняком». Решили собрать аальцев, поехать и хорошенько осмотреть пещеру.

Она глядела на степь, будто око. А ещё походила на рот, который разинула гора. Шагнув в полутьму, Фёдор ушиб ногу о камень, торчавший, как порог. Стены были закопчены. «Жил тут, а может, и сейчас прячется где-то за выступом?»

– Кидаю гранату! – крикнул Фёдор в зев пещеры. А швырнул туда просто камень. Может быть, испугается за жизнь айна, отскочит от стенки.

Камень ударился о выступ, но всё было тихо. Вместе с Эпсе прошли вперёд, чиркая спичками. Вдруг случайно увидел Фёдор на стенке выцарапанное слово «Борьба». «Русский тут жил», – понял Фёдор.

– Айна ушёл, – заключил Хоортай.

## ГЛАВА 21

В ту ночь два всадника переехали Ахбан по льду. Морозный куржак покрывал густо заросшее лицо Харбинки, серебрился на мерлушковом воротнике его шубы. Харбинка поднимал голову и смотрел на ущербный декабрьский месяц, повисший над заметёнными снегом кустами тальника, над темнеющим лесом. Ему казалось, что с месяца вниз во все стороны осыпаются колючие иглы, он чувствовал, как они впиваются ему в щёки. Попали на ледяную проплешину. Подковы дробили звонкую поверхность толсто намёрзшего льда, Харбинка ёжился. Сказались недели, прожитые в пещере Чымыр-хая.

Зачем приходил? Хотел подкараулить Фёдора Полынцева. Один раз даже подкрался под окно того дома, на отшибе. Наверно, Фёдор услышал и всполошился, но состорожничал – не вышел. А стрелять внутрь, в окошко, Харбинка не стал. Так и ушёл он, Фрол, в ночь, в заснеженную пещеру, на свою лёжку. Утром опомнился – неосторожно поступил, мог испортить Пичону всё дело, а оно у него не шутейное. Если выгорит у Пичона, выгорит и у Харбинки. Фёдор всё равно попадётся на узкой дорожке.

Студёно. У Харбинки настыли и задеревенели ноги в стременах. Всё больше ледышек намерзает на усах и бороде. Согреться нечем: фляжка с самогоном выпита. Но, может быть, его согреют воспоминания?

Начал думать о Варе, так и не идёт она из памяти. Попытался представить её теперешнюю. Видел Варю издали, и не раз. А так, чтобы в глаза друг другу поглядели, – это не привелось. Помнит тот, давний, крутой излом бровей, родинку на правой щеке, серую дымку глаз. «С тех пор люблю... С тобой бы всю жизнь...»

А на что ему надеяться, беглецу, изгою? Что он может предложить Варе взамен жизни с Фёдором? Чтобы она поделила с ним,

Харбинкой, его скитания? Он понимает, что думы его о Варе – зряшные. Но, может быть, они только сейчас напрасны?

Ещё многое может перемениться впереди... Он отводит руку за спину, нащупывает притороченный на крупе коня выюк с оружием. А месяц всё сыплет морозные иглы. И висит он в небе с левой стороны – это плохая примета.

Впереди едет Серге, на нём поверх кожанки надета доха, сшитая из серо-белых косульих шкур. Полы дохи свисают до стремян. На голове мохнатый малахай. Тепло оделся Серге, по-таёжному. Из воротника у него парит. Время от времени он всем туловищем поворачивается назад, окидывает взглядом Харбинку и снова взмахивает камчой – «греет» каурого жеребца.

Уже когда миновали реку и выехали в тальник, справа раздался волчий вой. Харбинка натянул поводья, рука скользнула за пазуху – за наганом. По-другому повёл себя Серге. Он продолжал ехать, откинулся на седле назад, глубоко вздохнул морозный воздух, и неожиданно для своего спутника тоже завыл по-волчьи.

«А-ва-уу! А-ва-уу!» – неслось над стылым ракитником.

«Кони не пугаются, – начал соображать Харбинка. – Значит, и те голоса были не волчьи...»

Недалеко от них захрустел снег. Навстречу выехало четверо верховых. Над плечами покачивались винтовочные дула. Лошади, пуская ноздрями пар, потянулись друг к другу обнюхиваться. Каурый жеребец, на котором сидел Серге, прижал уши и, взвизгнув, укусил чьего-то коня.

– Эй, оол, не подъезжай близко, – предупредил Серге. – Загрызёт.

Сдерживая поводьями ретивого жеребца, он распорядился о чём-то по-хакасски. Харбинка понял, что речь идёт о нём. Прибывшие разделились. Двое поехали вперёд, приглашая и его следовать за ними. Двое остались с Серге, который повернул Каурого снова на лёд Ахбана.

В это утро Сагдаю не хотелось гнать табун на зимнее островное пастбище. Всю ночь у него болело сердце. Чтоб успокоиться, он поворачивался на левый бок, сдавливал грудь рукой. Гнал Сагдай от себя навязчивые ночные думы. А они всё о том же – о жизни. Попал в должники к Хапыну. За утерянный косяк приходится отрабатывать не только самому, но и жене Домне, и сыну Сабису, и дочери Кнай. Правда, Пётр Иванович Жарков обнадёжил – сказал, что он, Сагдай, ни в чём не виноват. Но, чтобы совесть была чистой, чтобы люди из сеока Хапына не толковали о нём вкривь и вкось, Сагдай должен найти коней. Так он сам решил. И как только настанет тепло, он отправится в Хаза-тайгу.

О Хаза-тайге его расспрашивал и Пётр Иванович, они даже вместе съездили к тому месту, где впервые обнаружился след пропав-

шого косяка. Но Жаркова – Сагдай теперь это твёрдо знает – занимают вовсе не угнанные кони. Жарков ищет след худых людей, которые скрываются в Хаза-тайге. И ещё он считает, что аал Сагдая и Хаза-тайга как-то связаны между собой.

У Жаркова свои мысли, у Сагдая – свои. Если уж начистоту, то надо хорошенько допросить Хапына, Тойона и Пичона. Что-то они крутят. Где Серге – двоюродный брат председателя?

Что за айна приходил в аал? Может быть, готовится ещё одна кража? А с чего взялись сначала задабривать Сабиса – Солового ему подарили? Теперь косятся на всю семью Ардиковых.

Недавно Сагдай встречался с людьми из аала Чорбит, они говорили, что видели коней из пропавшего косяка под неизвестными всадниками... Поговорить надо обо всём этом с Петром Ивановичем. Жалко, что он внезапно уехал в Минсуг.

Ещё табунщик думал о том, что Домне тяжело управляться с отарой овец. Всё чаще она недомогает, и её работу приходится делать дочери Кнай. А Кнай уже невеста. Неужели вся её молодость пройдёт в степи, на пастбище?

Сабиса надо учить грамоте – так говорит жена Большого Фёдора. Да и сам Сагдай не раз видел, ещё когда Полынцевы жили у них в избушке: читает Варвара книжку своей Зойке, а Сабис тоже слушает, хотя не подаёт виду. Половину Хапынова дома отделили под школу. Из Минсуга пришло такое распоряжение. Приглашала Варвара в школу и Сабиса, но ему стыдно. Большой уже, настоящий табунщик...

А Хоортая не узнать. Вроде помолодел. Дома не живёт целыми днями. Всё с народом. Сейчас с Полынцевым и Эпсе записывают батраков в отряд самообороны. Полынцев ходит вооружённый, людей учит стрелять. Аал охраняют. Видно, ему и Жаркову что-то известно, что-то готовится. Откуда идёт опасность? Неужели из Хаза-тайги?..

Уснул Сагдай перед рассветом, и снились ему кони. Это только наяву конь – друг, а привидится во сне – враг. Много коней – много врагов. Это старое поверье. Кони окружали Сагдая со всех сторон, тянули к нему морды, скалили зубы, пронзительно ржали. И не вырваться было ему из табуна.

Проснулся он от прикосновения Домны.

– Йо, Сагдай! Ты метался и кричал во сне.

В окошко лился свет нового дня. Сабис и Кнай сидели за столом, ели пресные лепёшки, макая их в пахтанье. Когда отец стал стягивать мокрую от пота рубашку, Сабис увидел смуглую широкую спину отца с крепкими лопатками, с выступающими полудужьями рёбер. Но сколько вмятин было на ней, сколько белело шрамов! На правой руке глубокие рубцы – следы волчьих зубов. Когда ещё Сагдай был молодым, схватился с матёрой волчицей, напавшей на же-

ребёнка. Она оставила свою жертву и прыгнула на табунщика; ему нечем было обороняться, и он сунул зверю в пасть правую руку. Волчица зажала её зубами. Левой рукой Сагдай душил волчицу, а правой пытался вырвать у неё язык. Схватка шла один на один, грудь на грудь, и неизвестно, чей бы остался верх, если бы не подспели собаки. Чахырах, которого, как выяснилось потом, застрелил Гойоч, перекусил горло волчице. Но отметина на руке Сагдая осталась на всю жизнь.

Да ведь и сам Сабис не так давно лечил ногу, покалеченную при падении, и голову, которую чуть не разбил... Ему стало жалко и отца, и себя, и мать, и Кнай. Редкие праздники выпадают их семье, всё работа, работа. Вот Кнай заблудилась недавно в буран с овцами.

Отара помяла осенью мать. Почему они все такие беззащитные? Улуг Пёдор и дед Хоортай говорят, что наступило новое время. Но ведь работа осталась старая. А есть ли на свете для хакасских чабанов и табунщиков другая работа? Этого Сабис не знает...

– Паба, – обращается вдруг к отцу Сабис, до этого дня никогда не начинавший первым разговора со старшими. – Ты побудь сегодня дома, я тебя заменю па пастбище...

Обветренные губы Сагдая растягиваются в улыбке. Он понял, что хотел сказать сын. Жалеет Сабис отца...

Сагдай уже надел поданную Домной чистую нижнюю рубашу. Сверху натянул повседневную хакасскую, сборчатую, со множеством пуговиц. С пуговицами этими он не ладит. Не слушаются маленькие кругляшки его толстых грубых пальцев, и он всегда ворчит на Домну, зачем она пришивает ему к рубашке столько пуговиц.

– Все так носят, – отвечает Домна, разводя руками.

Кнай, тряхнув косичками, концы которых щёлкнули по столу, будто бичи, встаёт и подходит к отцу. Её гибкие руки тянутся к его воротнику. Пальцы дочери, на которые Сагдай смотрит против солнца, просвечивают розовым. Прикосновения их быстры, легки.

– Прай!

Выйдя из-за стола, он заторопился, захлопотал. Надел поверх матерчатых штанов овчинные, запахнул и подпоясал шубу.

– Погоню коней на остров. Ты, Сабис, пока оставайся дома. Сменишь меня в полдень. А сейчас лучше помоги матери и Кнай – привези сено овцам.

Сагдай надел мохнатые собачьи рукавицы-верхонки, потоптался возле порога, вспоминая, что бы ещё наказать семье. Так и не вспомнил...

Серге со своими людьми ехал в степь, где пасутся косяки Хапына. Им нужно было прихватить с собой два-три коня – пригодятся в пути через Саяны и Танну-Туву в Монголию. Заодно хотелось выведать у Сагдая, что тот знает о Хаза-тайге.

В ушах звенят слова Сагдая, которые тот выкрикнул на сходе: «Косяк угнали в Хаза-тайгу. Найду». Сам Серге этих слов не слышал, ему передал их Тойон.

А если, пока он выполняет поручение Пичона, Сагдай приведёт в Хаза-тайгу красный отряд? До времени завяжется бой, рухнут планы. Серге ударил жеребца камчой, припал к гриве. Всадники едва успевали за ним. Навстречу дул ветер, чем дальше в степь, тем сильнее.

«В такой день Сагдай непременно сам возле косяков», – размышлял Серге.

Круто повернул к островам. Спустились цепочкой к замёрзшему Чобату. Крались вдоль островов.

Вдруг Серге резко осадил жеребца.

Он увидел табун на заснеженном острове. Кони разбредались, снова сбегались, ветер сдувал на одну сторону их хвосты и гривы. Разгребая копытами снег, кони срывали зубами жёсткие пучки травы. Ямки, вытопанные и выгрызенные, тотчас же заметала позёмка. Двухлетки, трёхлетки сбивались в кучки, прятались от ветра друг за дружкой, но, заслышав окрик табунщика, вновь принимались тебеневать. Серге узнал Сагдая.

– Вам дальше нельзя, он вас не знает. Не надо, чтоб он догадался, кто мы такие. Стойте тут, в кустах. Табун идёт в эту сторону. Пока я заговариваю зубы Сагдаю, вы ловите коней. В тальнике он не увидит...

В это время Каурый заржал. Десятки табунных коней ответили на это ржание. Серге ударил жеребца камчой и, не таясь больше, выехал на открытое место.

– Эй, оол! – окликнул он табунщика. Сагдай оглянулся и натянул поводья.

«Серге? Здесь, на пастбище? Зимой? – удивился он и выругался про себя: – Айна! Ведь он не один. Там ещё два коня ржало. Я слышал...»

Смутно ощущая опасность, Сагдай двинулся навстречу Серге. Больше ему ничего не оставалось делать. Но он направлял Рыжку так, чтобы между ними и жеребцом, на котором ехал Серге, были лошади.

И всё-таки они сближались. Один широко улыбался, кричал: «Изен!». Второй хмуро выжидал, что будет дальше. Их разделяло всего около десятка шагов, потом это расстояние ещё сократилось. Ближе Серге никак не смог подобраться. Жеребец под ним, оказавшись среди табуна, заволновался, стал выплясывать, выгибать шею дугой и боком-боком норовил оказаться поближе к кобылицам и злился на своего седока: зачем гонит в табун, а воли не даёт?

Серге пришлось одновременно и смирять жеребца, и удержи-

вать другой рукой приготовленный на всякий случай под длинной полой дохи обрез.

– Зачем к кобылам едешь? Жеребец тебя изувечит! – крикнул Сагдай, а сам и не подумал отъехать от кобылиц. Правая рука его опустилась к свитому кольцами волосяному аркану, висевшему на луке седла. Серге покосился на аркан.

А у Сагдая был другой расчёт. Кобылицы между спокойным табунным Рыжкой и распалённым жеребцом Серге. Не подпустить Серге к себе – это самое главное. Тому волей-неволей пришлось оставаться на месте и унимать Каурога.

– Нашёл косяк? – крикнул Серге.

– Пока нет, – ответил Сагдай. – Но знаю. Угнали в Хаза-тайгу.

– А где Хаза-тайга? – вроде бы удивлённо спросил тот. – Значит, дорогу знаешь? Кто ещё знает?

Тут жеребец взвился на дыбы, и Серге едва удержался в седле. Расстёгнутая пола дохи от резкого рывка отвернулась, и Сагдай увидел обрез, придерживаемый Серге подмышкой.

– Э-э, Серге! Твой жеребец взбесился... вовсе дурной! – кричал Сагдай. – Держись! А кто это ещё там с тобой?

– Где, Сагдай?

– За кустами... Там...

«Зоркий ты... на свою беду, – подумал Серге. – Будь что будет, а с тобой сейчас поговорит обрез...» И вдруг, оттянув пуговицу предохранителя, направил обрез на Сагдая. Но прежде чем затыльник приклада коснулся плеча, а палец потянул за спусковой крючок, Серге увидел летящую к нему чёрную молнию. Она свистнула возле ушей, и Серге почувствовал, что голова у него будто отрывается, а глаза с натуги вылезают из орбит. Он выронил обрез и схватился обеими руками за натянувшийся конец этой молнии. Однако было поздно. Аркан Сагдая вырвал Серге из седла.

Снег окрашен розоватым, а от зарода тень. Возницы остановили Пегашку под самым зародом.

К сену не подступишься – с боков у зарода снежные сумёты, сверху тоже будто кто положил белую шапку. Эпсе снял полушубок. Оставшись в одном ватнике, парень взял с саней длинный бастрик и принялся им околачивать стенки зарода. Когда облако снега осело, Эпсе приставил бастрик к зароду, сказал Сабису: «Держи», – и полез вверх.

– Подай мне вилы!

Сабис протягивает ему деревянные трёхрожки, а сам становится на сани, вооружаясь железными вилами.

Эпсе распочинает зарод. Хлоп! На сани упала первая охапка сена. Оно духовитое, щекочет ноздри запахами прошлого лета. Тут и мятлик, и визиль, и пырей – островные, луговые травы. Срезали их косами в самом наливе. Высушили, сгребли, сложили

в зарод. И стало лето зимовать... Всякая скотина зимой в нём нуждается.

Перед мордой коня плюхается сверху навильник сена, и Пегашка, зажмурив глаза, зарывает в него ноздри с настывшими сосульками. Сперва он хрукает сено без разбора, но, сжевав несколько пучков, начинает рыться в охапке, выискивая и вынюхивая особо лакомые стебельки и листочки.

Брать сено из зарода нелегко, пласты его плотно притоптаны, слежались. Эпсе вонзает в зарод сверху зубья вил. Потом «ломает» вилы через колено. Наконец Эпсе соскальзывает по стенке зарода вниз, в снег. Вместе они прижимают сено сверху бастриком. Оба устроились наверху.

Дорога ровная, хотя и виляет. Подкормившийся Пегашка бежит бодро. Скрипит снег под копытами, воздух наполнен звоном.

С острова, где брали сено, спустились в русло Чобата. Воз раскачивается, и вместе с ним раскачиваются там, на бастрике, Эпсе и Сабис.

– Ты жил в городе, Эпсе, – говорит Сабис. – Ты знаешь... Это правда, что есть машины, на которых люди летают? Ты видел их?

– Слышать слышал, но не видел. Но это правда, Сабис.

– На что они похожи, эти машины? Наверно, на беркутов?

– Я видел на картинке, – вспоминает Эпсе. – Крылья у них есть.

– А где там человек сидит?

– Внутри, посередине.

– И куда захочет, туда полетит?

– Конечно. Ведь он управляет крыльями сам.

– Вот бы прилетел к нам в аал. Мы бы поглядели...

Сабис запрокидывает голову к небу, словно надеясь увидеть там удивительного летуна.

– Эпсе...

– Что, Сабис?

– Когда я подал вилы тебе на зарод, ты снял рукавицы... Я знаю, почему. Бережёшь. Тебе их вышила Кнай...

Эпсе смущённо смотрит на свои рукавицы: по чёрному полю пущены гарусные листики и цветы.

– Кнай хорошая, – заключает Сабис. – И Марик тоже.

Эпсе смеётся и валит сидящего с вожжами Сабиса пластом. Оба барахтаются на возу. От избытка молодости, счастья и оттого, что одна тайна соприкоснулась с другой. Река огибала левобережный бугор. Вдруг Эпсе и Сабис услышали крики и топот. Пегаш остановился. Поднимая вьюгу, сотрясая мёрзлую землю ударами копыт, прогибая островную луговину, к Чобату мчался табун. Реяли на ветру хвосты и гривы коней: сивые, буланные, каурые, гнедые, воронные. Кони летели с храпом.

Вспухла кромка снега перед прибрежными кустами – в неё уда-

рили сотни копыт. Вот раздался треск самих кустов, куда вломились лошади. И тут в клубящейся за табуном снежной пыли дымно мелькнул всадник. Крупный рыжий конь его настигал табунных лошадей. Крик всадника рвался на ветру: «А-а-а! И-и-и!..».

– Ада! – вскрикнул Сабис, подавшись на возу вперёд.

Бешеная скачка, погоня за табуном, пронзительные крики его, подстёгивавшие, а не сдерживавшие коней, – всё это было необъяснимо. А в следующий миг Сабис и Эпсе увидели уж и вовсе неожиданное. Из кустов, там, где они росли всего гуще, выскочили на реку двое неизвестных на мухортых конях. Лица их были искажены страхом. Пригнувшись к лукам сёдел, всадники работали плётками, спеша удрать от несущегося вслед топота, ржания, криков. Об их спины колотились обрезы. Оба проскочили мимо, даже не обернувшись к возу, и исчезли. Часть табунных коней вынеслась на реку и побежала на аальский берег, обтекая воз с сеном. Другая часть, врезавшаяся в кусты, шумно сокрушала их, стремясь продрасть на лёд.

Сагдай подскакал к возу. Вид его был страшен. Шапка слетела с него во время скачки, и волосы, в которые набился снег, косматились во все стороны. Щёки и нос белели – обморозился на ветру.

– Собака... Бандит... Меня хотел убить... Язвалар!..

Шея Серге была туго перетянута петлёй аркана, язык вылез, чёрный рот забит снегом. На безжизненном синем лице щетинились маленькие усики. Доха исполосована, будто её рвали волки.

– Мертвяк, – сказал Эпсе. – Кто это?

– Ачын харындас Пичон, – ответил Сагдай.

– Ага-а! – удивился и о чём-то догадался Эпсе. – Попался в наши руки... А те двое были с ним?

– Чох! – замотал головой Сагдай. – Серге один был. Знаю ли дорогу в Хаза-тайгу, спрашивал... А вы видели тех? Знал я – Серге не один. Слышал – кони их ржали. Потому и волочил Серге, пугал табун, гнал в те кусты, откуда он на меня выехал...

Сагдай слез с Рыжки.

– Его в аал надо, – сказал он, пнув маймахом труп Серге. И только теперь увидел Сабиса: – И ты здесь, сын?.. Береги себя.

Обыскав Серге, Эпсе вытащил у него из тужурки наган и кожаный кошелёк, в котором оказалось несколько золотых царских пятирублёвок.

– Ты говоришь, в тебя он целил из мылтыха? – спросил Сагдай.

– Мылтых остался там, – табунщик показал на остров, вытоптаный конями.

– Понятно... Искать не будем, не до того. Значит, так. Надо спешить к Фёдору Павловичу.

– А табун? – спросил Сабис, хорошо запомнивший, что произошло летом.

– Он скачет к аалу...

Работа в кузнице не клеилась сегодня у Фёдора – остался без помощника. Хоортая, наверно, закрутили какие-то дела, и он не пришёл, как было с ним уговорено с вечера, ковать боронные зубья. Всё-таки Полынцев развёл огонь в горне, бросил на угли два железных штыря. Взаялся за мехи. Запахло привычным угарцем, окалиной.

Всё будто как надо, и всё не так. Недодержал в огне один штырь и пережёл другой. Сплюнул в сердцах и поддал ногой стоявшее недалеко от наковальни точило, за рукоятку которого зацепился фартуком. Громоздкое точило опрокинулось, загремело.

Тут на пороге кузни неожиданно выросла Варя. Она запыхалась, щёки от ходьбы по морозу румяные, шаль растрёпана, голос дрожит.

– Федя, ты послушай... Пичон заставил всех колоть скот, везти на сдачу. Имеет ли право отбирать у батраков то, что им дали? Мы пошли к нему с Онис, так он сперва всё свалил на распоряжение из Минусинска, а потом и разговаривать не стал.

– Погоди, Варь. Дождёмся Эпсе. Скоро, поди, подъедет. Вместе помаракуем...

Варя ушла. Но появился Апах, поздоровался с Фёдором; сегодня он был неулыбчив, заполошенные бесенята не плясали у него в глазах.

Апах поднялся, поднял точило; установил его, затем развернул тряпичный свёрток. В нём оказалось два ножа.

– Точить нада...

Пришёл Пулат, помялся возле порога, теребя ухо. Он тоже принёс ножи. Потом в дверях показался и Хооргай-ага. Он протянул Фёдору полустёртый тесак времён японской войны.

– Шибко хорошо наточи, трук...

## ГЛАВА 22

Взвалив на верх воза и прикрыв охапкой сена окоченевший на морозе труп Серге, все трое – Сагдай, Эпсе и Сабис – невольно огляделись. Вот истоптанное пастбище, вот река, вот вётлы. Поднятая скачкой табуна снежная пыль уже осела, а на изломленные кусты успели прилететь желтобрюхие синицы; они тенькали там что-то о своём, птичьем.

– Ты, дядя Сагдай, обманул сегодня свою смерть, – с жаром говорит табунщику Эпсе. – А враг твой за чем шёл, то и получил.

Вдруг он спохватывается, видя, что Сагдай без шапки.

– Поезжай поищи по пастбищу отцову шапку и бандитский мылтых. Да скорее.

Сабису не надо дважды напоминать, у него одна нога здесь, другая – там.

– Дядя Сагдай... – говорит Эпсе, – может, нам не так уж и надо торопиться в аал...

– Почему?

– Это пока так, догадки... Но ты сам сказал мне: «Серге – брат Пичона». Над этим стоит подумать. А что, если и Пичон?.. Понимаешь?.. Нет, по-моему, надо где-то дожидаться ночи. Полынцева вызвать тайно...

Сагдай полез за трубкой, набил её табаком, закурил, обдумывая слова Элсе.

– Верно сказал, молодой оол. Может, не ушел я от смерти? Поедем к Каною на зимник.

Вернулся Сабис, протянул отцову шапку и волчий малахай Серге. Снял с плеча найденный обрез.

– Возьми, дядя Сагдай, – передал Эпсе табунщику тот самый трофей, дуло которого не так давно целило в Сагдая. – Твой.

Воз повернул оглобли в сторону зимника. Дымный язык ночи слизнул с неба обглоданную корочку, оставшуюся от ущербного месяца, и теперь ищет, не светится ли ещё что-нибудь. Вот коснулся он бельмастых окошек лесной избушки, и они погасли одно за другим. Тьма-тьмущая вокруг. Но сугробы немного отбеливают, и если хорошо приглядеться, можно различить невесомые какие-то очертания и догадаться по ним – вот коровий загон, а вот сани с навьюченным на них сеном.

Собаки с беспокойством носятся вокруг загона. Скрипнула дверь, вышли люди. Передний закричал на собак: «У-у-уйс!» – и они разбежались.

Люди стали снимать что-то с сена.

– Табрах, табрах! – торопил один из них, низенький.

Дверь снова отворилась. Вышел рыжебородый великан. В правой руке он держал фонарь. Свет падал на голенища его больших валенок. Нетерпеливо спросил по-русски:

– Где он? Показывайте...

– Мынзы, – ответили ему, торкнулось что-то, брошенное на снег.

– Раздень его. Надо хорошенько обыскать одежду.

Подкладка кожаной куртки под пальцами Эпсе зашуршала. Он тотчас распорол ткань ножом.

– Какая-то бумага... – стал читать вслух. На бланке было написано правильным почерком:

*«Господин генерал, барон Унгерн! Армия отделённого Хакасского государства ждёт Вашей помощи. Из Урянхая до нас – рукой подать.»*

*Надеемся на Ваш скорый приход. Большевицкая власть в Минсуге держится некрепко. Мы, хакасские националисты, договори-*

лись об объединении с казачьим отрядом есаула Оловьева. Готовы ударить на Минсуг одновременно с Вами.

Это письмо везёт Вам, господин барон, надёжный человек, мой сородич Серге. Верьте ему. Он свяжет Вас с золотопромышленником Петрицким. Ждём Вас в Хаза-тайге после наводков.

Председатель Государственной думы отделённой Хакасии П. Почкаев»

– Да, тут не банда, а глубже! – сказал Фёдор. Долго молчали, думали.

– Эх, где ты, Пётр Иванович Жарков? Зачем уехал из аала? Уж ты бы нашёл самый лучший способ выкурить зверя...

– Пичон-абый, открой скорее. Пичон-абый! – голос Тойона за ставней прерывист.

– Ты один? – спрашивает из комнаты Пичон.

– Один, пусть меня поразит Худай... Скорее, Пичон-абый!

В сенях гремит щеколда, приоткрывается наружная дверь. Ровно на ладонь. Дальше не пускает кованая цепь.

– Один я, дядя Пичон... Вы же видите...

– Теперь вижу. Входи. Что там у тебя?

– Серге взят тойманами! – выпаливает Тойон вполголоса, вступая в тёмные сени.

– Ио! – сдавленно вскрикнул Пичон. – Как?

– Сагдай стащил его с коня арканом. Серге не успел выстрелить...

– Ах! – Пичон схватился за сердце. – Откуда узнал? Сам видел? Когда это случилось? Оплошал Серге... Погубил меня, погубил восстание. Письмо, наверно, нашли, прочитали... Не надо терять времени. Надо уйти в Хаза-тайгу. С малыыми силами они туда не сунутся. Быстрее седлай Вороного, он тут, дома, – подтолкнул Пичон племянника на крылечко. – И слушай хорошенько. Знак подашь... Да скажи Марик, что на аал напали белые, она поверит...

Захлопнув дверь на щеколду, он бросился в комнаты. Торопливо надел шубу, шапку, выволок из-под дивана давно приготовленный арчимах.

Услышав возню и грохот, проснулась в своей комнате Марик.

Надёрнув платье, вышла, щуря глаза.

В большой комнате всё было перевёрнуто. По полу разбросаны вещи. Коптил фитиль лампы, вывернутый до отказа.

Пичон, одетый по-дорожному, с арчимахом через плечо, всовывал в барабан нагана патроны. Лицо его было бледно, руки тряслись.

– Одевайся, Марик, – приказал он девушке. – Успеем.

– Куда, дядя Пичон?

– Молчи! И быстрее собирайся.

Марик побледнела, как стенка, к которой она прислонилась.

– Торопись, Марик! – подгонял её Пичон.

За каким-то сараем они остановились.

– Приведи теперь Солового, Тойон, – приказал Пичон. – Ты знаешь, где он стоит...

Тойон растворился во мраке. Ждали молча. Вдруг чуткий слух Марик уловил скрип многих шагов по снегу, сдержанное покашливание. Звуки доносились с той стороны, где стоял дом Большого Фёдора.

– Дядя Пичон, – зашептала девушка, дрожа в страхе, склоняясь к нему с седла. – Они идут, дядя Пичон...

– Молчи! – прохрипел хозяин.

Рядом с другой лошастью вырос Тойон.

– Привёл? О! И под седлом! – похвалил Пичон родича. – Давай поводья...

Он вырвал у Тойона из рук концы уздечки, вскочил на Солового, который выгибал шею колесом, прижимал уши и фыркал, чувствуя в седле чужого.

– Но-но, – дёрнул за поводья Пичон. – Марик, не отставай. А с тобой, Тойон, мы встретимся в Хаза-тайге... Да, вот что. Если Полицев пойдёт нарочного в Минсуг, перехвати с теми двумя... – Последние слова он произнёс вполголоса, так, чтобы их не услышала Марик. – Прощай, Тойон.

И Пичон, слыша за спиной побужку Вороного, погнал иноходца по спуску к Чобату.

– Опоздали... Ускользнул из рук... Эх!.. – Фёдор со злости и досады грохнул кулаком по столу в комнате Пичона. Остальные – Сагдай, Эпсе, Пулат и Сабис – посмотрели на него со страхом.

– Ума не приложу, откуда он мог дознаться? Сорока ему на хвосте принесла, что ли? – грозно гудел Фёдор. Он был взбешён.

– А где девушка, которая у него жила? – спросил он.

Сабис кинулся в комнатушку Марик и увидел смятую постель.

## ГЛАВА 23

Аал Чорбит со всех сторон окружён тайгой. Только с северной стороны тайга негустая. Домики и юрты разбросаны по взгорью над речкой Чор.

Речка бежит в Ахбан, а дорога через Чорбит ведёт в Хаза-тайгу. Отсюда до Хаза-тайги вёрст тридцать, и это трудные вёрсты. Дорога недалеко от аала переходит в тропу, и она то взбирается на гольцы, то спускается в лесистые распадки. Говорят в Чорбите: поселились в Хаза-тайге злые люди, прогоняют по лесу мимо аала в сторону Кюль-тасхыла награбленные косяки коней. Не раз налетали на Чорбит, грабили избы и юрты, увозили с собой

женщин... Недавно налетели, угнали скот. Плохое соседство с Хаза-тайгой...

Молодой месяц над тайгой висит рожками вниз. Около стожка стабунилось семейство косуль. Ноги у них сухопарые, со звонкими копытцами, шеи и головы резные, рожки точёные.

Подкормиться пришли косули. Ходили-ходили вокруг, да и вспрыгнули на самый верх стожка. Замелькали копытца, полетел снег в сторону. Добрались-таки до сенца!

Толкуются на стожке, хрупают травинки-сухарики, трясут рожками, будто приглашают месяц пободаться. Какая-то ночная птица бесшумно села на сухостоину. Козочки её не боятся, у них – пир горой. Но вот старый козёл хрупнул сеном и замер, прислушиваясь. Насторожилась и вся семейка. Косули услышали скрип снега и топот, хиус донёс до них запах людей и коней.

Стожок стоял недалеко от полузанесённой снегопадом дороги, по которой молчаливо ехали верхом двое – мужчина и девушка. Кони добрые, да притомились. Шли они издалека, из степей. Хорошо ещё, что снег был мягкий и не подрезал им щиколотки.

Мужчина озирался по сторонам. Ночью в степи привык он видеть далеко, а тут, в тайге, – только чёрные стволы да густой лапник. Редко-редко где попадается серебристая, залитая лунным светом полянка, и глаз отдохнёт на ней. Но для девушки эти места, видимо, были знакомыми, привычными. Вот она бойко выскочила на своём Вороном вперёд, правя на старую сухую лиственницу со сломанной вершиной. С лиственницы испуганно взмыла, шумно захлопав крыльями, отдохавшая птица.

Косуль на стожке уже не было, их как ветром унесло. Но девушка всё-таки увидела мелькнувшие белые задки.

– Киик, дядя Пичон! – крикнула она, обернувшись к мужчине, ехавшему на Соловом коне.

Они подъехали к стожку и слезли с седел размять ноги.

Соловый и Вороной с жадностью набросились на разгребённое косулями сено. С полянки была видна сливающаяся с тёмно-белёсым ночным небом конусообразная вершина горы. Месяц, казалось, плыл рядом с этой вершиной. Рассыпавшись, зябко дрожали звёзды.

Марик показала на правый склон горы:

– В той стороне наш аал. Теперь отсюда недалеко. Отец сейчас, наверно, дома. Ещё не спят, чай пьют с брусникой, с мёдом...

Пичон сказал хрипло:

– Не забывай, Марик, едем не в гости. Мы беглецы. А белые могут прийти и сюда...

Девушка вздохнула.

Всю прошлую ночь и весь вчерашний день они гнали коней, приближаясь к верховьям Ахбана, пока не достигли того места,

где с большой рекой слился маленький Чор. И всё время Марик думала: «А что же с теми, кто остался в аале? Неужели все погибли? И Сабис тоже?..». Она вспомнила, как они ездили с Сабисом копать сладкие корни, двое на одном коне – на этом вот Соловом...

«Может быть, Сабису удалось спастись?» – билась в груди Марик надежда.

Мысли Марик всё время возвращались к тому, как началось это поспешное бегство из аала. Она не видела белых. О них сказал хозяин. А хозяин не выходил из дому. Узнал про белых от Тойона. А вдруг Тойон ошибся? Может, это Жарков вернулся с красноармейцами? Как бы она хотела, чтобы это так и было на самом деле!.. Но тогда...

Пичон остановил Вороного, долго вглядывался в безмолвную улочку. Марик торопилась, но он не разрешил ей ехать впереди.

– Пуст, что ли, аал? – проговорил Пичон. – Ни одна труба не дымит. Который дом твоего отца, Марик?

– Вон он, вон! – Марик указала на самую крайнюю избушку с юртой, маленьким сарайчиком и таким же сеновалом.

По опушке незаметно подъехали ближе: никаких признаков жизни. Светает, а собаки не лают. Петухи не поют. Коровы не мычат. Её родной домик, заваленный снегом, казался мёртвым.

Пичон слез с коня, она – за ним. Привязав Вороного и Солового поодаль друг от друга к городьбе, вошли в ограду. Всё пусто. Дом не заперт, внутри не топлено. Нежилой...

– Где же Кормас, твой отец? – недоумевал Пичон. – Где все остальные?

Девушку душили слёзы.

Большая юрта темнеет на краю аала. Над её крышей показалась струйка дыма. «Значит, не совсем опустел аал, – соображал Пичон. – Кто же там, в юрте?» Заслышав топот, из юрты выглянул кто-то и снова скрылся. Марик удалось заметить – старик, борода седая, козлиная... Да ведь это Табай, когда-то знаменитый охотник, друг её отца!..

– Агам! Агам! – закричала она.

Дверь юрты снова отворилась, и Табай вышел, вглядываясь слезящимися глазами в приезжих.

– Изен, Табай-ага! – сказала Марик. – Почему в аале пусто?

– Изен, изен... Это ты, Марик? А этого человека что-то не узнаю.

– Пичон-абый это.

– Слышали... Аалсовет кнези аала Собат?

Я... Мин аалсовет кнези, – поколотил себя по груди Пичон.

Старик пригласил нежданных гостей в юрту.

– Замёрзли... Грейтесь, – показал он на очаг. – Какие новости?

– Агам Табай, – обратилась к нему Марик. – Где же отец с матерью?

– Да, да, где Кормас, мой друг? – спросил Пичон.

– В тайгу ушли, – ответил Табай. – Все ушли. Прячутся. Боятся бандитов. Жизни от банды не стало. Хаза-тайга рядом...

– А ты разве не дружишь с Советской властью? – спросил Пичон.

– Стар я... – уклончиво ответил Табай.

– Бандиты-то русские?

– Все хакасы. Хакасов же и грабят. Весь скот дочиста угнали, – старик вытряс из трубки пепел. – А как в вашем аале – спокойно?

Пичон, казалось, не расслышал вопроса. Марик раскрыла было рот, чтобы всё рассказать Табаю, но Пичон строго взглянул на нее: «Молчи».

– Русские ещё не поселились в вашем аале?

– Не было...

– Это пока, – встрепенулся Пичон. – Скоро придут. Хуже, чем бандиты, будут.

– Нет, не обижают русские, – возразил Табай. – Мы на железный завод ходим. Ближе от нас. Там товаров много. Чугунки дают, железо на сани и колёса, подковы для лошадей...

Старик чистил трубку, на Пичона не глядел. Тот, помолчав, спросил:

– Так как проехать к Кормасу?

– Кормас в своей охотничьей избушке. Она найдёт, – Табай показал трубкой на Марик.

Лесную избушку отца Марик нашла, когда они густым лесом уже к полудню пробрались в верховья Чора. Избушка стояла у реки, заваленная снегом, и тоже казалась мёртвой. Обычное охотничье жильё. Таёжники расходились отсюда в поисках зверя, потом собирались. Вместо стёкол в двух окнах – льдины. Пол земляной. Тут же очаг. Вместо трубы – дыра прямо вверх. Но всё это Пичон разглядел потом. А пока чёрная лайка с белым пятном на груди и загнутым хвостом дала знать хозяину о приезжих.

Выскочил Кормас, здоровенный мужчина лет сорока пяти, светлобровый, сероглазый, в унтах и рваной полудошке из козьего меха. Настороженно вглядываясь в путников, он часто мигал.

– Паба! – протяжно крикнула Марик. Скинула скорей шаль, разбросала косички. – Паба!

Кормас, проваливаясь в снегу, подбежал к дочке, помог ей сойти с седла, прижал к груди. Потом, словно стыдясь своего чувства, пошёл поздороваться к Пичону, радостно ему подал руку.

Давнее знакомство связывало Кормаса с Пичоном. Когда-то они вместе хаживали бить сохатых в Хаза-тайгу. Пичон расспрашивал о дороге в Урянхай по Ахбану, и Кормас показал ему охотничьи тропы. Пичон не таил, что отец его был крупный скотопромыш-

ленник и гнал из Урянхая в хакасские степи скот – сарлыков и курдючных овец. Гнал кружным Усинским трактом. А Пичон искал более короткого пути в Урянхай – через главный Саянский хребет. Он не говорил, зачем ему этот путь, Кормас не спрашивал. Учёный человек знает, что делает. Кормас сводил его и на Джебаш, и на Большой Он, показал зимнюю дорогу до перевала по руслам этих таёжных речек. Рассказал, в каких местах стоят зверовые избушки.

Тогда, прощаясь, Пичон просил у него Марик в воспитанницы. Кормас согласился, хотел, чтобы дочка научилась грамоте, русскому языку. И ещё была причина отправить Марик к другу Пичону: у Кормаса вторая жена – мачеха Марик. Девочку она не любила, нередко обижала...

Пичон и с Кормасом хитрил так же, как со старым Табаем. Но Кормасу он сказал всё же, что в далёком аале Собат поднялась паника. Белые пришли, дескать, но неизвестно, сколько продержатся. Конечно, ему, председателю аалсовета, расправа грозила в первую очередь. Но не за себя он опасался, а за Марик. Считал за лучшее привезти её к отцу. Однако здесь тоже беспокойно.

Многих увели из Чорбита в Хаза-тайгу, – рассказывал Кормас. – Табая пороли шомполами. Угнали весь скот и некоторых женщин, не успевших спрятаться. И её мачеху...

По щекам и бороде охотника потекли слёзы.

Пичон рассчитывает на верность Кормаса. Нужен ему такой человек: привыкший к тайге, сильный, на медведя с одним ножом хаживал. Если его, Пичона, и Хаза-тайга не защитит – уйдёт с Кормасом и Марик за Саянский Камень.

Кормас не знает, как удобнее устроить старого друга, чем угостить. Достал из лабаза, устроенного на дереве, тушу косули, разрубил, положил в казан. Принёс мороженого тайменя, приготовил строганину. Сел рядом с Пичоном за стол, напротив усадил дочь. И не поймёшь, кому из них он больше рад.

Нет, он, Кормас, не отсиживается здесь, в звероловной избушке, от налётов из Хаза-тайги. Просто он обдумывает, как выручить свою жену – мачеху Марик. А когда подойдёт пора – станет действовать. Ружьё у него – то, что стоит в углу, на сошках, – испытанное, нож за поясом – острый, лыжи – быстрые. Теперь, вдвоём с другом Пичоном, он что-нибудь скорее придумает...

## ГЛАВА 24

Солнце показало свой край из-за утёсистой горы над Ахбаном. Снег горит розовым пламенем. По нему ползёт человек в жёлтом полушубке, красноармейском шлеме, из которого торчат клочья ваты. Ползёт он, опираясь на руки и левое колено. Правая нога во-

лочится. На штанине выше колена – сплошная корка: кровь смёрзлась со снегом. Руки – в истёртых чёрных варежках, на которых ещё заметен узор, вышитый гарусом.

Всё труднее и труднее ползти. Вот человек выбросил вперёд одну руку, другую, попытался опереться на них, но руки по локоть утонули в снегу. Дёрнулись плечи, согнулось и подтянулось здоровое колено. Волоча раненую ногу, как бревно, человек переместился вперёд на аршин, уронил голову. Ползти дальше не хватало сил, заходило сердце. Долго он лежал так, пытаясь унять сердцебиение, хватая запекшимися губами снег. Наконец опять оперся на руки, с усилием поднял голову повыше.

И тут он увидел, что лежит у подножия курганного камня. Торчащий из снега красновато-серый, зернистый, с зеленоватыми потёками присохшего лишайника камень этот смотрел на раненого человеческими глазами.

Когда солнце наполовину вышло из-за скалы, вдруг словно бы шевельнулись брови, дёрнулись губы высеченного на камне широкоскулого раскосого лица. Оно, усмехаясь, глядело на солнечное полукружье и на человека, приползшего к кургану: «А всё-таки ещё не день, и ты не дополз до аала. Ты останешься здесь и не увидишь больше ни друзей, ни близких, ни солнца. Сил у тебя уже нет. Сейчас тебя оледенит мороз. И я буду сторожить твои останки так же верно, как сторожу кости всех закрытых под этим курганом...».

Но к человеку, доползшему до курганного камня, видимо, вернулись силы. Он сделал рывок руками, ухватился за шершавый гранит и попытался встать. Сначала это долго ему не удавалось, всякий раз он, приподнявшись, соскальзывал вниз. Наконец, найдя для здоровой ступни твёрдую опору и перебираясь руками вверх по изломам камня, он поднялся во весь рост. Стоял, обнявшись с древним изваянием, ощущая холод, идущий от гранита.

Аал был тут, совсем рядом с Хара-Кургеном. А как до него доползти?

Человек увидел чёрную шевелящуюся массу, поднимающуюся с той стороны косогора, – овечью отару. В середине рассыпанных по зимнему пастбищу овец шла в сборчатой чёрной шубе, в тёплом полушалке, с ярлыгой в руке невысокая чабанка.

В груди звучно и радостно встрепенулось сердце. Человек поднял руку и крикнул:

– Кнай! Кнайях!..

На это ушли его последние силы. Всё ещё цепляясь другой рукой за камень, он оседал ниже и ниже.

Но девушка услышала крик и рванулась к Хара-Кургену. В это время солнце совсем выкатилось из-за утёса. Изваяние покраснело.

Обнаружив, что Пичон исчез и вместе с ним исчезла Марик,

Фёдор, яростно чертыхаясь и обзывая себя последним растяпой, принялся обыскивать дом. Под кроватью Пичона оказался люк в подполье. Там нашли спрятанные ружья, патроны, гранаты. Когда связки винтовок и цинки с патронами подняли вверх, Фёдор принялся вооружать пришедших с ним мужчин. Прежде чем взять винтовку, Пулат не один раз потербил себя за ухо, пострадавшее при давнем неудачном выстреле. Каной зачем-то понюхал дульное отверстие.

– Убежал, хаарган!.. – сплюнул сквозь редкие зубы Сагдай, сжимая обрез, тот самый, из которого Серге хотел его убить. Догонять Пичона было бесполезно: ищи ветра в поле!

Фёдор послал Каню в соседние аалы за подмогой. Эпсе и Сагдай он отозвал в сторону, долго с ними совещался вполголоса.

– Решено, – сказал он наконец. – Вы двое и поедете в Минусинск. Отдашь, Эпсе, Губенкову пакет. В нём письмо Пичона Унгерну. Скажи в ревкоме – надо быстрее уничтожить бандитское гнездо в Хаза-тайге... В пути – осторожнее!..

– Кто нападёт? – возразил Эпсе. – Давай пакет..

Зимой ездят в Минусинск только по Ахбану, который, выйдя на степную равнину, разветвляется на протоки, образует острова, заросшие густым ивняком, тополями. К Ахбану подступают горы, обрываясь отвесными скалами. Ахбан петляет.

Эпсе и Сагдай поехали не рекой, а другой дорогой. Неподальёку от аала ждала их во главе с Тойоном засада. Она начала погоню.

Первое время Сагдай и Эпсе не обнаруживали за собой преследователей, так как бандиты и не стремились нападать на них вблизи аала. И только далеко за Хара-Кургенем услышали сзади конское ржание и окрик. Уйти от наседавшей погони было непросто.

Эпсе вдруг выхватил из-за пазухи пакет и, поравнявшись с Сагдаем, протянул ему.

– Бери. Скачи в Минсуг. Тебя конь лучше слушается..

Он силой всунул пакет в руку Сагдая. Потом натянул поводья и остановил своего коня. Спешился кавалерийским приёмом, перенятым от Жаркова, уложил коня поперёк дороги и лёг за ним, выставив наган.

В белёсом сумраке ночи приближались, росли зыбкие фигуры преследователей. Стараясь унять часто-часто забившееся сердце, Эпсе выстрелил раз, другой, третий. Взвизгнул и встал на дыбы раненый конь под одним из бандитов. Осадили и остальные двое.

«Скачи, Сагдай, скачи», – шептали непослушные губы Эпсе. Стиснув зубы, он вёл огонь. Расстрелял все пять зарядов и вложил в барабан новые патроны. Бандиты рассеялись по сторонам, отвечая ему выстрелами. Пулей распорол шлем, второй – ранило коня. Эпсе не смог удержать его, конь вскочил и понёсся куда-то во

мглу. И тут пуля ударила оставшегося лежать Эпсе в бедро, выше колена. Бандиты припустили верхом за убежавшим конём. Эпсе не сомневался, что они вернуться, как только обнаружат ошибку, а Сагдая им уже не догнать. Он пополз по снегу, стараясь найти рытвину, куда бы можно было забиться. И нашёл. Тут проходила оросительная канава, борта её возвышались над степью, и снег образовал на них валы. Перебравшись через снеговой вал, раненый скатился на дно канавы. Осенью из неё не спустили воду, и она замёрзла. А потом, уже зимой, кто-то поднял затвор оросительной перемычки. Из-под льда ушла и последняя оставшаяся вода. Кое-где лёд был пробит копытами табунных коней. Ища надёжного укрытия, продвигающийся ползком Эпсе рухнул как раз в такое углубление и пополз подо льдом.

Он слышал, как там, наверху, совещались вернувшиеся бандиты.

– Вот след тоймана, – указывал один.

– Кан... Кровь! – обрадовался другой. – Он ранен. Далеко не уйдёт.

Может, это кровь лошади, – возразил другой, и Эпсе безошибочно узнал голос – Тойон!

– Проверим, – отозвался тот, который обрадовался крови.

Заскрипели шаги. Теперь голоса доносились от пролома во льду.

– Как туда сунешься к нему? Ещё выстрелит.

– Подыхать полез.

– Разобьем лёд, достанем, – предложил Тойон.

– Канава длинная. Весь не разобьёшь, – возразили ему. – Да и неизвестно, в какой он стороне...

Так они препирались довольно долго. Эпсе боялся шевельнуться, чтобы шорохом не обнаружить себя.

– Эй ты, тойман! – донёсся до него окрик. – Айна тебя возьми...

Нам некогда с тобой в прятки играть. Если ещё не сдох, живи. Но знай – мы придём в аал, будем вашей кровью юрты мазать.

В стылый снежный наст ударили копыта, и всё смолкло. Но Эпсе долго лежал, не шевелясь...

В аал вернулись обозники, проездившие, ни много ни мало, неделю. Хоортай подъехал к своей ограде в санях с какой-то поклажей, закрытой дохой Хапына.

Весь закуржавел Хоортай-ага за долгий путь от Минсуга до аала. Кудрявый иней на бороде и ресницах, сосульки на усах. Но зато левый глаз его подмигивал всем встречным. Всё-таки не по-пичоновому вышло.

А ещё в Минсуг приехал Сагдай с пакетом для Губенкова. Встретившись с Хоортаем, зять ему всё рассказал: и как Пичон убежал от ареста, и как Эпсе остался в степи отстреливаться от бандитов.

Сагдая в Минсуге Жарков задержал. Сказал – дело есть, а какое – говорить никому не велел.

Сильно об Эпсе Сагдай беспокоился – жив ли оол. Хоортай по дороге узнал – жив. Степные новости далеко известны. Встречные рассказали. Одного только не знал старик – что Эпсе тут, в избе зятя.

Каждый день навещали раненого Фёдор и Варя. Вот и сейчас они оказались возле его постели. В закуржавелом тулупе вошёл Хоортай. Внучка, Кнай, подскочила к нему:

– Ой, апсах! Ты же замёрз. Раздевайся. Садись к столу. Вот чай горячий.

Старик искоса посмотрел на Эпсе, погрозил внучке пальцем. Его засыпали вопросами – о Сагдае, о городе Минсуге. Ответы старика успокоили всех. Потом он, что-то вспомнив, быстро поднялся, показал на дверь и поманил Варю:

– Тебе Минсуг послал... Много...

Полынцева поспешила за ним. Вместе с Хоортаем они вытащили два ящика. В одном были тетради, карандаши, ручки, потрёпанные буквари.

– Прислал сам начальник Минсуга. А тут лекарства, – показал старик на другой ящик.

Хоортай сел за стол, дул на горячий чай. Пил, обжигаясь.

– А скажи, Хоортай Мангирович, как это Хапынова доха попала к тебе в сани? Да ведь Хапын сам вроде уезжал с обозом. Почему он оказался в аале прежде всех?

Хоортай сообщил, что Хапын вернулся с дороги пешком, ещё в самом начале поездки. Подводу же свою поручил ему, Хоортаю. Доху дал...

– Удивительно! – покачал головой Фёдор. – Чего ж это он не поехал?

– Заболел, говорит. Только врал Хапын.

– Врал, – подтвердил Фёдор. – Не для города этот обоз готовили они с Пичоном. Для Хаза-тайги... Его бандиты в пути собирались отбить. Хапын знал...

– Это я в Минсуге понял. Там Губенков подошёл ко мне, сел рядом. «Зачем, – говорит, – резал последний корова?» – «Наш председатель аалсовета велел», – отвечаю ему. А он: «А остальные тоже резали последний корова?» – «Да, – говорю, – Тирнук, Пулат, Апах – все последний корова резали...» Тут зашли к начальнику Минсуга Жарков и Сагдай. «Ты же в аале был, табун пас, – говорю Сагдаю. – Как сюда попал?» Он молчит, а Жарков подталкивает его к Губенкову: «Этот аргыс перехватил бандитского... этого самого...» – Хоортай запнулся, забыв слово.

– Свяznego, – подсказал Эпсе.

– Айна, всё равно! – рассердился Хоортай. – Губенков Сагдая за руку брал, долго тряс, хвалил: «Смелый, – говорит, – аргыс, верный».

Потом Губенков с Жарковым смотрели ту бумагу, которую ты послал, а мы разговаривали с Сагдаем. И я всё узнал. Сагдая оставили, а мне велели домой ехать, тебе другую бумагу везти. Вот она... Возьми... Только я знаю и так. Зачем читать? Пишет тебе, чтобы собрал со всех соседних аалов охотников. Чтоб были с лыжами и оружием...

## ГЛАВА 25

В эту полночь сошёл на нет месяц большого мороза, декабрь, и начался месяц ветров – январь. Двадцатый год двадцать первым сменился.

Люди далёкого аала месяцы ещё называют по-народному, но вот года числят уже по-другому, не так, как прежде, когда двенадцатилетний цикл вместе образовывали год Мыши, год Коровы, год Лисицы, год Журавля... Даже Хапыну не нужны теперь дедовские названия. Всё равно, будь наступающий год годом Коровы, Лошади или там годом Овцы, – зачем Хапыну умножать стада, косяки и отары, если не сегодня-завтра снова придут отбирать скот? А то, что останется, некому будет передать. Наследник Тойон ушёл с Пичоном, поднял оружие на красных, пролил кровь двязыкого Эпсе, который слушает хакасскую речь и передаёт её русскими словами. Вернётся ли Тойон? Сумеет ли теперь Пичон отделить Хакасию от Советов?

Тапчи в углу сечкой рубит мясо. Куски его летят на пол, Тапчи их подбирает и кладёт снова в корыто.

– Самой приходится, – ворчит Тапчи. – Ату тоже отказалась работать... Ключи от амбара забрали. Овёс тащат. Муки целый сусек выгребли... Ой, Хапын, Хапын...

– Помолчи, женщина... – Хапын приподнялся на кошме. – Пусть ушёл сын. Пусть отберут скотину, дом. У нас ещё кое-что останется. Есть «жёлтый жеребец»... В той шкатулке... Все годы копил. Много... Дай мне лампу, спущусь, перепрячу надёжнее. Он поднялся с кошмы, шагнул к западне, закрывающей лаз в подполье. Воздух в подполье гнилой, затхлый, пахнет мышами, сверху свешивается паутина.

Хапын нашёл в стене камень, нажал на него, и камень повернулся. Хапын просунул руку в отверстие.

Но вдруг на лбу его выступил пот. Лампа заплясала в руке Хапына. Другая рука снова шарит в тайнике и натывается там только на камень стенок. Он содрал кожу на пальцах, обломал ногти, но так и не нашёл шкатулки. «Жёлтый жеребец» ускакал и следов не оставил. Хапын шатается, будто оглушённый обухом по темени.

– Тойонын холы, – бормочет он и зовёт Тапчи. – Мында, мында...

Смотри, ты сейчас плакала, Тойона жалела, кучугес. Он обокрал родного отца!..

Белёвые крылья новогодней ночи... Кружит на них семизвездье Читигена над степными и таёжными аалами, над оледенелыми реками, над заснеженными лесами. Передвинулся хвост семизвездья. Место, над которым он повис, – узел горных хребтов. Заходят хребты один за другой, как скобки. А ещё напоминают они собой глубокую глазную орбиту. Только вместо глаза в ней – озеро Кюль-тасхыл. Застыло озеро, забросала его горная пурга снегом, словно бельмом затянулся зрачок. Но мерцание Читигена отражается в незамерзающем водовороте со стороны отвесной скалы.

Поодаль от землянок, в глубине лесной опушки, – единственная в Хаза-тайге изба. Она срублена для Серге, но сейчас в ней живёт Харбинка. Светится окошко. Из трубы валит дым с искрами. Возле крыльца привязан осёдланный конь. Он тоже нюхает воздух и поводит ушами. Из леса к нему доносится слабое, какое-то тоскливое ржание. Оно будто знакомо. Осёдланный конь тоже ржёт. Это Соловьи, на котором приехал в Хаза-тайгу Пичон от избышки Кормаса. Сказал тому, что поедет по хаза-тайгинской дороге и постарается выведать, что там за банда. Кормас поверил...

В избе перед печкой сидит на корточках Харбинка, колет топором листовенничные кругляки и подкладывает в огонь. Печка стреляет искрами ему в бороду.

Пичон ходит по избе, и от этого колеблется язычок пламени в светильнике, заправленном медвежьим жиром. Сейчас у него одна дума. Хаза-тайга его прикроет лишь временно. Да, он, Пичон, не уйдёт и отсюда, из Хаза-тайги, без боя. Природная крепость почти неприступна. Войско в ней обучено, во главе его – смелый и знающий своё дело русский, колчаковец Самохвалов. Пусть красные попробуют осадить Хаза-тайгу!..

– Держитесь изо всех сил, – говорит Пичон. – На выручку придёт Унгерн.

Семизвёздный Читиген всё ещё совершает свой кругооборот в новогоднем ночном небе. Оглобля его показывает через хакасскую степь на Хаза-тайгу, а сам воз повис над Минсугом, над зданием ревкома. Два ряда тёмных окон в нём, и только в трёх – свет. В остальных, затянутых морозной плёнкой, скупо отражаются звёзды.

В приёмной председателя ревкома горит тусклая электрическая лампочка. На стуле – милиционер. Форма на милиционере ещё совсем новая и сидит топорно. Защитная гимнастёрка и брюки галифе – всё как полагается. Вот только на ногах не валенки, а маймахи.

Это – Сагдай, вступивший здесь, в Минсуге, в отряд уездной милиции, которым командует Жарков. Долго беседовал Жарков

с Сагдаем после того, как тот доставил пакет. Он, Жарков, давно знает Сагдая и считает, что его место – в конной милиции. И вот в новогоднюю ночь Сагдай – на посту.

Он старается думать только о том, как лучше выполнить приказ Жаркова – охраняя кабинет председателя ревкома, быть начеку. Но разве отгонишь мысли о доме, о семье, о конях? В Минсуг стянуты крупные силы краснозвёздных альтов, на всех улицах – патрули. Настанет день, и отряды из Минсуга пойдут на Хаза-тайгу. А проводником их будет он, Сагдай. Жарков велел ему готовиться...

Ревком охраняет не только Сагдай. Посты расставлены снаружи и у входов на каждый этаж. Губенков может работать спокойно. Засиделся за полночь. Из кабинета доносится его покашливание, приглушённый голос. Звонит ящичек, что стоит на столе председателя. Если после звонка снять с рогульки трубку и приложить к уху, можно услышать чей-нибудь голос. Новые товарищи из отряда милиции объясняли Сагдаю, как голос попадает в ящичек, а потом в трубку, но он не понял – не учён.

И теперь он старается догадаться, с кем говорит за стенкой Губенков. «Может, с самим Лениным? – осеняет Сагдая. – Он рассказывает ему, как трудно устанавливать в аалах советские порядки и отбиваться от банд...»

Наверно, Ленин у себя в Москве сидит около такого же ящичка и щурит один глаз, как на картинке, которая висит в кабинете Губенкова.

Что бы сказал Ленину сам Сагдай? «Мы, аргыс Ленин, сделаем такую жизнь, к которой ты нас зовёшь».

И, может быть, услышав это, Ленин так ответит Сагдаю: «Я верю вам. Желая вам скорее покончить с бандами в Минсугском уезде. А потом вы и железную дорогу от Ачинска до Минсуга проведёте, и Кара-Таг – Чёрная гора – даст каменный уголь, и всех до одного баев народ прогонит... А ещё желаю, чтобы новый год назывался в Хакасии Кизи-чылы – годом Человека...»

– Кизи-чылы, – говорит Сагдай вслух, не замечая, что Губенков открыл дверь и остановился, разглядывая его, нового постового. – Кизи-чылы!..

– Вы что-то сказали, товарищ? – спрашивает Губенков.

Смущённо моргая, Сагдай глядит на председателя ревкома. У того усталый взгляд, в глазах желтизна, ещё выше поднялись залысины на лбу. Но осанка статная, военная, хотя Губенков и носит пиджак. Борта пиджака разошлись, видна косоворотка, перепоясанная ремешком. Заложил за ремешки пальцы, покачивает угловатыми плечами, ждёт от Сагдая ответа.

– Мин говорил – «кизи-чылы», – произносит наконец Сагдай. – Наши люди называй каждый год. Есть Чылгы-чылы – год Лошади, есть год Овцы, год Журавля. Бывает год Мыши, год Змеи... Этот

год мин называй – год Человека... Банды прогнать, баев прогнать. Коммуну в далёком аале сделать – бедный человек хорошо жить станет. Хороший год Кизи-чылы...

## ГЛАВА 26

Варя всей душой старается научить хакасских мальчишек и девочек русской грамоте, да вот плохо это у неё получается. И Онис на помощь призвала, а всё равно толку мало. Повесила на доску картинку, из тех, что привёз Хоортай вместе с книжками и тетрадками. Рыбка нарисована. Новое русское слово должны узнать сегодня ребятишки. Спросила, что это на картинке? Онис перевела вопрос. Тянут ученики ручонки.

– Скажи ты, Каскар, – кивает Варя узкоплечему заморышу, пришедшему в материной кофте. Блеснув чёрными глазёнками, Каскар выпаливает:

– Алапуга...

– Чох алапуга, – возражает дочка Онис Таанах. – Пазыр...

– Чох алапуга, чох пазыр, – кричат другие ребятишки. – Хамнах...

– Чох хамнах... Хоора!

Ребятишки не виноваты. Это рыба так нарисована, что её можно принять и за окуня, и за карася, и за сорожку, и за хариуса. А Варю надо, чтобы они сказали по-хакасски «рыба».

Её выручает Онис.

– Балык, – говорит она. – «Балык» – рыба.

Слово «рыба» Варя пишет на доске. Белая эта доска, а слово на ней получается чёрное, потому что Варя пишет древесным углем. Мела в школе нет.

– Таанах, скажи, что я тут написала.

Круглолицая девочка с бровями-полумесяцами, с глазами, как две миндалины, отводит со лба смоляные косички.

– Ты написала «ры-па».

– «Ры-па», «ры-па», – повторяет хором весь класс.

– Неправильно, дети. Надо «ры-ба»! Прислушайтесь ко мне, где же здесь звук «п»?

Ребятишки остолбенело глядят на Варю, потом опять бормочут: «Ры-па».

– Не получается, – заявляет Варю Онис. – Пусть говорят «рыпа».

– Если говорить неправильно, и писать станут неправильно, – настаивает Варя.

– Тогда переделывай их, – смеётся Онис.

– Ладно! – машет рукой Варя. – Говорите, как получается, только запоминайте, как писать по-русски.

Замучилась Варя и ребятишек замучила, когда дошли до слов

«город», «стена», «ключ», «кошка». Никто из них не произнёс так, как она. А большинство ребятишек и написало так, как выговаривало: «корат», «стене», «клюс», «коска».

– Плохо я учу, – пожаловалась Варя, отпустив ребятишек на перемену. – Ничего у меня не получается.

– Они – хакасские дети, – отозвалась подруга. – Откуда знали русских? Поп ездил – не учил, купес – не учил, белый казак – не учил. Ты и Пёдор – первые из людей орыс – аалу всё равно что родные. Ты учи их больше. Я тебе помогай... Ты, Варвара, многа сделал. Ребятишки пуквы знай, мало-мало русски говори...

– От моей Зойки больше перенимают, чем от меня, – вздохнула Варя.

– Они вместе играй, – поддакнула Онис.

– Сюда бы настоящую учительницу! Чтоб подход к ним знала и все там учительские премудрости. А мне как самой до этого всего дойти?.. И учить бы их надо не только нашей, но и вашей грамоте...

– Нашей грамоте нет, – отрезала Онис. – Никогда не было.

– Постой, Онис! – встрепенулась Варя. – Как это никогда не было? Ты сама показывала мне какие-то слова, вырубленные на Хара-Кургене...

– Тот народ давно умер, грамота с ним ушла...

– А как же сказки, которые целыми ночами рассказывают ваши старики? Разве они нигде не записаны?

– Наши хайджи говорят сказки на память. От деда к внуку, от отца к сыну сказки переходят...

– Но ведь этак можно забыть.

– У народа память крепкая.

– А лучше, когда и память, и грамота!

...В морозный полдень Зойка возвращается из школы домой вместе с матерью. Старается шагать по тропинке, протоптанной в сугробах, такими же шагами, как Варя. Легко Зойкиным молоденьким ножкам в овчинных маймахах. Это – обновка.

Недавно пришла Домна и протянула девочке обувку. «Бери, подаркам...» Как загорелись тогда глаза Зойки! Маймахи-то ведь не простые – вышивкой украшены. Красные, синие, зелёные извивы хакасского орнамента пущены по голенищам. Тут и разноцветные дорожки, и зубчики, и листочки. А сунешь ноги в маймахи – тепло в них, как в печке, и мягко. Мать не знала, как и отблагодарить Домну за такую радость. За стол усадила, чаем крутой заварки потчевала. После шестого блюдечка щёки Домны залоснились. Она вышла из-за стола, потрепала Зойку за белокурые прядки и сказала Варе, указывая на девочку:

– Твой хороший хызычах, белый козлёнок... Маймахи есть – рукавицы надо... Однако ниток не хватай. Мой бульшуха Кнай нитки вытаскал...

Варя отдала Домне весь свой запас цветных ниток, спустя некоторое время та принесла Зойке ещё и вышитые рукавички. Вот поэтому у Зойки радуга на ногах и на руках. Подружка Таанах, как придёт к ней, глаз не сводит с вышитых Домной маймахов и рукавичек. Погладит их, вздохнёт, а ничего не скажет.

Поспеваает Зойка за матерью по снеговой тропинке, маймахами притопывает, рукавичками похлопывает. Пальтишко ей мать сама сшила, распоров свой плюшевый жакет. Вытянулась Зойка ростом, а ткани ей на пальто нигде не купишь. Перешитый жакет и выручил девочку. Ворсинки заиндевели на морозе. Заиндевела и старенькая серая шаль, которой повязывается Зойка. Будто осыпанная снежком, идёт девочка, но она тепло одета, розовеют её щёки. Кожа холодная, и покалывает её, словно иголками, да под ней огонь. Зойка напоминает разрисованную куклу-матрёшку: тут – узоры, разводы, там – розовые пятна.

– Мам, – звонко щебечет она, приоткрыв рот, полный мелких белых кварцевых окатышей. – Ты мне скажи, пустишь меня кататься на соорах?

– На чём, дочка?

– На соорах... Ну, по-нашему, на санках. Мы будем во-он там, на Ах-тигее... – Она показывает на белый бугор над Чобатом. – Вчера Сабис обещал прикатить большие сани. Мы все уместимся – и Каскар, и Таанах, и Мансар... Все соберутся... Я уже два раза каталась...

– А не страшно с такой горы лететь вниз? Ещё перевернутся ваши сооры...

– Не перевернутся. Они широкие.

– А кто их завозить будет обратно?

– Мы сами. И Сабис...

– Ему, поди, не до того, дочка. Сабис – большой. Он – табунщик.

– Так он же сейчас не пасёт. Бросил...

– У Сабиса ведь горе. Марик пропала...

– Мне жалко Марик, – вздыхает Зойка. – Она играла со мной. Помнишь, мам, когда весь народ собирался в ограде у Хапына?

– Как же...

– А Сабис, мама, выходит теперь к мальчишкам и девчонкам на Ах-тигей. Помогает сани затаскивать на самый верх. И сам катается...

– Может, с вами ему и легче...

– Не знаю...

Зойка умолкла. Поскрипывают её маймахи и Варины пимы.

Вдруг девочка вскинула на мать глаза:

– Сабис обязательно разыщет Марик! Как алып Алтын-Хус разыскивал свою невесту Хызыл-Гюльгу...

– Какой Алтын-Хус, Зоенька? – удивилась мать. – От кого ты это знаешь?

– А дедушка Хоортай рассказывал сказку про Алтын-Хуса, как он всех врагов победил и женился на Хызыл-Гюльгу.. Сабис ведь тоже женится на Марик, правда, мам?

– Ох, Зойка, дотошная ты...

– А я знаю – женится. Когда Сабис не слышал той сказки, он всё хмурился. А как дедушка Хоортай рассказал про Алтын-Хуса, тут Сабис улыбаться начал, а потом сказал Таанах и мне: «Приходите каждый день на Ах-тигей, будем кататься на соорах...». Ты меня пустишь, мама?

Медленно шагает рядом с дочкой Варя. Скрипит на ней задушевный от холода полшубок.

«В трудное время растут, – думает она. – Жизнь вроде на хорошее поворачивается. Да ведь как бывает! Недаром говорят: солнышко на лето, зима на мороз. Вражин сколько кругом! Вон Сабиса чуть не осиротили, когда напали на Сагдая... Не дай бог, что с нами случится, как тогда Зойка одна останется?..»

Вдоволь накаталась Зойка с горы на хакасских санях. Ребятишек в них набивалась куча мала. Сабис садился последним. Он сталкивал сани с макушки горы и правил ими во время быстрого спуска по склону. Всем было весело и чуточку страшно, когда ветер со свистом нёсся навстречу саням, осыпая ребятишек блестящей на закатном солнце снежной пылью.

Домой Зойка пришла в сумерки. Она удивилась тому, что перед крыльцом стоят чьи-то кони, выпряженные и привязанные к саням и кошёвкам. Спины коней покрыты попонами. Мать, раскрасневшаяся от печного жара, металась на узком пространстве между плитой и шкафчиком с посудой. Отец, занявший собой полкухни, нёс к столу вскипевший медный самовар-полуведерник. Самовар парил, и отец, чтобы не ошпариться горячей струёй, держал его на вытянутых руках. На вешалке – гора полшубков и шинелей, за столом сидят гости. Пётр Иванович Жарков – волосы ёжиком, гимнастёрка тёмно-зелёная, на груди поперёк три малиновые полосы, на каждом рукаве по такой же полоске. Пётр Иванович всполошился:

– Батюшки светы! Заговорились, а самую главную хозяйку и не заметили. А она – вот она, проскользнула, как мышка. Здравствуй, Зойка, давно тебя не видел. Выросла ты. Вот, держи гостинец... – шагнув, Пётр Иванович протянул девчужке кулёк.

Теперь все приезжие уставились на Зойку. Ну что в ней такого, удивляется девочка, чтобы взрослые люди оставили свой разговор и заинтересовались её, Зойкиными, делами? Наперебой заговаривают, шутят с ней. Даже очень строгий носатый человек, одетый, как и отец, в пиджак, улыбнулся ей. Кто он? Почему все, даже сияющий командирскими нашивками Пётр Иванович, внимательно прислушиваются к каждому его слову? Зойка услышала его

фамилию – товарищ Губенков. Насторожилась, услышав название «Хаза-тайга». Знает, что там живут бандиты и туда убежали Пичон и Тойон. Пичон, оказывается, самый главный бандит. Недаром она всегда его боялась.

– Из Хаза-тайги, – говорит Губенков, – был послан ещё один связной в Монголию. Красный дозор захватил его на нашей границе уже на обратном пути. На допросе признался, что был у Дикого барона...

Зойкины бровки, как два стрижа, взлетели вверх. Про какого барана толкуют за столом? И зачем бандитам посылать связного к дикому барану? Но тут Пётр Иванович вставляет: «Барон Унгерн командует недобитыми семёновцами. Богдыхана монгольского, свергнутого, на престоле восстановил. Пытался прорваться в наше Забайкалье. А теперь собирается нанести нам удар в направлении Алтая. Через Хакасию, значит... Чтобы вновь, с помощью япошек, Сибирь отторгнуть, а там и на Москву пойти. Вон какие аппетиты у генерала-барона...».

– Тятя, – не выдержала Зойка, – а тятя? Почему баран?

За столом грохнул такой смех, что лампа, висящая вверху, замигала. Больше всех смеялся Пётр Иванович.

– Баран, – повторял он за Зойкой, приставив руки к вискам.

– Вот с такими рогами...

– Не мешайся-ка в разговор взрослых, – одёрнул Фёдор дочку. – Вы уж извините, товарищ Губенков.

Зойку отправили спать. За столом начались воспоминания. Говорили о Петре Ефимовиче Щетинкине, с которым вместе и Губенков, и Жарков, и Полынцев проделали в девятнадцатом тяжёлый таёжный поход.

– Где-то сейчас? – проговорил Фёдор.

– В Монголии. Помогает товарищу Сухэ-Батору гнать японских наймитов. Да и с этим бароном ещё будет возни у Петра Ефимовича, – повернулся Губенков к Фёдору. – С Унгерна рога не просто сшибить. Учёный барон, родовитый. А обличием, говорят, похож на бывшего царя Николашку Второго. И сам не в цари ли метит? Но, хоть и трудно, а справиться надо и с Унгерном. А пока у себя порядок наводить будем. Уполномочен организовать у вас и партийную ячейку. Другое время настаёт...

Слышали, Полынцев, готовится десятый съезд РКП(б)? Продразвёрстку заменят натуральным налогом. Товарищ Ленин хочет поскорее видеть страну богатой и сильной, и чтобы каждый в этом был заинтересован. Постепенно поднимем село, заведём сильную промышленность. Вот тогда и подойдём к социализму. Вот так. Ну, а что у вас? Какие настроения?

...Наутро Фёдор ушёл из дома вместе с Губенковым, Жарковым и милиционерами и не появился в обед. Только в потёмках вернул-

ся он. Нетерпеливо насаживал на вилку поджаренную картошку, торопливо жевал. Отрывисто рассказывал Варе:

– Пётр Иванович занял под штаб дом Пичона. Милицionеров разослал по аалам вербовать добровольцев в отряд. Не обороняться от бандитов теперь будем, а наступать на них... Ликвидировать Пичона – и точка... Сагдай Жаркову – первый помощник...

Про Губенкова сказал:

– Насчёт бедноты и середняков прицел у него далёкий.

О коммуне толкует. Чтоб вместе, сообща... Говорит, что эти самые артельные хозяйства в деревнях партия имела в виду ещё в октябре семнадцатого года. Оно как раз в лад приходится с моими думками...

## ГЛАВА 27

В подполье под домом Аларчона серый мрак. Совсем немного света проникает туда сквозь узкие щели. По углам слышны шорохи, писк – то возьмётся мыши. От дальней стены подполья доносится тягучий ритмичный звук – храпит спящий человек.

Вверху приоткрылась и стукнула западня. В подполье стало светлее. Разбежались и попрятались мыши. Из западни показались сначала ноги, потом туловище, наконец, плечи и голова – сам хозяин дома сходил по лестнице. В руках он держал глубокую глиняную миску, над которой клубился белый парок.

Человек, лежавший у дальней стены подполья на кошмах, наваленных одна на другую, сел, зевнул, почесал грудь.

– Это ты, Аларчон-абый? – спросил он на всякий случай.

– Я, Тойон. Еду тебе принёс. А ты чутко спишь...

Аларчон присел было рядом с ним, но, почувствовав под собой что-то жёсткое, тотчас вскочил.

– Это обрез, – Тойон отодвинул оружие. – Пока сидел тут, отпилил ствол у винтовки. Теперь можно под полой носить... Кладу с собой. Какие ещё там новости в аале?

– Ой, плохие, палам. Тебе надо скорее убираться отсюда. Аал полон красных. Три флага повесили. Под одним флагом, в аалсовете, сидит теперь хромой Эпсе, он теперь вместо Пичона, люди на сходде за него руки поднимали. Другой флаг поставлен на доме твоего отца – значит, и на твоём доме. Там коммуна у них. Распоряжаются Хоортай и этот русский. У Хапын-абыя отобрали всех коней, овец и коров. Выходит, ты теперь лишён всего отцовского наследства...

Тойон оттолкнул от себя миску.

– Шайтан!.. Скот зарезали?

– Чох, – помотал головой Аларчон. – Кормят. Пастухов приста-

вили. А знаешь, Тойон, твой отец им почти не сопротивлялся. Он только сказал: «Перевезите меня в избушку Каноя. Там доживу век...».

– Отец стар и выжил из ума. А что мать?

– Она хотела сжечь дом. Её связали и вывезли на зимник Каноя вместе с Хапыном-абыем...

– А ты был там и не вступился за мою мать?

– Как бы я мог сделать это, палам? Люди бы и меня связали, и тебя нашли. Ведь я не рассказал тебе ещё про третий флаг...

– Ну, рассказывай...

– Третий флаг поднят над домом Пичона-абыя. Там сидит комиссар Жарков. Каждый день к нему приходят из других аалов молодые парни и пожилые мужики на лыжах, приезжают на конях. Жарков дал им винтовки. Дом Пичона-абыя теперь называется «штаб»...

– Много их собралось?

– Шибко много. Начальники расселяют их по домам. Боюсь, что и ко мне приведут. Этой ночью тебе надо уйти...

В горле Тойона заклокотало. Не то смех, не то плач услышал Аларчон.

– Хара-айна, – выругался Тойон, овладевая собой. – Это всё случилось из-за того проклятого русского. Зачем не было у меня с собой мылтыха, чтобы убить его в степи ещё во время той первой встречи!..

Вдруг он повернулся к Аларчону:

– Ты говоришь, я должен уйти? Но ведь ты – кам. Так помоги мне отомстить... Пущенная мной пуля не пролетит мимо...

– Не делай глупостей, – уговаривал его Аларчон. – Ты лучше подумай о главном: для чего комысар вооружает этих пришлых? Их уже сотни четыре... Помнишь, твой отец устраивал большую охоту на волков. Так же собирали народ... Вот и эти готовятся идти на облаву. Думаю, что крупного зверя хотят взять... Сагдай всё время с комысаром. А ведь он, ты помнишь, хвалился, что знает дорогу на Хаза-тайгу... Не теряй времени, палам, поспеши к Пичону-абыю. Ты успеешь их опередить, всё рассказать... Отомстишь потом. Я выведу тебя из аала, дам коня. Хорошо, что обрезал мылтых...

Январь Домна провела в больших хлопотах. Ещё совсем недавно была на её руках байская отара, а теперь, когда по решению аалсовета скот Хапына передан в руки народа, стала Домна как бы сама хозяйкой отары. Но она не загордилась и по-прежнему называла себя «чабан».

С виду всё оставалось по-прежнему: чабанки гоняли овец на тебеневку, по вечерам на тырлах – площадках для кормёжки – давали им немного сена. Караулили в ночные часы по очереди... Но именно Домна, первая в аале Собат, очень скоро обнаружила раз-

ницу между байскими и артельными овцами. Произошло это так.

Пришла чабанка в бывший дом Хапына, где на прежней хозяйской половине разместились контора коммуны. Встала у печки, приложив к тёплой кирпичной стенке озябшие руки. Пока отогревала их, слушала разговор большого человека из уезда – Губенкова с секретарём ячейки Улуг Пёдором.

– Меня интересуют ваша коммуна, – говорит Губенков. – Потому и живу здесь. Создавали вы её на моих глазах, и это – дорого. Да ещё убедиться лишний раз хочу, понятны ли степному народу задачи, которые ставим перед ним мы, коммунисты. Тут ещё помнят своих феодалов. Секи эти во главе с баями, темнота, забитость... А мы хотим, чтобы и хакасы вместе с нами шагнули в социализм. А откуда им шагать-то? Да прямо из феодализма – вот ведь какая загвоздка! Наша помощь тут прежде всего нужна. Но помощь помощью, а сам народ? Ты как думаешь, товарищ Полинцев? – Губенков сдержанно улыбнулся. – Улуг Пёдором стал.

– Силы, пожалуй, есть. Как не быть силам! – отозвался Фёдор, сшивая за столом бумаги. Руки его, привыкшие к кузнечному молоту, действовали неловко. – Вот я тебе скажу, а ты послушай, Егор Кузьмич. Нашли мы в степи, когда в первый раз сюда попали, паренька одного, Сабиса, вон его сына. В чём только душа держалась, а ведь выдюжил. Опять табунщиком стал, да ещё каким лихим! Только Сабиса конь тащил, а весь ихний народ под копытами проклятущей байщины жил. И дюжой оказался. Не все соки выпили из него баи. А новая жизнь даст новый сок...

– То верно, Фёдор Павлович. Но ведь её, новую жизнь, ещё строить да строить. Трудиться народ может. А где образование, где культура, где?

Меряя контору крупными шагами, Губенков вдруг резко столкнулся с выходящим из другой комнаты Хоортаем. Из рук старика посыпались какие-то деревянные планки.

– Простите, Хоортай Мангирович, я нечаянно... – Губенков, нагнувшись, собирал упавшие планки. – Что это у вас такое? Для чего?

– Рубики, – левый глаз старика лукаво прищурился. – Работа надо считай... Этот рубик – работа Апаха, этот – Пулат, этот – Каной... Все, что коммуна делает, рубик говори...

– Значит, зарубки на них будете ставить?

– Вот-вот, – закивал своей чёрно-серебристой бородой Хоортай. – Чёрточкам, палочкам, крестикам...

– Но ведь бай тоже так отмечал?

– Байский рубик неправда говори. Наш совсем другой...

– А если забудете, что отмечено? Всё-таки учёт лучше вести на бумаге... Может, на первых порах хорошо и рубики, но придётся вам заводить счетовода.

– А ты учи нам счетовод... Бери Онис в Минсуг. Она грамоту понимамай...

– Хоортай Мангирович не только о рубиках, но и об Уставе коммуны позаботился, – вставил слово Полынцев. – Правда, мы его ещё не записали.

– Вот как! Это ваша обязанность с Хоортаем Мангировичем. Вам члены-учредители доверили руководить, – Губенков говорил улыбаясь и всё время поглядывал на Домну.

А ей казалось, что начальник Минсуга, который говорит непонятные слова, хочет на чём-то подловить и Полынцева, и Хоортая. Рубики ему не понравились, это она поняла. Домна и сама всю жизнь не доверяла рубикам – тем, что находились в руках Хапына. А свой учёт вела честно. Теперь рубики всей артели в руках её отца – Хоортая. Он за всю жизнь соломинки чужой не взял. Может, в этом начальник сомневается?

Ступив вперёд, Домна осмелилась заговорить:

– Зачем рубики худо глядишь? Отдавай их другой человек, хочешь – сам бери. Наше дело совсем другой. Овечка нет, рубик нет, кушай нет – какой артель?

Домна израсходовала свой запас слов, а столько ей захотелось высказать! Она переводила взгляд то на отца, то на Полынцева.

– Погоди, Домна, – Фёдор поднялся, пошёл к двери. – Сейчас позову Онис, она, должно, в школе, у Вари...

Онис пришла к Домне на выручку. И теперь, слушая женщин, Губенков очень заинтересовался тем, что говорила чабанка. Оказывается, Домна не согласна с тем, что овцы в артели содержатся, как при бае. Тому было всё приплод.

А вот ей, Домне, не всё равно. Попробуй-ка попринимай новорождённых ягнят зимой! А в отаре нынче есть такие матки, что вот-вот обьягнутся. Чтобы сохранить ягнят, для маток надо построить катон. Сделать его не хитро, нужны прутья и солома.

Раньше зимних ягнят мало выживало, а нынче Домна хочет их всех сохранить. Давайте делать катон. Будет приплод – будут и отметки на рубиках. А так что спорить, хороши рубики или плохи?

И ещё говорила Домна о том, что никто не должен от работы увиливать. Когда её сын, Сабис, бросил пасти байских коней, слова ему не сказала. Но теперь табун артельный, и она заставила сына вернуться к коням. Муж, Сагдай, вот тоже...

Ему артель весь табун доверяет, а он надел милицейскую одежду и сидит-посиживает в этом «штапе»... Уж скорее бы кончили с бандой, чтобы Сагдай своим делом занимался, пользу артели приносил...

А ещё Домне жалко отдавать баранчиков на мясо. Знает, что

надо отряд кормить, а всё-таки жалко. И коней приходится резать. Скота ведь пока не прибыло...

Широко расставленные карие глаза Домны вопрошающе уставились на Губенкова. Егор Кузьмич, несколько потупясь, выдержал с минуту и вдруг распустил все свои суровинки.

– Вот утешила так утешила, товарищ Домна! Настоящий разговор хозяйки! Ты это правильно... Давайте-ка сегодня займёмся катонами... Я договорюсь с Жарковым, чтобы людей из отряда подслал, к вечеру матки уже в тепле будут.

...Первой из девочек эту новость услышала Тааных, а ей сообщила мать, побывавшая в новом овечьем катоне.

– Ягнята появились...

Тааных тотчас же засобиралась к своей подружке Зойке. Сунула ноги в маймахи, надёрнула шубёнку, набросила полушалок на чёрные косички – и поминай как звали. К Полынцевым прибежала запыхавшаяся, румяная.

– Это ты, Танюшка? – обрадовалась Зойка, называя подружку на русский манер. – Ты знаешь, что я делала? Узоры со стекла срисовывала. Ишь, как мороз их навёл! Хочешь, давай вместе...

Но что для Тааных какие-то морозные узоры! Совсем не за этим она пришла, у неё есть кое-что поважнее.

– Ягнята! – выпаливает Тааных, не в силах больше таить свой секрет. – Ягнята родились!

– Ягнята! – радуется Зойка. – Какие они? Чёрненькие?

Зойка приставила к русской печке табуретку, вскочила на неё, достала свои расшитые маймахи. Белые прядки подобрала под шалёнку, концы перехлестнула на груди и сунула подмышки.

Тааных подскочила на помощь – затянула сзади концы шалёнки узлом.

Подружки сунулись было к двери, да мать сказала: «Погодите». Она пирожки жарила с картошкой – отец недавно немного муки выменял в заречном аале на конские подковы.

– Натё, вот вам на дорожку, – сунула она им по пирожку.

Знает, что нет для Зойки и Тааных ничего слаще, как грызть что-нибудь на морозе.

Отец, сидевший на лавке, наклонился вперёд. Дрогнула его борода, шевельнулись кустистые брови.

– Матрёшки, чисто матрёшки.

Визжит и хлопает дверь.

Тааных торопит Зойку, и вот они обе, соскочив с крылечка, пустились вприпрыжку через бело-розовый пустырь. Возле низенькой избы Тирнука, на плоской крыше которой снег лежал аршина в два толщиной, обе запыхались, перешли на шаг. Тут же посмеялись и поспорили.

Смешно было оттого, что на крыше снег с боков совсем зава-

лил трубу, и казалось, дым идёт прямо из этого сугроба. Потом Зойка сказала, что это не снег, а такой крупчаточный пряник туда положен. Тааных помотала головой – не пряник, а кусок брынзы. Если Зойка не верит, может лизнуть – на языке будет солоно. Но до крыши высоко – как до неё дотянешься. За объегнившись и сугными матками досматривала Кнай. Она засветила керосиновый фонарь, потому что в катоне темно. Душно пахнет соломой, овцами. Овец много, воздух в катоне нагретый и влажный. Кучками лежат на соломенной промокшей подстилке объегнившиеся матки. Часто-часто вздуваются и опадают их бока. Горбатые пучеглазые морды тянутся к чёрным комочкам, лежащим рядом. Высовываются длинные шершавые языки и лижут эти комочки. Отзываясь на голоса ягнят, мырчат овцы. Они поворачивают морды на свет фонаря, с которым Кнай расхаживает между кучками, и глядят бесовскими глазами, продолговатые зрачки поставлены поперёк.

Топчется на подстилке и подталкивает ягнёнка носом к вымени большая чёрная овца, а он верещит, бестолково тычется мордочкой ей в пах и никак не найдёт сосок. Кнай спешит на помощь глупышу и подсаживает его под овцу. Ягненок сразу умолк, упал на передние коленки и зачмокал. Сосёт, а хвостик его виляет.

Обошла Кнай весь катон, вернулась на середину. Тут колышек вкопан, повесила Кнай на нём фонарь, выдернула из соломенной стенки катона вилы, чтобы пойти за свежим сеном, да задумалась. Стоит в тусклом свете фонаря, опираясь на кривой черенок вил, сама в шубёнке, в старой меховой шапке отца. Всё на неё такое надето, чтобы, как нарочно, спрятать красоту. И низенькая она кажется, и нестройная, и чёрно-смольных косичек с привязанными к ним старинными серебряными монетками не видно. Ну что ж, глаза девушки блестят, как две звёздочки, один глаз – как звёздочка Солбан, другой – как звёздочка Хосхар. Зажглись они особым светом с той поры, как у Эпсе стала заживать раненая нога. Парень давно мог бы оставить избу Хоортая и опять квартировать у кого-нибудь из аальцев, да она, Кнай, его не пускает. И мать, Домна, не ругает её, и бабушка Хоортай спокойно попыхивает трубочкой. Об отце, вернувшемся из Минсуга, и говорить нечего: для Сагдая Эпсе почти что свой. Да и Сабис сдружился с ним, ещё как за сеном вместе ездили.

Живут Кнай и Эпсе под одной крышей и много слов сказали друг другу. Но самое нужное слово ещё просится из груди...

Топтались и шуршали подстилкой овцы, мемекали ягнята, с полу поднимался тяжёлый запах, всё в катоне было тёмно-сизым от разреженной мглы и испарений, а в сердце Кнай стучали молоточки, что-то выговаривали звонко-звонко.

– Кнайях, пусти нас в катон, – слышались девчоночьи голоса. Молодая чабанка очнулась и поспешила взглянуть, кто там...

Флаг на крыше штаба качнётся под ветром, зачерпнёт закатный багрянец да тут же его и процедит на заснеженную крышу, потому она и розовая. Флаг потому горит, что поднят высоко.

В штабе зажгли лампу, и она осветила большую комнату, где, бывало, Пичон принимал гостей. Тот же стол и диван. Только за столом сидит теперь Жарков, сосредоточенно хмурится. Поскрипывают наплечные ремни, перехлёстнутые на груди и спине. На одном ремне маузер в деревянной кобуре, на другом – полевая сумка. Толпятся в комнате приехавшие вместе с ним минусинские милиционеры, назначенные командирами взводов ополчения хакасов-добровольцев, набранных со всей здешней волости. Пока Губенков занимался аальскими делами, Жарков тоже не терял времени. Подбирал в отряд людей, проверял их – стойкие ли, владеют ли оружием. Аал окружил цепью постов.

Вот прошёл ещё один день, полный забот и хлопот. Командирам взводов даны последние наказания.

Жарков вытягивает под столом ноги, распрямляя их с хрустом – давний ревматизм, нажитый ещё в партизанскую пору. Полечиться бы, да всё некогда. А теперь поход на носу.

Во дворе у крыльца штаба – шум. Кто-то хочет пройти в помещение, а часовой не пропускает.

– Какая нужда во мне, мил человек? – открыв дверь, спросил Жарков.

– Пар полбинчам, – заговорил, появляясь на пороге, Аларчон. – Бумага тавай...

Жарков вопросительно наклонил голову, прислушался к голосу нежданного гостя.

– Бумагу? Пропуск? А в какой аал?

– Андагы, – протянул руку Аларчон, показывая в сторону реки Ахбан. – Анча...

– В заречный, – пояснил вошедший Эпсе.

– А зачем?

– Ачын харындас болей...

– Младший брат, говорит, заболел. Там живёт...

– Камлать будешь?

– Нада камлай. Шибка нада... Худой харындас...

– Ну что, Эпсе? Дать ему пропуск? – спросил Жарков. Эпсе пожал плечами.

– Пожалуй, дам. Хотя не знаю, правду говорит или врёт.

Аларчон съёжился. Полукрытые глаза уставились в чернильницу-непроливайку на столе.

– Выпишу я тебе пропуск, милый человек, – решительно потянулся Жарков за ручкой-таволжинкой со вставленным в неё тупоносый «рондо». – Один человек? – спрашивает Жарков и выставляет палец.

– Чох! – мотаает головой Аларчон. – Ики... Ики-кизи, – и показывает два коротких пальца. – Мин бабам бери...

– Ну, двое так двое, – соглашается Жарков и подаёт Аларчону пропуск. – Ступай.

– Анымчох, Кнай! – выбежав из катона, прощаются с молодой чабанкой Таанах и Зойка.

– Анымчох! Бегите скорее домой...

По снегу, по сумеркам девочки спешат обратно. Небо всё темнее и темнее, в нём прибывает звёздная отара. Мерцают и Солбан, и Читиген, и Хосхар. Бело-синие лучики у них совсем короткие, но если посмотреть на звезду сквозь присмеженные ресницы, лучик дотянется до самых твоих глаз.

– Ягнята, – говорит Таанах, показывая вверх.

– А вот и ихний пастух! – Зойка увидела месяц. – Ишь, нагнулся, чтобы всех сосчитать...

– А в руках у него ярлыга, – фантазирует Таанах. – Только её не видно...

– А как его зовут? – спрашивает Зойка. – Ты знаешь?

– Знаю. Чил айы... Дедушка Чил айы...

На горке аал – совсем близко, окошки светятся огоньками. Где-то в улочке завизжали полозья саней. Кто-то с кем-то перекрикивается. А вот топор стучит – не успел хозяин засветло дров нарубить, теперь тюкает...

Развеселились Таанах и Зойка, принялись дурачиться. Сначала подталкивали друг дружку, потом им захотелось петь. И завела Зойка высоко-высоко песню, услышанную недавно от милиционеров, приехавших с Жарковым. Тогда, вечером, ещё при Губенкове, они её за столом пели:

*...Сотня юных бойцов из будённовских войск*

*На разведку в поля поскакала...*

*Они ехали молча в ночной тишине*

*По широкой украинской степи...*

– Понравилось? – спрашивает она у Таанах. – Ну, ты помогай, Танюшка...

А той не надо повторять дважды. Мотив переняла, а русские слова она схватывает быстро, за это её Варвара Петровна в школе не раз хвалила.

И Таанах, сплетая свой голосок с Зойкиным, стала помогать Зойке подводить к концу её русскую песню. Лощину они уже прошли и теперь начали подниматься на косогор.

– Ты, конё-ёк во-ро-но-ой...

– Ио! Ио! – вдруг вскрикнула Таанах и дёрнула Зойку за руку.

Сверху летела пароконная упряжка. В сумраке огромными ка-

зались шумно дышащие и громко топочущие копытами коренник и пристяжная. Стучали отводины саней, скрежетали полозья. Девчонки мельком успели увидеть в санях две тёмные фигуры – вроде бы мужчина и женщина. Зойка и Таанах старались дальше отбежать от дороги, они уже были за обочиной.

Но тут женщина в санях вдруг крикнула сердитым мужским голосом и, неожиданно выхватив вожжи у мужчины, свернула разбежавшихся коней прямо на обомлевших девочек. Они и вскрикнуть не успели...

Постовой вверху, на горе, пропустивший сани с мужчиной и закутанной женщиной, показавшими ему пропуск, не услышал конца песни. Он всё ждал: вот-вот выйдут сами певуны. Но они так и не показались на горе. Постовой забеспокоился: что с ними? Другой дороги в аал нет.

Зойку, убитую ударом конца оглобли в висок, и Таанах, смятую копытами пристяжной, но живую, нашла Домна, торопившаяся сменить Кнай в катоне. Она бросилась к постовому. Разобрав из её криков, что произошла беда, он выстрелил вверх. Под гору сбежался весь аал.

В ту же ночь Таанах в кошёвке Жаркова милиционерские кони умчали в Минсуг, в больницу. Поехала с ней и Онис.

– Мы шли, пели... Тут кто-то быстро едет с горы. Мы своротили... Крикнул Тойон: «Сарын орыс!». Кони налетели на нас...

– Тойон? – дивились и ужасались люди. – Откуда он тут мог взяться? Разве у кого скрывался в своём сеоке? Детей не пощадили, стоптали конями...

Пулат дознался от постового, кто был в санях.

– Смерть обоим – каму и Тойону! – кричал он и потрясал правой рукой, сжатой в кулак, а левой держался за «меченое» ухо.

Жарков послал погоню, но она вернулась ни с чем. К Фёдору и Варю никто не смел подступить. Оба почернели от страшного горя. Варя затряслась и упала на коченеющее в снегу тело Зойки, зашла сяднящим душу нутряным воем.

– А-а-а-а! – жутко тянула она и то обнимала Зойку, припадая к ней, то рвала на себе волосы. Фёдор, сбывчив шею, скрипел зубами, молча глядел он на истоптанный снег, на котором неловко, боком, подмяв одну руку, прилегла его дочка.

Фёдор молчал, и это пугало людей. И только старик Хоортай опустил так же молчаливо на колени рядом с ним. Но вот Фёдор нагнулся и оторвал от Зойки Варю, которая тотчас же обмякла и упала плашмя на руки – ноги не держали её, подкашивались.

К ней подбежали Домна и жена Апаха, подхватили под мышки.

Фёдор осторожно, как пёрышко, поднял на руки Зойку, распрямился во весь рост. Кто-то указал ему на сани, но Фёдор только головой помотал. И пошёл впереди толпы с Зойкой на руках. С Зой-

кой, своей кровинушкой, степным жаворонком, который и перед страшной смертью своей звенел песенкой...

...Смотри, каменное изваяние Хара-Кургена, если только глаза твои могут хоть когда-нибудь видеть. Хорошенько смотри! Рядом с твоим курганом сегодня хоронят русскую девочку Зойку. Вон тот великан, чьи широкие плечи опустила вниз беда и на них мешковато висит прокопчённый в кузнице полушубок, – её отец. Он без шапки, несмотря на мороз. Рыжие волосы его в куржавинках, которые уже не растают никогда. Горе у людей по-разному выходит наружу: у одних слезами, у других – преждевременной сединой.

А вон та маленькая женщина, с опухшими, покрасневшими от слёз глазами, из горла её вырываются уже не рыдания – сплошной хрип, женщина, чьи щёки белы, как мука, – мать Зойки...

Старик-хакас в шубе из грязно-белых овчин. Глядя на погибшую девочку, он глухо бормочет: «Постаргай... Постаргай...».

Много тут людей. Среди них – Эпсе, жених Кнай, новый председатель аалсовета. Строй бойцов-добровольцев замер и держит винтовки на караул.

Гроб на натянутых арканах пошёл вниз. И в тот же момент над белыми сумётами, над Хара-Курганом грянул винтовочный залп. Вздогнула стоящая поодаль, запряжённая в сани Бурка. Накренилась снеговая шапка на каменном изваянии и слетела, рассыпавшись у подножия.

Когда над могилкой вырос земляной холм, Хоортай достал из-за пазухи пятиконечную красную звезду, которую сделал своими руками из куска жести. Он укрепил её на конусном столбике, врытом у бугра.

...Смотри, каменный лик с Хара-Кургена, если глазницы твои, источенные временем, не совсем пусты. Прямо против тебя этими скорбными, готовыми к последней битве со своим врагом людьми поднята красная звезда, так похожая на настоящую звезду Хосхар, вокруг которой в небе поворачивается и семизвездье Читигена, и все ночные светила...

Настоящая Хызыл-Чылтыс никогда не померкнет, и песенка Зойки тоже никогда не умрёт...

## ГЛАВА 28

В первую же ночь после похорон Зойки покинул звёздную отару на небесном пастбище старый пастух Чил айы – январский месяц. Ушёл он к себе в небесную юрту. Целый год не покажется теперь степнякам. Взойдёт вместо него молодой пастушонок. Поздно. Но никто не спит в аале этой безлунной ночью. Отряд собирается выступить и держит наготове коней, сани, лыжи. Из дома в дом

бегают связные – передают распоряжения командиров. В домах и юртах, несмотря на неурочное время, топят печи и очаги. Над аалом разносится запах печёного хлеба, варёной и жареной снеди.

Возле штаба добровольцы запрягают коней. В санях увязана поклажа – продукты, боеприпасы. На розвальни, к головкам которых, кроме оглобель, приделан валёк для пристяжки, два бойца и взводный командир примащивают станковый пулемёт.

В избе Сагдая проводы. Уходят с отрядом сразу трое – сам хозяин, его сын Сабис и будущий зять – Эпсе. Одеты по дорожному, они присели на длинную лавку, а Домна и Кнай набивают им арчи-махи съестным, кладут бельё, табак. Дверь отворилась. На пороге – Улуг Пёдор. Все повернули к нему головы. В одной руке мешок с дорожными припасами, в другой – карабин. И Варя с ним, в мужнином полушубке с отвёрнутыми рукавами, в стёганных брюках, в старых валенках, подшитых толстой кошмой. Лицо бескровное, углы губ опустились вниз, глаза как выпитые.

– Вот снарядились, – глухо выдохнул Фёдор, горбя плечи. – Она с нами пойдёт за сестру милосердную...

Он поклонился поясно старику, Домне, Кнай.

– Спасибо за всё, люди добрые. Простите, коли в чём мы виноваты... Ты, Хоортай Мангирович, был нам вместо родного отца... – он ещё что-то хотел сказать, но только махнул рукой.

На улице заскрипели по снегу подводы.

– Пора... – Фёдор нагнулся к Хоортаю и, прижав его к себе, поцеловал. – Ну, может, будем живы – вернёмся... И на твоих плечах ноша осталась, Хоортай Мангирович... Коммуна... За кузней досмотри...

Он повернулся и, низко поклонившись, словно и с избушкой прощался, как с живым существом, протиснулся в дверь. Рассвет застал походную колонну на том берегу Ахбана. За спинами бойцов разгорался восток, и по снегу, опережая конных и пеших, вытягивались в сторону запада розовые блики зари. Когда окончательно посветлело, белая степь показалась очень людной. Колонна, разбитая Жарковым на боевое охранение, головную походную заставу, авангард и арьергард, растянулась версты на три. Впечатление многолюдства усиливали курганные камни, тут и там торчавшие из сугробов. Они ходили то на бойцов, припавших на колени и изготовившихся стрелять, то на сторожевых всадников, то на женщин-хакасок, вышедших к дороге проводить воинов.

Варя ехала на розвальнях. Сидеть было неудобно. Подвинешься в одну сторону – упрёшься в зачехлённое пулемётное дуло, повернёшься в другую – нагромождены жестяные коробки, отодвинуть которые нет сил, потому что в них свинцовые «гостинцы». Розвальни скрипели и подпрыгивали. Их везла пара низкорослых

мохнатых коней. Кони фыркали и шумно дышали, вздымались и опали их заиндеветые бока. Когда ездовой шевелил вожжами, иней стряхивался с шерсти коренника.

– Но-но! – хрипло покрикивал ездовой и душил Варю клубами махорочного дыма из трубки. Глядя на ездового вполоборота, Варя видела лишь поднятый овчинный воротник да торчащую из него трубку.

Ярость удесятряла силы Фёдора, идущего на лыжах, но она же и застилала глаза. И не видел Фёдор, что за ним на последнем выдохе поспешает сын Сагдая. Лишь случайно обернувшись, заметил его.

Он остановился, подождал молодого добровольца. Дальше шли вместе. Сабис оказался неплохим лыжником. Однако Фёдор всё-таки спросил его, почему он выбрал лыжи, а не коня.

– Сяду только на Солового, – был ответ.

– Так, сынок, – одобрил его Фёдор. – Так...

Маленького зимовья, сложенного из неоскуренных лесин, не видать стороннему глазу. Над сугробами чернеют два-три бревенчатых венца, в них слепое окошко, а сверху вместо крыши – снеговой бугор. С другой стороны – дверь, которую сторожит пёстрая ушастая лайка. От двери протоптанная в глубоком снегу тропинка ведёт в чащобу, где, если приглядеться, можно заметить наспех сооружённый из жердей, веток и лапника навес. Оттуда временами доносится конское ржание.

Заржал конь, твякнула лайка, и из избушки вывалился плотный, как туго набитый куль, скуластый хозяин с заряженным мылтыхом и топором за поясом.

– Э-э, Вороной! Когда вместе с Соловым – дерётесь, а когда врозь – тоскливо тебе. И сена мало... Нарублю таловых веток – обгладывай, как заяц...

Тальник вперемешку с черёмушником рос у замёрзшей речки. Не речка, а дорога. Отправляйся по льду хоть в верховье, хоть вниз – в подтаёжные аалы. В этих местах делает речка десять больших петель и поэтому называется по-хакасски «Улуг Он» – большой десяток. Зимовье – на средней петле, ближе к центральному Саянскому хребту, к Танну-Туве. А нижняя петля огибает бандитскую Хаза-тайгу.

Пичона всё нет и нет. Когда уезжал на Соловом, велел ждать: «Поеду – всё узнаю». А куда поехал? Он, Кормас, проследил – в Хаза-тайгу, прямо в руки бандитов... Безумный он, что ли? Рубит Кормас талу, сам на лайку поглядывает. Кружится она на месте, воздух нюхает, зубы щерит.

Кормас положил топор, забрался поглубже в куст, мылтых держит наготове: «Зверь или человек?».

Повернулась лайка мордой в сторону низовья Улуг Она, смор-

щила нос, оскалилась, шерсть на ней дыбом. Из горла к пасти рычанье подкатило, не может лайка его сдержать.

– Тохта, Харагай, – тихо приказывает ей Кормас, а сам уже понял – люди идут: услышал жиканье лыж.

Потом из-за поворота реки показались двое. Впереди – большой, как шатучий аба-медведь на задних ногах, русский мужик-гора, а с ним – гибкий парень-хакас. Оба с ружьями, с заплочными арчимахами. Остановились. Парень тычет лыжной палкой в снег, что-то показывает мужику, тот кивает головой, рыжая борода трясётся. Присели на корточки, головы уткнули вниз. Не охотники они – стволы у ружей тонкие. Карабины это. А кто теперь ходит с карабинами? Ясно – недобрые люди. Может, из Хаза-тайги?.. И снова неволью подумал про Пичона, уехавшего туда.

Курок мылтыха взведён. Охотник держит незнакомцев на мушке, прикидывает глазом расстояние. И вдруг бледнеет Кормас. Заряд-то в мылтыхе – единственный. Убьёт одного, а второй не будет ждать, пока он, Кормас, сбегает в зимовье за другим патроном. А бородатый мужик-гора и тонкий парень поднялись и пошли дальше – прямо к зимовью.

Харагай не выдержал и залаял. Вороной заржал под навесом. Лыжники метнулись под защиту берега, укрылись в кустах.

«Дочку спасу... Посажу на коня...» Кормас кричит собаке, указывая на противоположный берег: «У-уйс, Харагай!», а сам, пригнувшись, выбирается из кустов и бежит к зимовью. Ворвался, оставив дверь распахнутой, и остановился с открытым ртом. Марик в зимовье не было... Вышла Марик из избушки-снеговушки вслед за отцом, когда он ещё Вороного проведывал. Надоело сидеть взаперти, дымом дышать. Вот уже который день живут они тут, отец ждёт Пичона.

Про Пичона не хотелось думать. В глаза Марик била такая снежная синева, воздух был таким чистым, что, глядя на осыпанные куржаком, словно вычеканенные из серебра кусты и деревья, она счастливо засмеялась. «Пройдусь до берега, там куст боярки. Рясные багряно-жёлтые ягоды убиты морозом. Должно быть, вкусная боярка!..» Раздвигая ветки и осыпая снег себе на голову, девушка полезла на куст. Нога нащупала развилку ствола. Марик перенесла на неё всю тяжесть тела и, обняв ствол, принялась обрывать гроздь.

Тюкает топор – отец что-то рубит. Вот перестал. Харагай лает. Голос отца: «У-уйсь!». Марик вытягивает шею. Кто-то за береговым выступом негромко уговаривает собаку... Девушка рванулась вниз – бежать к отцу или в зимовье, но развилка не пустила ногу, ступню зажала.

А сзади – быстрые шаги. Отец, дышит тяжело. В руках ружьё и котомка. Шапку потерял в кустах.

– Спасаться надо! Скачи вверх по речке на Вороном...  
– Паба! – билась на боярышнике и плакала Марик. – Ногу зажа-  
ло!

– Э-эй! – раздалось с реки. И тут же второй, потоньше: «Э-эй, Ма-  
ри-ик!».

Она не поверила своим ушам. Её окликнули по имени?! И голос такой знакомый... Отец будто окаменел.

– Мари-ик, это я – Саби-ис!

Трепыхаясь на ветке, Марик подняла голову и увидела, что Са-  
бис быстрыми шагами пересекает стылую, заметённую снегом  
речку. А за Сабисом, отбиваясь от злобно рычащего Харагая, бежит  
Улуг Пёдор. Как не узнать его! У кого ещё такие плечи, такая огни-  
стая борода!

Забыв свой недавний страх, Марик замахала рукой.

– Сабис, дядя Пёдор! Здравствуйте!

## ГЛАВА 29

На вершине покрытого редколесьем холма, в версте от севе-  
ро-восточного прохода в Хаза-тайгу, стоят, спрятавшись за стволы  
сосен, четверо. Один из них держит у глаз бинокль, двое смотрят  
из-под руки, четвёртый не принимает участия в наблюдении: у  
него в руках какой-то берестяной круг, прошитый жилами.

Марик помогла Улуг Пёдору разговориться с отцом, и кузнец  
рассказал охотнику всё, что произошло в аале Собат. Кормас за-  
думался: «Пичон? Да мы же с ним вот такие друзья были, ещё с  
каких лет! Не верится... Однако сам видел след Солового от зимо-  
вья – Пичон поехал в Хаза-тайгу... Как же так – тут один Пичон, там  
– другой! Какой настоящий?». Стал Кормас припоминать, с чего  
началась их дружба. Пичону надо было узнать скотогонные тропы  
через Саяны – из Хакасии в Урянхай. Стало быть, Пичон искал, где  
покороче путь, чтобы стада быстрее пригонять. Кормас места по-  
казывал, Пичон за это деньги давал, аракой поил. Петрицкий, хо-  
зяин рудников, покупал у них скот – рабочих кормить. Золотом за  
скот платил. Пичон называл золото – «жёлтый жеребец». У Пичо-  
на был «жёлтый жеребец», у Кормаса – нет. Однако далеко поехал  
на «жёлтом жеребце» Пичон – в город Казань. Говорят, большую  
науку прошёл. А Кормас в тайге жил, сосне молился, совсем тём-  
ный... Верно, медведь корове не брат... Потом Пичон забыл Кормаса  
– звонко ржал Пичону «жёлтый жеребец».

Только красные когда пришли, опять стал Пичон Кормаса дру-  
гом называть. Пришёл к нему: «Глухую дорогу через Саяны кажи,  
Хаза-тайгу кажи». Показал – в Хаза-тайге теперь банда. Откуда Кор-  
мас мог знать, что посадил её там Пичон, председатель аалсовета?

На наш аал Чорбит налетели, охотников увели, жену мою Тодыс увели... Сколько хакас-кизи – наших людей – такую беду терпят!

Вот этот орыс-кизи, Улуг Пёдор, говорит, что Пичон хочет нашу землю врагам передать. Петрицкого ждёт, Унгерна ждёт. Сам хозяином всей Хакасии назвался – бумагу написал. Вон какой ты, Пичон! Своего «жёлтого жеребца» нет, так ты на чужеземного собрался пересесть? А платить за него хочешь землёй наших отцов хакас-чири!..

Где, Кормас, были раньше твои глаза? Не разглядел ты, что Пичон совсем как чылан. Ты змею пригрел, ему доверился. Родную дочь на воспитание отдавал, собирался помочь ему уползти за Саяны...

Он и в своём аале много худого сделал. Скот велел резать – в Хаза-тайгу собирался везти банду кормить. Его брат Серге на Сагдая напал. Айну какого-то держал Пичон рядом с аалом. Говорят, теперь этот айна тоже в Хаза-тайге. У самого Улуг Пёдора дочку конями стоптали...

Долго сидел Кормас, подперев обветренными, шелушащимися руками голову.

– Пойду к вашему комысару. Пичона взять помогу.

Появившись среди бойцов, Кормас занялся непонятным для всех делом – надрал бересты, достал из арчимаха иголку, пучок тонких сухожилий и принялся что-то мастерить. Отряд Жаркова занял лесистую низину перед ущельем – единственными воротами в Хаза-тайгу.

– Крепость, – говорил, выйдя на рекогносцировку, Жарков. – Природная крепость!

Жарков водил биноклем то поверху, то понизу, часто протирал бинокль платком – потели на морозе стёкла.

– Ночью... Да, ночью... Пожалуй, правильно... Восточная скобка пологая к нам. Снимем наблюдателей. Где-то у них там должна быть тропа, по которой они скрытно проходят. На том вон зубце поставить пулемёт.

Сзади заскрипел снег под чьими-то тяжёлыми шагами, командиры обернулись: Фёдор Полынцев и незнакомый хакас в косулей дохе. В руках у хакаса какая-то береста.

– А, Фёдор! Гляди, Фёдор Павлович, мил человек, какая она, Хаза-тайга. Крепость... Тут у меня соображение одно есть, как наши силы расставить... Как прошла круговая разведка? Кого застали на том зимовье?

– Вот его, Кормаса.

А почему ты думаешь, что можно доверять Кормасу? Кто он такой? Чем занимается?

– Охотник. Он из таёжного аала Чорбит. С Пичоном-то у него

давнее знакомство. Его дочь Марик у Пичона жила. Кормас и Хаза-тайгу ему показал, а тот банду в неё посадил – всё это мне рассказала его дочка, с его же слов.

– Та-ак! – нахмурился Жарков. – Форменный сообщник.

– Оно будто бы и похоже на то, и непохоже, Пётр Иванович. Я к Кормасу пригляделся. Простодушный он. Бандиты его самого из аала выгнали, а жену к себе увели. Человек сейчас сам не свой... Помочь нам собирается. Да вы поговорите с ним сами, велите Эпсе, пусть он переводит...

Фёдор шагнул в сторону.

– Ну, что скажешь, мил человек? – обратился Жарков к Кормасу. Охотник заговорил, хватаясь то за голову, то за сердце:

– Обманывал Пичон много лет.

– Ну, об этом мы слышали. Ты короче. Какая от тебя нам помощь?

– Хаза-тайгу знаю. Вот она, – перевёл Эпсе. Кормас протянул Жаркову прошитую жилами бересту. Это был макет Хаза-тайги.

– Ну-ка, ну-ка... Действительно, похоже... Мда-а, вот западная скобка, вот восточная. Эпсе, спроси его: был он у бандитов в Хаза-тайге?

Эпсе перевёл вопрос Кормасу, тот отрицательно замотал головой.

– Тогда где, по его мнению, они обосновались внутри Хаза-тайги, в котором месте? Пусть покажет.

– Кюль, – ткнул прокуренным пальцем Кормас в середину макета, где жилами был прошит неправильный круг величиной с ладонь. – Хая, – палец коснулся крутой выпуклости. – Чыс, – повёл он по натыканным в бересту веточкам.

– Озеро... Скала... Лес, – переводил Эпсе.

– Таг тозинде, – твёрдо сказал Кормас.

– У горы... У основания горы, – как эхо, отозвался Эпсе.

Жаркову захотелось узнать, почему охотник, ни разу не видевший бандитского стана, утверждает это. Эпсе заговорил с Кормасом и потом пересказал разговор.

– Рыть землянки и ставить избы можно только на опушке леса. В других местах сплошной камень, озеро, скалы...

– Спроси его, далеко ли от того зубца до опушки леса.

– Пир верста, – Кормас поднял один палец.

– Ну что ж, прицельный огонь вести можно, – Жарков потёр небритый подбородок. – Значит, так... Эпсе, скажи ему, если он совра, если он подослан к нам Пичоном, – расстреляем...

Кормас заговорил. Он показывал то на себя, то на берестяной макет, то на Хаза-тайгу. Долго говорил Кормас.

Наконец Эпсе кивнул ему: «Довольно», – и принялся говорить сам.

– Он знает подземный ход. Говорит, что тут, в стороне от прохода, есть в горе расселина, но не до самого подножия. А внизу – сквозная пещера. По ней летом из озера выбегает ключ.

Сейчас воды в озере мало, ключ не течёт. По пещере можно пройти. Но там, в горе, она ветвится. Нижний хвост в озеро уходит, под лёд, верхний – наружу выходит, на той стороне горы. Там невысоко – один аркан, совсем короткий. Бандиты не знают, потому что выступ есть перед выходом, он пещеру закрывает. Совсем не видно...

– Это как раз то, что нам надо, – задумчиво проговорил Жарков. – Только не могу я ему поверить. Ну, есть там ход, а вдруг в нём – засада. Побьют людей...

– Дочь у него здесь, с нами... С Варей моей...

– Ну и что, что дочь? Ты-то веришь ему, Полынцев? – поглядел в глаза Фёдору Жарков.

– Верю, Пётр Иванович...

– Ну, так ты и пойдёшь с ним. Людей подбирай сам. Но в случае чего, помни – поручился ты... – Жарков снова припал к биноклю. – Вон тот зубец...

– Спрячьте бинокль, – попросил Фёдор. – Солнце хоть и за скалами, да от тех зубцов блики падают. Не ровен час – блеснут стёколки... А я его вижу – хоронится за камнем. Разрешили бы его снять? А, Пётр Иванович?

– Мало тебе одного задания? Вижу – мало... Ох, Фёдор, Фёдор...

Гора с зубцом на вершине только снизу кажется пологой. Попробуй подняться на неё! Фёдор тяжело ступает, проваливаясь в снег по колени. Карабин висит на груди, в руках у Фёдора толстый берёзовый кол – «конь». С такими «конями» хаживали на горы рабочие рудника «Улень», где он жил подростком. Идут вверх, наваливаются на палку всей тяжестью тела, а вниз – садятся на неё верхом, чертят по снегу концом палки и собственными пятками. Он уже прошёл лесистый низ склона, теперь его защищает только шеренга низкорослых кривых сосен.

Кончились сосны. Он упал в снег и пополз.

В Хаза-тайге плавают сумерки. Тускло светятся окошки землянок, багрово и дымно горят костры. Мимо землянок и костров идёт, сутулясь, Харбинка, правая рука на расстёгнутой кобуре.

Не в первый раз он обходит лагерь.

Волны мрака накатывают на землянки от стылой стены Кюль-гасхыла. Должно быть, из-за тяжести, которую нельзя спихнуть с плеч, думает Фрол, в землянках и около костров разгораются ссоры. Не раз под пьяную руку поднималась стрельба. Хаза-тайгинцы готовы глотки друг другу перегрызть из-за женщин,

похищенных из аалов. Харбинка уже знает немного по-хакасски и сам слышал однажды, как толстый кызылец говорил молодому парню: «Вот из-за кого мы сидим тут, как барсуки в норах. Перерезать бы обоим главарям глотки и раствориться в народе!». А разве у него самого не было мысли плюнуть на Пичона и убраться подобру-поздорову за границу? А кобура всё-таки расстегнута. Он, прапорщик Самохвалов, хорошо знает своё дело. Надо усилить караулы, дозоры. Того и жди начнётся пурга, красные могут воспользоваться плохой погодой. А тут ещё этот шаман...

...Стороной обходит Харбинка большой костёр, там Аларчон. Заболел какой-то парень, и кам хочет лечить его по-своему. Харбинке нельзя к тому костру, он, русский, – помеха в языческом обряде. Он нажал плечом на скрипучую дверь избушки, засветил жирник, перезарядил наган. Мечется пламя костра, дым его горек. Лиственничные сухостоины и карчи, обугливаясь, дают спокойный жар. Но время от времени трещит и стреляет искрами попавший в костёр еловый валежник. В свете пламени положили на хвойный лапник больного.

Половина толпы качнулась направо, половина – налево, и в образовавшийся проход вступает Аларчон. Он ни на кого не смотрит, тяжёлые веки несёт полуопущенными, руки висят, будто камчи.

Вот он подходит к костру, опускается на кучу лапника, но не притрагивается к шаманскому одеянию, растягивается на ветках.

– Пусть кам отдохнёт! У него дальняя дорога в страну духов. Надо выкупить у Таг-эзи здоровье парня...

– Йо, Иген. Парень, однако, заболел не из-за Таг-эзи, а из-за этого орыса. Долго держит в карауле, на морозе. Сохнет моя печень от Харбинкиных порядков. Зачем Пичон поставил его над нами?

– Верно, Апсалай... Ты уже воевал против красных. Сейчас мог бы командовать всеми нами...

– Э-э, бросьте! Серге ещё вернётся. Уж он-то отберёт власть у Харбинки...

– Серге? Кто это сказал? Ты, Камат?

– А что?

– А то, что Серге, говорят, ушёл к духам. Пасёт табуны Юзут-хана.

– Неправда. Пичон послал его к Унгерну, он остался там, а вместо него приехал этот Харбинка...

– А куда же девались Полит и Отой? Они были вместе с Серге.

– Тохта... Гляди!..

Аларчон поднимается с кучи стланика. Знаком просит пить. Ему подают немного араки. Кам, отведав её, идёт прямо на толпу. Никто не смеет заступить дорогу каму. Он направляется от костра к землянкам. Останавливается возле каждой, простирая руки и глухо бормоча, призывает тайные силы.

Нельзя мешать ему. Духи за это сурово наказывают. Аларчон идёт один, всё дальше и дальше от большого костра – до последней землянки. Потом возвращается к костру.

- Семь вёдер воды приготовьте...
- Вода принесена, Аларчон-абый.
- Семь священных поясов... Семь веток боярышника...

Аларчон встал над шаманской одеждой и разбросил руки. С него сняли шубу и надели другую, увешанную суконными лоскутками всех цветов, мелкими колокольчиками – шаркунцами. Подали бубен – величиной с ручное решето-севалку, лёгкий, гулкий. Кам взял его в левую руку и приподнял, пробуя, хорошо ли натянута кожа.

Как только Аларчон облачился в своё одеяние, а в руках его оказались бубен и колотушка, не стало того вялого низенького вислогубого человечка, который, казалось, сам себе был в тягость. Перед хаза-тайгинцами стоял сверкающий чёрными глазами, весь напряженный, молодцеватый кам.

«Тум-мп!» – Аларчон ударил в бубен и быстро крутанулся. Полы шубы плеснулись за ним, и тотчас же вокруг его ног рассыпался мелкий-мелкий дрожащий звон.

«Тум-мп!» – Кам развёл и свёл плечи, и в такт этому его движению звякнули и щёлкнули бубенцы, привязанные к рукавам и спине.

«Тум-мп!» – Бубен словно сам подпрыгнул, а колокольцы и побрякушки залились звоном.

Кам начал священный танец...

«В Хаза-тайге тревога!» – ёкнуло сердце Фёдора. Подтолкнув пленного к Апаху, Фёдор осмотрелся. В сумерках смутно проглядывается озеро, лес на том его берегу, на опушке костры. Барабан гремит...

Он подозвал Апаху.

– Спроси ты его, чего они там заколготились.

– Э, Улуг Пёдор, не пугайся. Приехал кам. Это его бубен. Для нас это лучше. Когда глухарь токует – ничего не слышит.

– Вот оно что! А ну, ребята, поспешай!

Внизу их ждал отряд. Отозвав Фёдора в сторону, Жарков сказал:

– Пленным займёмся сейчас же. А когда пойдёте с Кормасом к той пещере, возьмите ручной пулемёт. И вот – ракеты. Сбейте главное охранение. На лагерь не нападайте. Сигнальте нам. Его возьмём потом, общими силами... На опасное дело посылаю тебя. Не горячись, будь осторожен!

Отряд уже вытянулся гуськом по лыжне, когда Фёдор, обернувшись, увидел – кто-то лишний идёт сзади. Остановился, пропустив мимо себя Апаху и других бойцов, пригляделся к замыкающему.

– Сабис! Я ж тебе не велел!

– Не могу, ачан Пёдор. Мин клятва давал.

– Знаю твою клятву... А с нами тебе нельзя. Если себя не жалеешь, парень, ты хоть про дедушку Хоортая подумай.

Но Сабис упрямо твердил:

– Андагы Тойон, Соловый... Айнам тутча... Сейчас меня прогонишь, всё равно догоню... Ночь буду идти – догоню...

– Эх, палам, палам, – неожиданно для себя сказал Фёдор. – Ну что мне с тобой делать! Пошли! На вот тебе ракетницу.

Кормас далеко впереди, теперь трудно его догнать. Фёдор тяжело нагружен. У него за плечом громоздкий ручной пулемёт системы «шоша». Губенков выделил из арсенала, оставшегося ещё с девятнадцатого года: партизаны Щетинкина отбили этот иноземный пулемёт у колчаковцев. Они огибали восточную скобу Хаза-тайги, когда Фёдор забеспокоился:

– Апах, спроси-ка его, не подстрелят нас тут, на пути?

Узнав, о чём тревожится Улуг Пёдор, Кормас покачал головой:

– Как на неё с той стороны забраться? Там утёс...

Легко несут Кормаса его лыжи, самодельные, охотничьи, подбитые мехом. Тяжёлый мылтых пригнан так, что не колотит спину. Длинный охотничий нож на поясе не звякает в ножнах.

Идёт Кормас широким скольльзящим шагом, не убыстряя его, не замедляя, хотя прокладывать лыжню по снежному целику нелегко. Петляет лыжня, огибая деревья, каменные торцы. За полночь проводник остановился у расселины и заговорил с Апахом, показывая то на русло ключа, то на каменную стену.

Выше шла расселина: ключ бежит с той стороны, из озера бежит летом, когда в озере много воды. Осенью он маленький. А пришла зима – совсем замёрз. Тут и проход...

– А разве хаза-тайгинцы не могли поставить здесь пост? – опять встревожился Фёдор.

– Не поставили. Какой айна их туда занесёт?

– Но выход воды из озера бандиты видели?

– Когда видеть? Летом в нём вода, сейчас – лёд.

– Как же мы туда попадём? Там, наверно, столько льда, что за неделю не раздолбишь.

Объясняя что-то Апаху, Кормас сначала несколько раз повторил слово «камка». А потом показал на плечи Фёдора.

– Он говорит, в брюхе горы хода два есть, как двуххвостая камча. Ещё говорит, мы с ним мала-мала пролезем, а ты, однако, застрянешь.

Фёдор с досадой посмотрел на свои плечи.

– Нада пробуй. Полушубок снимешь, может, пролезешь.

– Пробовать так пробовать...

Кормас подвёл их к тому месту, откуда летом вытекал ручей. Было видно только отверстие, ведущее в скалу, всё остальное

было в снегу. Большой сугроб разгребали лыжами. Скоро образовался проход, по которому, согнувшись, можно было проникнуть внутрь горы. Лыжи оставили под кедром.

Первым полез, на всякий случай взяв нож в зубы, Кормас, проскользнул Сабис с полушубком Фёдора, за ними Апах, и только потом – сам Фёдор. Такой порядок предложил Кормас – если Фёдор застрянет, они втроем смогут и друг друга держать, и тянуть его наверх. А снизу им помогут остальные пластуны. Но нижняя пещера постепенно расширялась, становилась выше, и Фёдор облегчённо вздохнул.

Кормас вёл их, держа в руках горящий берестяной факел. В пещере дуло, и это убедило Фёдора, что Кормас ведёт пластунов правильно.

Дошли до ответвления, которое забирало под уклон вверх. Кормас опять заговорил с Апахом.

Тут тебе придётся стать кривым шилом, – перевёл тот, а Кормас ещё и рукой показал, что ход изгибается. Пришлось ползти на четвереньках, а потом лёжа на животе. Дальше потребовалось повернуться боком, чтобы обогнуть выступ. Трудно приходилось Фёдору.

Наконец проход стал свободнее, и Кормас, Апах, Сабис, за ними Фёдор и остальные отрядники очутились в другой пещере. Кормас потушил факел. Фёдор одевался на ощупь. На ощупь проверяли оружие пластуны.

– Ходить осторожно! Там выступ, за ним обрыв.

Держась друг за друга, отрядники подошли ближе к зеву пещеры, увидели ночное небо. На разгорячённого Фёдора пахнуло морозом. Кормас привязал аркан.

– Вот она, Хаза-тайга. Там, где костры, их лагерь. Мы его обойдём. Так, что ли, Кормас?

Проводник подтвердил.

Попробовав, крепок ли аркан, Фёдор велел первым спускаться Апаху. Фёдор сосчитал до двадцати, аркан всё ещё был тугим. На счёте двадцать пять ослаб, а затем задёргался. Значит, Апах спустился благополучно.

Соскользнул по аркану Сабис. Один за другим спустились отрядники. Теперь те, что внизу, ждали только Фёдора и Кормаса.

Спускаться Фёдору пришлось труднее других. Аркан раскачивался, скользил. Вдобавок тянул вниз тяжёлый «шош». С большим облегчением он вздохнул, когда его ноги коснулись твёрдого.

Пичон рано ушёл с камлання. Не сняв полушубка, только растягнув его, прилёг в избушке на узкий топчан. О многом сегодня необходимо было подумать. Аларчон и Тойон привезли худые новости. Там, в аале Собат, собрался большой отряд красных. Вот-вот выступит. А куда? Конечно, пойдёт на Хаза-тайгу. А может быть, красные уже у ворот Хаза-тайги?

Правильно ли он сделал, что бежал сюда из аала? Сначала гнал страх. Но потом, в избушке Кормаса, было время всё хладнокровно обдумать. Хаза-тайга – последняя его ставка. Слишком крупную игру вёл Пичон! Но карты перетасованы, а два главных козыря, на которые он надеялся, так и не вышли. Петрицкий торопит с отделением Хакасии, а сам отсиживается под крылышком у японцев. С Унгерном в этот раз связаться не удалось. Да ещё Серге... Как глупо погиб! Стоило ли при таких обстоятельствах самому лезть в капкан? А ведь в самом деле похожа на капкан Хаза-тайга. Эти скобки... Сюда нет лёгкого входа. Но и отсюда нет выхода, если враги рядом.

«А не рано ли, – думает Пичон, – поддаваться таким паническим мыслям? Ведь у меня есть армия. Если будет бой, ещё неизвестно, кто кого. Самохвалов не терял времени. Крепко закрыл ворота Хаза-тайги. Бесполезно штурмовать их в лоб. Будь у Жаркова вдвое, втрое больше людей, чем у меня, и то простоим до весны. А весной, если только Унгерн соберётся идти через Хакасию, мы сами хлынем отсюда, затопим и Аскиз, и Хастум, и Минсуг».

Вспомнился ему Хоортай. «Правдолюбцем слывёт в аале. Этого русского выгораживал, сумел расколоть сеок Хапына. Каной, Апах, Пулат и многие другие за ним пошли. Байский скот делили. А ведь раньше был смирный. Что же это происходит с хакасами, если даже старик – в чём душа держится – почувствовал силу? Или это всё из-за русских, которые селятся в наших аалах? Да нет, не все русские одинаковы. Вон Фрол – русский же... Главное сейчас – отсидеться в Хаза-тайге. Только зря Кормаса отпустил – нужно было предупредить его: мы с тобой одной верёвочкой связаны, так что и тебе другой дороги нет. Может быть, Кормас и ещё пригодился бы в случае чего... Что это так громко стучит? Бубен?»

Мысли и мысли, одна тянет за собой другую. Хочется отдохнуть от них... Он встаёт, начинает ходить по избушке, сунул руку за пазуху, вынул плоскую металлическую коробочку, подержал на ладони, спрятал снова. Вдруг до него донеслись крики, удаляющийся конский топот.

Что там такое произошло, у большого костра?

Мухортый не стоит спокойно в загородке – то в одну сторону метнётся, то в другую. Тут остатки его косяка. Зимовка у коней полуголодная, новые хозяева ленятся подвозить корм, всё больше на подножном косяк Мухортого. Время от времени коням достаётся по охалке соломы. А ещё им рубят тальник, который они обгладывают добела. Косяк этот хаза-тайгинцы держат на мясо. За ездовыми конями – другой уход. Те стоят в другой загородке.

Что-то Мухортого тревожит, какие-то запахи он чувствует, напомнили они ему большой табун. Двигает Мухортый ноздрями, а сам всё ближе, ближе к пряслу. Тут он недавно пытался копытить снег,

чтоб ущипнуть клочок сухой травы. В самой загороди всё выщипано, а за ней – есть трава, да жерди мешают.

Ударил копытом по жердине – та затрещала, колья, державшие её, зашатались...

Надо ему из загородки туда, где пахнет табуном. Нет, не табуном. Только у коня золотистый масти был такой запах. На нём табунщик ездил...

Мухортый поворачивается к пряслу и лягает его задними копытами.

Он одним прыжком перемахнул скорей туда, на этот запах. Недалеко от избушки поставлен Соловый. Он привязан к дереву за чомбур уздечки, на нём попона, а перед самой мордой – сено. Не заржал, а взвизгнул Мухортый. Кружит, подбирается к Соловому, обнюхаться с ним хочет. Оба жеребцы, обоим им надо достать друг друга зубом или копытом.

А Соловый запереступал, забился на чомбуре. То зад повернёт к Мухортому, то оскаленную морду. Силы у Солового больше, он молодой, его хорошо кормят. Но Мухортый, худющий и злой, кажется ему страшным, кажется ему врагом. Подобрался-таки Мухортый к Соловому, хватил зубами за холку. Соловый рванулся из всех сил, порвал чомбур. Жеребцы заплясали, закопытили друг перед другом.

К дерущимся коням прибежал Тойон. На крик Тойона явились Иген и Апсалай. В разные стороны кинулись жеребцы. Хаза-тайгинцы погнались за обезумевшими конями... Оказавшись в Хаза-тайге, Фёдор осмотрелся. Вот оно, вражье гнездо! Хотя и глубокая ночь, а всё-таки можно разобратся – вон темнеющий лесистый склон. Там, у подножия, лагерь. Горят огни, спуют люди.

Землянки от Фёдора справа, в версте. Слева – утёсистая стена восточной скобки. Надо двигаться вдоль неё, к ущелью. Пластуны пошли, прижимаясь к скалам.

– Держись ближе ко мне, – говорит Фёдор Сабису.

Идут гуськом. Впереди – Кормас, за ним Фёдор, потом Сабис, Апах и остальные отрядники. Вот и поворот в ущелье. Здесь, в кустах, пришлось залечь. Долго наблюдали пластуны за ущельем, стараясь определить поточнее, чем оно перегорожено и где охранение. Фёдор думает: «Надо, чтобы те, из землянок, в спину нам не ударили. Придётся на засеку идти не всем – оставить тут прикрытие...».

Вдруг он услышал крики, доносящиеся от большого костра и перекрывшие звуки бубна. «Неужели о нас пронюхали?» Послышался топот копыт, и прямо к воротам Хаза-тайги помчался конь. Всхрапывает конь, верхового нет. Что за притча? Закричали в ущелье. Ловят коня или заворачивают? Два или три человека бегут от лагеря к засеке – кричат: «Ат!.. Ат! Тударгаат!». А в ушах Фёдора это звучит «ад».

– Апах, ты видишь? – показал он на бегущих. – Скажи Кормасу и всем – за ними... Тоже кричите: «Ат! Держите!».

Пластуны пропустили хаза-тайгинцев, а потом побежали сами.

Впереди темнеет какая-то масса, наверно, завал из брёвен. По ущелью мечется ошалелый конь, его ловят. Пластуны тоже бегут с криками «Ат! Ат!». Фёдор где-то в стороне, где тень от скалы, где кустарник погуще. Наконец, вот она, засека – совсем рядом. Бандиты думают, что это бежит подмога.

«Сейчас, – колотится у него сердце. – Сейчас... Но только не надо, чтобы наши перемешались с ними». Рывком он отрывается от кустов, бросается к засеке, опережая пластунов. Только теперь в той группе хаза-тайгинцев, что ловит коня, замечают – это кто-то чужой! Но Фёдор не даёт им опомниться. Пулемёт брызнул пламенем, зарокотал в его руках...

– Ракету, Сабис!

В окно избушки плеснуло красным и зелёным. Радужно вспыхнул на стене огонёк зеркала.

– Так скоро? – Пичон вытащил наган, бросился в двери. – Пулемёт в Хаза-тайге? Как они прошли? Где Харбинка?

От большого костра в лес бежали хаза-тайгинцы.

– Чаачи, стойте! – кричал Пичон.

Прямо по лагерю хаза-тайгинцев ударил станковый пулемёт.

В ущелье ворвались бойцы Жаркова. Ракеты Сабиса указывали им направление. А Фёдор, чтобы не попасть в своих, зашёл во фланг засеки. Апах подавал запасные диски. Где-то рядом бухает мылтых Кормаса.

– Сдаёмся! – по-русски крикнули с центра засеки.

– Складывайте оружие, выходите!

Варя продвигалась вперёд со всем отрядом. Плечо ей оттягивала тяжёлая и громоздкая санитарная сумка. Она отстала от своих спутников. Вглядываясь в распростёртые на снегу тела, с тревогой думала о муже. Раскатисто зарокотал пулемёт, она не знала, чей. Но вот взвились ракеты, и Варя увидела бандитов, поднявших руки.

– Сестрица, помоги!

Варя сделала несколько перевязок. Ей светили время от времени взвивавшиеся ракеты.

Кто-то медленно полз в зарослях, тяжело, надсадно дыша, изредка вскрикивая от боли. Потом вдруг затих. Умер? Варя заспешила.

С трудом разглядела лежащего ничком человека. Человек не шевельнулся, но Варя скорее почувствовала, чем поняла, что он жив. Она осторожно стала переворачивать его на спину.

– Где тебя, родимый? Куда угодило-то?

Свет вспыхнувшей ракеты проник и сюда, в заросли. Варя успела увидеть бледное, темнобородое лицо.

– Варя, узнаёшь? Это я... Фрол.

– Ты?!

– Ваша взяла, вот оно как! А я... послушай... Знал, что не судьба. Искал тебя...

– А как ты Фединоного отца... Как дочку нашу!..

Харбинка куснул снег, забился головой о носки её затоптанных валенок.

– Не виновный я.

Кто-то резко взял её за руку. Она обернулась и увидела Жаркова.

– Так это Самохвалов?

Варя кивнула. Жарков сказал бойцам:

– Возьмите этого, – и показал на Харбинку. – У нас с ним будет особый разговор. Кладите его на эти салазки...

– Хара-айна, где Самохвалов? – кричит Пичон. Красные прорвались непонятным образом, но теперь некогда это выяснять. Важно остановить бегущих.

– Чаачи! Стойте, чаачи!

Пичону и жарко, и холодно. Пот заливает лицо, кожу на спине подирает мороз. Того и жди, настигнет пуля. Вот одна из ракет повисла, стало всё видно, как на багряной заре. И тотчас же по опушке ударил пулемёт. За секунду до того, как ракета догорела, Пичон успел разглядеть впереди наступающей цепи фигуру ненавистного Улуг Пёдора.

«И он здесь?! Как пробрался? Не врут ли мои глаза?» А глаза выхватили рядом с Полынцевым ещё парнишку – тот закладывал новый патрон в ракетницу. «Это же Хоортаев кучук – Сабис!»

Ему кажется: цепи красных бойцов идут на него одного и стреляют только по нему. «Если здесь жив останусь – в Минсуге расстреляют».

Опять вспыхнула ракета. И уже совсем близко – ломкий юношеский басок:

– Ачан Пёдор, вон он бежит!

Этот щенок Хоортая указывает на него русскому.

– Сто-ой! Руки вверх! – кричит Полынцев и стреляет. Может, нарочно бьёт мимо?

– Живым не дамся, – Пичон резко оборачивается, вскидывает наган, наугад стреляет в своих преследователей.

– Ханчы! – кричит кто-то сзади. – Всё равно не уйдёшь.

«Уйду!» – бежит к избушке, запирает дверь на засов. Выстрелил в окно, теперь сунутся не сразу. Слышно – добежали, топчутся, скрипит снег. Кто-то полез на крышу. Зачем? Гранату – в трубу?!

«Значит – всё. Конец мне!» – скрипит Пичон зубами. – Но погодите, скоро наши тряхнут вас! Жалко – не увижу, – он застонал. – Ну что же, первый президент отделённой Хакасии... Вместо «жёлтого жеребца» получай «белый силок».

При вспышке очередной ракеты на ладони у него блеснула металлическая коробочка: стрихнин, которым травят волков.

### Эпилог

Любят саянские беркуты солнечную хакасскую степь. Много их кружит весной над здешним аалом, и люди привыкли к птичьей карусели над своими головами. Но такого огромного беркута, который кружит сейчас над Хара-Кургеном, никто из степняков не видел.

Беркут не пепельно-серый, с огнистым отливом – зелёный. Крылья его не машут – неподвижно раскинуты в стороны, и снизу на них можно увидеть две красные звезды. К Хара-Кургену из аала повалила толпа.

Маленький биплан ещё крутил красным пропеллером, когда аальцы с опаской остановились в небольшом отдалении от него. Пилот поднялся, вылез на крыло, подал руку кому-то, прилетевшему с ним.

И тут толпа издала удивлённый и радостный крик. Из кабины сначала показалась рука, сжимающая таях. Вслед затем оттуда выбрался Хоортай в новом шерстяном тааре. Один глаз его был прищурен. Запрокинув голову, он посмотрел вверх, где только что летел сам, потом взглянул на аал, на Хара-Курген и теснящихся под ним аальцев. Тут Сагдай, Эпсе, Улуг Пёдор, Варя. А вон – Кнай, Домна, Апах, Кормас. Все смотрят на него, Хоортая, как на человека, который с неба свалился. А он и в самом деле – оттуда. Хоортай пожал руку пилоту:

– Спасибо, труг. Чахсы летел. Один раз в Минсуге думал, другой раз – дома...

Фёдор подошел к аэроплану. Опершись на его плечо, Хоортай спустился на землю. И тут к нему бросились и стар, и мал. Пожимали руки, спрашивали, что он видел в небе, не рассердился ли на него Худай за то, что полетел на железной птице.

– Чох, – замотал головой Хоортай. – Всё небо объехал, Худай не видел.

– Он так испугался тебя, что за облако спрятался, – улыбнулся шутник Апах.

– Однако так, – откликнулся Хоортай и заговорил важно: – Послушайте ещё, какая новость. Советская власть хочет, чтобы хакас-кизи сами степью распоряжались. Для того в Минсуг звали. Много аксакалов-коммунаров было. Из Хуба-чара, из Шира, из Аскиза...

– Степью распоряжаться? Сами? Без русских большевиков?

Хоортай взглянул в ту сторону, увидел сильно постаревшего

за зиму Хапына. Бывший бай стоял в старом тааре, перетянтом сыромятным ремешком. Редкая борода его тряслась, глаза слезились. Табунов нет, Тойон бежал, когда его везли из Хаза-тайги. А отца успел ограбить – шкатулку увёз. И всё-таки Хапын ещё думал о чём-то своём...

– Зачем без русских? С ними – только без наших баев, – ответил по-хакасски же Хоортай. – На совете в Минсуге об этом говорили.

– А помнишь, Хоортай Мангирович, Пичон-то? – спросил Фёдор. – Отделённая Хакасия?

– Пичон хара-айна... Пичона выбирать баи ездили. Хапын ездил. Настоящие Советы делать – Хоортай позвали...

Солнце искоса осветило изваяние на Хара-Кургене, каменное лицо будто дрогнуло. Но тот же луч нашел маленькую красную звёздочку над могилой Зойки. Звёздочка ярко блеснула, Хоортай понял: Улуг Пёдор и Варя видят сейчас только эту звёздочку. Он поглядел в степь.

А где Сабис? Не видел, как дедушка с неба спустился? И лишь он подумал об этом, заметил мчащегося Солового и на нём два всадника. Сердце старика радостно дрогнуло...

Рассмотрев, кто же там на коне с его внуком, он улыбнулся.

Сабис направил Солового прямо к диковинному беркуту, но конь, обеспокоенно кося глазом, всхрапнул, застриг ушами и осадил назад. Парень спрыгнул и, совсем как алып из сказки, подхватил Марик, на вытянутых руках перенёс по воздуху и поставил около себя.

– Эй, Марик! – смеясь, воскликнула Кнай. – Где это ты моего брата задержала?

– Сабис, палам! – опираясь на таях, Хоортай шагнул навстречу внуку.

– Агам, как этот летел, – Сабис ткнул пальцем в сторону самолёта, – мы видели и слышали. Марик сильно испугалась.

Смотреть стали – к Хара-Кургену спускается. Поедем, говорю, скорее. Интересно...

Лётчик, сдвинув на затылок шлем, подошёл к Фёдору и Варе.

– А вы как сюда, к ним? Случайно или, может, Губенков направил?

– И то, и другое. Сперва ненароком... Длинная история. Не обошлось без Егора Кузьмича. А потом накрепко прибились...

Фёдор, посуровев, оглянулся на Зойкину могилку и крепко сжал локоть Вари.

– Ну и правильно. Я вот тоже привык тут... – лётчик улыбнулся. – Впрямую породнился с ними. Жена – хакаска.

– Дедушка, – тормозил старика Сабис. – А хорошо тебе было там? Тебя этот орыс по небу катал?

Лётчик подошёл к нему, подтолкнул поближе к машине и, медленно подбирая слова, заговорил по-хакасски:

– Эх, оол, покатай бы тебя с твоей хыс...

– Чахсы! – вырвалось у Сабиса, и он торжествующе оглянулся на Марик.

– Да вот бензина маловато. Только до Минсуга добраться...

– А хоть посмотреть, что там, можно?

– Это можно! Только недолго.

...Когда Сабис спрыгнул с крыла, Хоортай спросил:

– Ну что, палам? Не хочешь ли седло Солового поменять на седло крылатого коня?

– Обязательно! – ответил за парня лётчик. – Он уже мне сказал.

Хоортай разгладил бороду, глянул на небо, где тянулись один за другим облака.

– Слышали, люди? Подрастёт мой внук, станет небесные табуны пасти. До самой Москвы долетит... Ленин его увидит, подзовёт: «Это твой дедушка к Хара-Кургену по небу прилетел?».

– «Мой. И совсем, однако, не боялся!» – «Молодец Хоортай, – скажет Ленин. – А ты, Сабис, сам теперь такой машиной править умеешь. Первый из всех хакас-кизи!» Так он скажет. Москову тебе велит показать... Не веришь, палам? – Старик хитровато прищурился, глаза его почти совсем закрылись. – Не веришь? Вон спроси Улуг Пёдора!

И Хоортай нежно обнял внука.

## Родная моя земля

Хакасия – земля родная!  
Ты существуешь с давних пор.  
Жила ты, светлых дней не зная,  
Терпя бесправия позор.

Курганов каменные плиты  
Стоят, как тяжкой жизни след.  
Они, как люди, с тьмою слиты,  
Согнулись спины их от бед.

На всём следы бывших страданий.  
И если вслушаться в ручей,  
То звук старинных причитаний  
Послышится в тиши ночей.

Как много – каждый неизвестен! –  
Хакасов гибло на пути.  
И сколько сладкозвучных песен  
Не вырвалось из их груди.

\* \* \*

Вот здесь, где Уйбат коромыслом согнут,  
Где холм крутой, словно круп коня,  
Где травы степные в июле сохнут,  
Мать родила в дымной юрте меня.  
Вот здесь и жизнь началась моя.

\* \* \*

...Спешите же, Сибирь, на фронт!  
– Спешу! – она отвечала,  
и юный сибирский воин  
Прощался с женой, с ребёнком  
под тополем молодым.  
Он сам был, как тополь, гибок,  
он сам был, как тополь, строен,  
Но грозная мощь Сибири  
была с новобранцем – с ним!

## **Весна**

С зелёной листвой и цветами, и с пеньем  
В мой город приходит весна.  
Хожу по полям и по паркам весенним,  
Везде перемена видна.

Цветок улыбнулся мне, словно девчонка,  
Накинувши белый платок.  
И птицы в степях соревнуются звонко.  
И тянется к солнцу росток.  
Все рады весне: и скотина, и птица.  
Цветами украсился луг.  
А ирис, желая пышней нарядиться,  
Открыл свой зелёный сундук.

## **Мать**

Трудами рук твоих прославлена она.  
И у народов всех – любая будь страна –  
На языке людей – хоть обойди весь свет –  
Дороже слова «мать» и не было, и нет!

## **Цветок**

Степной цветок –  
Краса природы,  
И вешний цвет её лица –  
В легендах моего народа  
Ты был прославлен без конца.  
Распространяя запах сладкий,  
Ты пчёл зовёшь на пир земной  
И разрешаешь без остатка  
Брать сок из вазочки резной.  
Да, угощаешь ты на славу...  
А в дни, когда листва падёт  
И на холмах увянут травы,  
О лете нам напомнит мёд.

\* \* \*

Галина, друг мой, на войне  
Ты для меня родною стала.  
Ты мало знаешь обо мне,  
И о тебе я знаю мало.  
Но лишь врага мы разобъём,  
Ты приезжай в Аскиз, Галина.  
Как лучший друг, войди в мой дом,  
Как званный гость, явись, Галина.  
Тебя я знатно угощу  
Душистым потхы и айраном.  
Тебе я песню посвящу,  
В тиши склоняясь над чатханом.  
Галина, помни: смолкнет бой,  
И ветер дым рассеет сизый,  
Я буду встречи ждать с тобой  
В степи, в родном своём Аскизе...

### **Чатхан**

Рокотали по ночам чатханы...  
Шла молва, что дед – улуг-хайджи.  
А потом он умер. На прощанье  
Завещал мне петь и долго жить.  
И чатханы мерно, то устало  
Древними легендами звенят...  
И с тех пор стихов уже немало  
Вытекло из сердца у меня.

# Книги Николая Доможакова

---

*на русском языке*

**Поёт река Абакан: стихи.** – М.: Сов. писатель, 1957. – 85 с.

**Приглашение: стихи.** – Кызыл, 1966. – 33 с.

**В далёком аале.** – Красноярск, 1970. – 232 с.

**В далёком аале: роман.** – М., 1970. – 80 с. – (Роман-газета).

**В далёком аале.** – М., 1972. – 207 с.

**В далёком аале.** – Абакан, 1972. – 207 с.

**В далёком аале: роман.** – М., Современник, 1974. – 287 с.

**Чатхан: избранные стихи.** – Красноярск, 1976. – 160 с.

**Избранное: стихи.** – Абакан, 2012. – 203 с.

## Первопроходец

---

Николай Георгиевич Доможаков – видный деятель культуры Хакасии – учёный-исследователь, поэт, автор первого романа на хакасском языке. Родился он в 1916 году в улусе Хызыл-Хас в Хакасии. Учился в педагогическом училище, а по окончании его работал сельским учителем, инспектором народного образования, стал одним из составителей учебников «Грамматика хакасского языка» и «Учебник для малограмотных». Затем закончил Абаканский учительский институт и аспирантуру Института языка и мышления, стал организатором и директором Хакасского НИИ языка, литературы и истории (возглавлял его с 1944 по 1955 год). В 1948-м Н. Доможаков защитил диссертацию о кызыльском диалекте хакасского языка и стал первым кандидатом наук в Хакасии. Издал первые стихотворные сборники, переводил на хакасский язык Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Горького, Исаковского, Твардовского.

Писать стихи начал он ещё в студенческие годы, и опубликовал семь стихотворных сборников на хакасском языке. Член Союза советских писателей с 1948 года. В 1949–63 годах возглавлял Хакасское отделение ССП. К роману «В далёком аале» приступил в начале 60-х годов и закончил его в 1976-м. Роман, посвящённый переменам жизни после 1917 года, перевели на русский язык; выпущенный в Москве (издательством «Художественная литература»), он получил широкую известность, издавался на всех языках союзных республик. Роман выдержал 14 изданий, по нему снят художественный фильм «Последний год Беркута» (1977-й год).

Становление Советской власти в Хакасии вовсе не было простым и безоблачным. Гражданская война не имела здесь столь широкого размаха, как в остальной Сибири, но в хакасских степях действовали разрозненные отряды тех, кто не принял большевистский переворот. На передний план в Хакасии вышел вопрос национальный, и классовая резня не была здесь чрезмерно ожесточённой. И отношение автора к состоятельным хозяевам далеко не однозначно. Бай Хапын помогает людям своего сеока.

Писатель сказал однажды: «Хочу понять сегодняшний день, а для этого надо познать прошлое. Есть у меня в романе русский кузнец, Фёдор Полынцев. Я за него боялся: а вдруг не получится образ? Хотелось написать его добрым, честным, написать дружбу двух народов – хакасов и русских, ведь без этой дружбы не может быть романа. Иногда думаю: что случилось бы с нами, хакасами, если бы не русские? И Фёдор, кажется, получился». В известном смысле

ему пришлось подавлять естественные национальные симпатии, широко вводить тему интернационализма.

Война застала Доможакова в Москве, и он участвовал в её обороне. «На каждой крыше люди наготове, стал крепостью московский каждый дом...» Тема войны владела им до конца жизни, хотя он не был в окопах. Он подал заявление добровольца, но по зрению годился лишь к нестроевой службе.

Прежде всего славит он дружбу народов. Русская медсестра Галина вынесла хакаса и отдала раненому свою кровь.

*Галина кровь даёт бойцу  
И видит, видит, как в тумане,  
Что по солдатскому лицу  
Вновь заходил былой румянец!*

Многие стихотворения написаны в форме обращения-наказа. Мать провожает сына на фронт и благословляет его на подвиг. Чисто публицистические обороты перемежаются с лирическими.

*Слушай мой голос, хакасский народ,  
Голос взволнованный мой,  
Силы мне дай от великих щедрот,  
Смертный чтоб выдержать бой.*

Душевную силу и стойкость герои находят в своей малой родине, в её красоте, неповторимости, и осознают мощь и величие большой Родины.

В послевоенные годы Доможаков – партийный работник, руководитель хакасской литературы, создатель школьных и вузовских учебников – был награждён орденами, его именем назван театр, школы и библиотеки. Неоспорима его заслуга: он первопроходец советской хакасской литературы. Но он был правоверно-партийным человеком, и в этом вся сложность его наследия. В 40–50-е годы критики говорили только об отдельных писателях, уроженцах Сибири, вопрос о региональном литературном сознании не затрагивался принципиально. Литература Сибири понималась как тема периферии, воплощённая писателями второго и третьего ряда. Утвердилась концепция «идейного кровоснабжения» (В. Кожевников) провинций центром, что означало калькирование столичной литературы повсюду. При таком подходе формирование направления, тем более художественной школы, исключается. На взгляд западных знатоков, послевоенная советская литература стала провинциальной, а в региональной литературе этот порок принимали за норму. Преобладание бытописательской прозы,

историко-революционной и «производственной» – так можно охарактеризовать состояние сибирской литературы послевоенной поры. Общесибирскую картину мира усмотреть в ней довольно трудно.

В 80-е годы были отмечены основные пороки: мало внимания писатели-сибиряки обращают на наследие аборигенов, их сказания остаются почти невостребованными; региональное литературное самосознание понимается ложно. Чего стоит концепция «ускоренного развития младописьменных литератур»! Она провоцировала самоликвидацию ростков национальной словесности. Постепенно был понят отрицательный урок советской литературы: рванувшись к интернационализму, она оборвала корни и стала глухо провинциальной. Усилия Н. Доможакова в борьбе с этой установкой не замечены.

Умер Николай Георгиевич Доможаков в ноябре 1976 года и похоронен в Абакане.

*А. Казин*



***Софрон Сергеевич Тотыш (1907–1980), шорский писатель, родился в посёлке Томазак (ныне Мыски) в семье пасечника и был младшим ребёнком в большой семье. Участник Великой Отечественной войны, испробовал несколько профессий, начал печататься в 50-е годы. Изучал и обрабатывал фольклор шорцев.***

---

# СКАЗКИ ШАПКАЯ

---

## Сказочник Шапкой

Дочь Шапкая Анначак учење окончила, сама учительницей стала. Домой приехала.

– Ты, отец, прожил трудную жизнь, – сказала она, – теперь отдыхать будешь.

– Не совсем я старый, – ответил Шапкой. – Как я без работы жить буду? Ночью – спи, днём – лежи. Спина болеть будет. Зачем ты хочешь, чтобы руки мои пустыми стали? О чём думать буду, если работы нет?

Три года спорили дочь с отцом.

Анначак говорит:

– Нынче зимой я тебя никуда не пушу!

А Шапкой лыжи налаживает, на охоту идёт.

Говорит Анначак:

– Нынче летом никуда не пойдёшь!

А Шапкой с геологами в тайгу собирается.

Потом время взяло своё. Уволился Шапкой из геологоразведочной партии.

Рано утром стоял он на берегу Мрас-Су. По реке плыли последние льдины. Две большие лодки подходили к противоположному берегу.

– Э-гей! – крикнул Шапкой. – Обождите! Я с вами поеду!..

Но разведчики голос Шапкая услышали, а слов не поняли. Начальник партии обернулся, рукой помахал:

– В гости к нам приходи! – услышал Шапкой.

Долго стоял на берегу Шапкой, на далёкие синие горы смотрел, жизнь свою вспоминал.

«Однако старый стал я... – подумал Шапкой. – Как теперь без работы жить буду?»

Домой пришёл, скучный сидел, трубку курил.

Анначак, дочка, смотрела, смотрела...

– Иди, отец, к нам в школу сторожем работать.

– А что же, – говорит Шапкой, – пойду. Колокольчиком звенеть, ребят с перемены звать – тоже важная работа.

И стал Шапкой в школе сторожем работать.

Школа каменная, двухэтажная. Стоит на косогоре. Если вверх помотришь – новый рудник увидишь. Если под гору помотришь – горную речку увидишь.

В этой речке таймени есть.

Шапкой на рыбалку не один ходит, ребят с собой берёт.

Горит костёр. Над густыми тальниками дым плывёт и поднимается вверх, к красным скалам. Ребятишки хворост для костра запа�ают. Дров мало, а шуму много.

«Однако рассердиться на них нужно», – думает Шапкай.

В это время из кустов озорник Паслей вышел. Идёт, сгорбившись, на правую ногу прихрамывает. Точь-в-точь как Шапкай ходит. В руках у Паслея таёжный цветок – колокольчик.

– Перемена кончилась! – кричит Паслей. – Не слышите разве: перемена кончилась! – А сам машет, машет синим цветком.

– Мой урок начинается, – усмехнулся Шапкай, – опять сегодня меня сказки рассказывать заставят.

А ребятишки Шапкай окружили:

– Дедушка Шапкай, рассказывай скорей!

Усадили Шапкай в середину, сами вокруг расселись.

И начал им старый Шапкай сказки рассказывать, легенды петь...

Если вам торопиться сейчас некуда, так и вы эти старые сказки тоже послушайте.

### Как глухарь хотел быть ханом

Однажды задумал Глухарь прогуляться над горами. Поднялся с земли и полетел.

Глухарь и в те давние годы таким, как сейчас, был: перо чёрное, хвост веером, только брови у него тогда не красные были, а белые.

Летит Глухарь, тайгой любитесь и радуется: ни одна птица ему дорогу не перелетает, ни один хвост не машет перед глазами. Несётся Глухарь один-одинёшенек.

Загордился Глухарь, головой налево повёл... И задрожали косточки у Глухаря: рядом летящая птица в тридцать раз больше ростом, не отставала ни на шаг.

Бросился Глухарь удирать без оглядки. От страха даже пот выступил.

«Если сяду на дерево, не наступит ли беда сразу?»

Полетел Глухарь изо всех сил, крыльями ещё быстрее замахал, а страшилище словно ближе подвигается.

В ужасе обернулся Глухарь и вдруг захохотал: огромная птица тенью его оказалась...

Глухарь так обрадовался, как будто увидел себя вновь рождённым.

– Бывает же так, а? – засмеялся Глухарь. – Убегаешь сам от себя. Но это ничего, наверное, меня никто в это время не видел...

Стал Глухарь разглядывать свою тень:

– Как я не знал, что я такая большущая птица? – удивился он. – Проводишь вот так дни жизни, не зная своей величины!..

Поглядел он, какие у него огромные крылья и хвост. Потом вытянул ноги и посмотрел, какие у его тени когти.

«Да, – подумал Глухарь, – имея такие крылья, ноги и голову, что же я боюсь совы и коршуна?»

Приоткрыв свой клюв и поглядев на тень, сказал:

– Ух, у меня такой большой рот, что я не только соболя, даже медведя проглочу.

Обезумев от радости, Глухарь спустился на землю.

– Другой бы, – стал размышлять Глухарь, – разве жил, как я, смирно? Никого я не трогаю, сам себе пищу нахожу. Ни одну птицу не заставляю служить себе. А другой бы половину яиц и птенцов у птиц отбирал. Однако я, такой огромный и сильный, рождён быть ханом всех птиц.

В это время Глухарь увидел Сороку-длиннохвостку.

– Эй, белобока! – закричал Глухарь. – Поди-ка сюда, посмотри-ка на меня хорошенько со стороны.

Сорока запрыгала вокруг осины, поглядела на Глухаря со всех сторон и пожала крыльями.

– Ничего такого особенного не вижу.

– Эх ты, глупая, – повысил голос Глухарь. – Неужто ты не видишь, какая я огромная и сильная птица?

– Это-то я давно знаю, – застрекотала Сорока, – люди всегда говорят, что глухарь – птица красивая. У каждого охотника в переднем углу ваши хвосты веером прибиты.

– Ты, болтушка, не разбираешься, – заорал Глухарь. – Это из уважения ко мне, как к хану птиц, люди наши хвосты на стенку прибавают! Лети теперь на все четыре стороны. Скажи всем птицам, чтобы ко мне с дарами явились. А поблизости я сам по гнёздам пошарю...

Сорока улетела, а Глухарь спрыгнул с осины и пошёл по кустам и по веткам. Маленькие птички в страхе бросились прочь.

– Вот, знайте, знайте, что я теперь ваш хан! – кричал Глухарь, ломая чужие гнёзда, а сам на небо посматривал.

Немного времени прошло, поглядел Глухарь, а над лесом птицы тучей поднялись и к нему летят. Обрадовался Глухарь и поскорее сел на самую вершину ели. Голову гордо поднял, как и подобает хану.

Что такое? Слышит Глухарь: шум, свист кругом.

– Злодей! Разоритель!

– Я ваш хан! – закричал Глухарь и веером распустил хвост.

– Разбойник ты! Наши гнёзда разоряешь! – зашумели ласточки, скворцы и чижи. – Ты думаешь, раз ты большой и сильный, так тебе всё можно?!

Растерялся Глухарь, что сказать – не знает. А птицы окружили его, щиплют, клюют, крыльями бьют.

– Не хотим такого хана! – кричат. – У тебя только хвост красивый, а душа недобрая.

Бросились все вместе на Глухаря, стащили его с вершины и начали расправу чинить.

– Будешь ещё худо делать? Будешь ещё ханом над нами становиться, гнёзда наши разорять?

Заплакал Глухарь:

– Простите меня. Всё это по глупости своей я сделал...

А сам плачет, плачет... Так плакал, что даже глаза у него покраснели.

Побили птицы Глухаря и отпустили его в лес.

И сейчас Глухарь в лесу живёт. Но только с тех пор у него вокруг глаз краснота так и осталась.

### Совушка-завидушка

Недалеко от берегов Бель-Су в сумрачном густом лесу жила-была Серая Совушка.

Днём она спала. А как только солнце скроется за горы, Серая из своего дупла вылетит и сидит пеньком всю ночь, своими большущими глазами всё оглядывая.

Многих ночных охотников она видела и всегда обижалась, что никто ей подарка не преподнесёт. А самой ловить и летать Совушке было совсем неохота.

Однако, голод – не мать, не сёстры. Он заставляет шевелить мозгами, думать о том, как добыть пищу.

«Спою-ка я свою красивую песню, – думает Совушка. – Авось Филин услышит и прилетит сюда из-за реки. До Бель-Су дойдёт с дружбой, оттуда с любовью. Тогда Филин никуда не денется: помогать будет мне».

И она запела. Громкий залиvistый крик разнёсся далеко по тайге, нарушая ночную тишину:

– Говорят, ночами тёмными все спят,

Ха-ха-ха-ха-ха.

Я не сплю, кругом всё вижу,

Ожидаю я тебя.

Ху-ху-ха-ха-ха.

Услышав страшный хохот, проснулись все птицы в окрестности и улетели подальше. А звери, с опаской оглядываясь, прочь подались. Даже рыбаки, которые у реки рассказывали сказки, замолчали.

Лишь одному ушастому Филину за Бель-Су показалась песня Совушки приятной и призывной. Он как стрела прилетел к Совушке и спрашивает:

– Ну, как живёшь, молодушка-красавушка?

– Жила бы я припеваючи. Тайга наша богата. Но здесь звери-охотники – все жадобы, – пожаловалась Совушка. – Недавно я придумала: полечу-ка на склон горы. Там всегда на ночь спать садится чёрный Глухарь. На днях этого Глухаря поймала росомаха, а мне не дала даже кусочка. Хотела потом я поймать в долине зайца. Откуда ни возьмись – тупохвостая рысь. Разорвала бегуна, даже шерсти не оставила мне. Теперь хитрющая лиса повадилась бывать в этом лесу. Наловит мышей, наестся и уйдёт к себе. А я всё сижу с пустым клювом. На днях рыбаки на берегу забыли маленькую рыбёшку-ельца. Пришлось эту дохлятину есть. Не могли уж люди оставить мне большую рыбу – налима или тайменя. У меня прямо на всех зла не хватает. Живут вокруг все нехорошего нрава. Мать и сёстры говорили мне: живи в этом сумрачном лесу, всегда будешь сыта. Теперь надежды у меня только на тебя, Филин.

– Ху! – удивился Филин. – Неужто ты, Совушка, всё сидишь у своего гнезда и ждёшь, что кто-то тебе что-либо принесёт. С какой радости? Ты молодая, здоровая. Самой надо охотиться! Сейчас не снежные месяцы – смотри: калина уже цветёт. В лесу и в реке пищи вдоволь. Вокруг тебя сколько мышей бегают, а в Бель-Су окуни кишат.

– Не умею я мышей ловить, – сказала Совушка.

– А мать учила тебя охотиться? – спросил Филин.

– Мать? Мать сама ловила. Я только глядела да ела.

– Помучайся – и научишься! Тогда и я буду дружить с тобой. А с бездельницей какая дружба!

Филин больше ни слова не сказал и вихрем домой полетел. Совушка отчаялась, всякую надежду потеряла. А подумала-подумала и надумала – самой охотиться надо.

Вот однажды ночью Совушка над рекой Бель-Су летит и внимательно приглядывается, какие рыбы вдоль берегов ходят. Всё мелкота одна. А ей хочется поймать большого тайменя или налима.

Вот в одном плёсе у самого берега, словно полено, огромный налим лежит. Глаза у него белые, значит, крепко спит.

На сердце Совушки стало тепло, и подумала она: «Этого вытянуть стоит трудов».

Зорко всматриваясь в спину налима, она словно застыла. Потом сложила бесшумные крылья, лапы с кривыми когтями вытянула вперёд и камнем упала вниз прямо на налима. Глубоко в спину рыбы вонзились совушкины когти.

Вода забурлила, во все стороны брызги полетели. Совушка старалась всеми силами поднять налима вверх. А налим тянул её вниз, в глубину. Казалось, одолевает Сова, раз даже спина налима мелькнула над бушующими волнами. А потом оказалась Сова по самую грудь в воде. Завидующие глаза её с тоской смотрели на род-

ные леса. Пыталась она бросить налима, но когти Совы крепко за-  
сели в спине налима. Рыба за собой Совушку тащила. Всё глубже  
и глубже погружалась в реку. Совсем уже скоро гибель ей. И тут  
вдруг удалось ей отцепиться от спины налима, и Сова стремглав  
взметнулась в небо.

– Ух, слава тебе, что вырвалась, – шептала Совушка. – Надо охо-  
титься теперь на мышей да ельцов, за теми, кто поменьше.

С тех пор много воды ушло по Бель-Су. Говорят, Совушка теперь  
перестала завидовать другим охотникам. Ищет себе добычу по си-  
лам. И жить ей стало спокойней и веселей.

### Лось и лягушка

Давно это было.

Молодой Лось на бегах всех зверей в тайге обогнал, и поэтому  
загордился. Перестал со зверями дружить, недостойными себя  
стал их считать.

Однажды, гордо подняв голову с разлапистыми рогами, шёл он  
по лесу, легко перепрыгивая через пни и валежины. Ему хотелось  
показать себя всем жителям края.

Вдруг он увидел: на большом камне лежит кто-то зелёный.

– Почему у тебя спина такая шершавая? – спросил Лось.

– На войне была, шесть лет пушку на спине таскала, – ответила  
Лягушка.

– А почему у тебя задние ноги такие длинные?

– Я в молодости на скакуне седоком была.

– Может, ты и сама бегать умеешь?

– Могу, – смело ответила Лягушка.

– Наверное, ты и меня можешь обогнать? Давай побежим во-  
круг этой тайги.

– Согласна, – сказала Лягушка. – Только через месяц. Мне надо  
малость ноги размять. Давно не бегала.

Договорились Лось и Лягушка и разошлись.

Как только Лось ушёл, Лягушка поскакала по тайге. И всех  
остальных лягушек стала просить:

– Будет здесь бежать мимо Лось, так вы громко квакайте.

Тайга была большая, а Лягушка маленькая. Целый месяц ей  
пришлось вокруг тайги скакать.

Встали они рядом и побежали.

Помчался Лось, как стрела из костяного лука, только ветер за-  
играл в рогах.

А Лягушка, сделав два-три прыжка, повернулась, залезла на  
свой камень и легла.

Мчится Лось по тайге, как пуля. На бегу кричит:

– Где ты, Лягушка?

А Лягушка ему отвечает впереди:

– Я здесь, догоняй!..

Ещё быстрее мчится Лось, опять спрашивает:

– А теперь ты где, Лягушка?

– Да вот я, впереди!..

И сколько Лось ни бежал, Лягушка всё время впереди квакала.

Когда Лось добежал до места, откуда они бежать начали Лягушка на камне лежала, лапкой обмахивалась.

– Ты уже здесь? – удивился Лось, задыхаясь от усталости.

– Я давно уже тут, – ответила Лягушка. – Рано, видно, зазнался ты, бегуном стал себя считать.

Лось от стыда голову опустил, на болото ушёл.

С тех пор много девяностолетий прошло. А лоси и сейчас на лягушек сердятся, разные дороги в тайге выбирают, не хотят вместе с лягушками бегать.

### Ленивый Бурундук

В конце лета это было. Уже запестрели большие таёжные цветы. Давно поспела малина, издалека стала видна красная смородина. А в кедровых шишках созревали крупные орехи.

Все таёжные жители запасались продуктами на долгую зиму. Краснощёстная Белочка, пробегая по склону бурундуковой горы, увидела вдруг: сидит себе Бурундук спокойно на пеньке и в ус не дует.

– Цок-цок! – удивилась Белочка. – Ты почему в такое страдное время сидишь и дремлешь?

– Ци! – улыбнулся Бурундук. – Когда сильно жарит солнышко, я всегда выхожу из норы и сажусь здесь.

– Цок-чек! Больной, что ли?

– Цу! Нет, – ответил Бурундук. – Просто набираюсь тепла, чтобы зимой не мёрзнуть.

– Чек-цок! Какой толк от безделья? – сказала Белочка. – Давай лучше жиру наберёмся. Пойдём вон на тот кедр. Поднимемся на него и полакомимся сочными орехами!

– Фу! Подниматься на такую высоту... – покачал головой Бурундук. – Оттуда как брякнешься – и костей не соберёшь.

– Тогда побежим в грибовую долину, покушаем свежих опят.

– Ух! – вздрогнул тяжело полосатый. – Ножки заболят. Чего доброго, ещё споткнусь и изувечу лапки. На всю жизнь хромым останусь.

– Ну, раз так, вон совсем невысокие кусты смородины и малины, покушаем вкусных ягод.

– Ой! – застонал Бурундук. – Надо ягоды брать передними лапками. Попадёт заноза в лапку, заболēju.

– Но если так, поищем здесь, около кустов, землянику.

– Ух! Искать... – махнул лапками Бурундук. – Глаза надо напрягать, что хорошего, если ослепну... Как тогда этот пенёк найду в жаркие дни?

– Цок-цок, жарко сегодня, – сказала Белочка. – Пойдём к речке, искупаемся.

– Ох, шкурка моя отсыреет, простужусь и слягу. Тогда из норы не смогу выйти.

– А что ты так всего боишься? – наконец спросила Белочка.

– А чтобы не принести горя матери, – сказал Бурундук. – Она у меня старенькая, меня с большим трудом вырастила. Боится всё, чтобы со мной плохого не случилось. Всё она сама делает.

### Муравей Кымыс

Совсем недавно такое случилось.

В верховьях Мрас-Су, среди зарослей тальника, на высоком обрыве, большой муравейник стоял. И сейчас там же стоит. Живут в нём большие красноватые муравьи, целый день всё хлопочут и работают. То из лесу соломинки, палочки для постройки волокут, то муравьиных коров – тлей – пасут, то всяких мух-комаров в кладовые тащат.

Все трудятся. Один только муравей – Кымысом его зовут – утром из муравейника выйдет, в кусты завалится и до вечера с боку на бок перекатывается.

Наработаются муравьи, устанут, спать лягут, а лентяй Кымыс в склад заберётся, самое вкусное себе на ужин выберет, поест и тоже спать завалится.

Долго ли так, нет ли, только муравьи наконец замечать это стали. Следить начали за Кымысом.

Однажды застали они лентяя спящим в кустах.

– Кымыс, что же ты лежишь, когда все работают? – спросили они.

– Что вы? Что вы? – запищал Кымыс. – Я просто жду, когда с листьев роса спадёт. А то промокнешь, и заболеть недолго. Вот трава подсохнет, и я пойду на охоту.

Муравьи поверили, опять своим делом занялись.

Настал полдень. Росы уже давно не было, а Кымыс так и не показывался из кустов. Опять муравьи его на том же месте нашли.

– Почему лежишь? – спросили они. – Уже полдень!

– Что вы? Что вы? – плаксиво заговорил Кымыс. – Жара стоит нестерпимая. Сейчас только и сидеть в тени. Будет прохладней, пойду работать.

Опять поверили муравьи.

Вечер наступил, Кмыс домой пришёл. Да только опять ни с чем.

– Снова целый день проспал?! – рассердились муравьи. – Мы тебя, лентяя, кормить не станем!..

– Братья, – взмолился Кмыс, – завтра я самым первым на работу пойду, за десятерых работать буду.

Ещё раз простили муравьи ленивого брата, накормили.

Утром Кмыс в самом деле с братьями в лес пошёл. Но толку от него было мало: болтал много, а не работал. Соломинки ему тяжёлыми казались, комары и мошки – тощими. А к вечеру Кмыс как в воду канул. Исчез. Сколько его муравьи ни искали – не смогли найти.

Сбежал Кмыс, куда глаза глядят. Забрался в такую глушь, что самого себя испугался.

– Тут и буду жить, – решил Кмыс. – Не хочу, чтобы меня работать заставляли.

И устроился под корягой на листочке.

Но в полночь зашумела тайга, подул ветер, засверкала молния, и пошёл дождь.

Замёрз Кмыс, проголодался. Начал братьев звать. Но сколько он ни кричал, никто ему ни разу не отозвался. Попробовал Кмыс на дерево взобраться, посмотреть, где муравейник, но у него сил не хватило. Побрёл тогда Кмыс сам не зная куда.

Наконец он совсем выбился из сил и в изнеможении свалился под пенёк. Только начал дремать, как его разбудило свирепое рычание. Открыл Кмыс глаза и увидел перед собой Медведя.

– Зачем ты сюда забрался? – строго спросил Медведь, скаля зубастую пасть.

– За дровами я ходил, заблудился, – ответил Кмыс.

– А где же дрова?

– Я их не нашёл... – робко сказал Кмыс.

– Врёшь! – взревел Медведь. – В лесу он дров не нашёл?! Не искал, значит. Лентяй ты. Впервые вижу муравья, который ничего не делает. Я тебя лучше съем, чтобы ты не позорил своих трудолюбивых братьев.

Кмыс задрожал от испуга. Но тут же он придумал, что сказать:

– Знаю, знаю, почему ты хочешь меня съесть.

– Почему?

– Потому, что ты мне завидуешь.

– Завидую? – удивился Медведь. – Это почему же?

Но Кмыс ничего не ответил Медведю, поднял с земли веточку, которая была в девять раз больше его самого, и перенёс на другое место.

– Видишь? – сказал он. – Вам, медведям, ни за что не поднять бревна больше весом, чем вы сами. Значит, мы сильнее вас. Вот вы

нам и завидуете.

– Хитро! – заревел Медведь. – Однако не совсем ты лентяй. Если ты эту палку донесёшь до муравейника, я, из уважения к твоим братьям, не стану тебя есть.

– А ты мне покажешь дорогу?

– Да-да, – сказал Медведь и стал расчищать Кмысу путь.

– Спасибо тебе, Медведь, – поблагодарил Кмыс, когда они пошли к муравейнику.

– Ладно уж, – ответил Медведь. – Иди с добром, но только больше не ленись.

Вбежал Кмыс в муравейник. Братья-муравьи, увидев его, промокшего и усталого, да ещё с большой ношей, обрадовались.

– Наш Кмыс устал, – говорили они, – он сегодня хорошо поработал... Нужно накормить его получше...

С этих пор Кмыс понял, что только труд приносит уважение окружающих. И стал работать честно и добросовестно.

### Журавль и Кускун

Как-то длинноногому Журавлю пришла в голову мысль прославиться среди других птиц. Ростом он немалый и летать может высоко.

– А что бы такое сделать, чтобы хвалили меня и говорили обо мне? – прикидывал Журавль.

Но ничего придумать не мог. Взмахнул он крыльями и поднялся под самые облака.

Летает там и думает:

– Птицы, наверное, смотрят и удивляются, как я высоко могу летать. Когда спущусь, начнут славить меня.

А когда спустился на землю длинноногий, никого не увидел, только один Кускун – полевой чёрный ворон – дремал невдалеке от улуса. Такое невнимание задело Журавля за живое... Он рассердился и крикнул:

– Что ты, чёрный Кускун, сидишь?

– Наелся, почистил клюв, вот и сажу, – ответил Кускун.

– А видел, как я высоко летал? – спросил Журавль.

– Нашто мне глядеть-то? – пожал крыльями Кускун. – Летает, ну и летай.

– Слепой ты, Кускун! – крикнул Журавль. – Поэтому и не глядишь. Давай поспорим, кто из нас лучше видит.

– Как, как? – спросил Кускун.

– Возьмём одну горошинку, – говорит Журавль. – Поднимемся, сколько можем. Оттуда бросим, и кто её первый найдёт, тот и видит лучше.

– Ладно, – согласился Кускун.

Обрадовался Журавль и громко начал кричать: «Тру-ры-тру-рык», созывая всех птиц.

Кускун слетал в огород и принёс оттуда одну маленькую горошину.

Собралась целая стая птиц. Все шумели и говорили только о Журавле и Кускуне. Журавль, показывая себя со всех сторон, гордо расхаживал по полянке.

– Ну, начнём, что ли! – сказал Кускун.

Замахал крыльями Журавль и стал подниматься всё выше и выше. За ним чернел Кускун с горошиной во рту. Далеко осталась земля. Уже стала казаться муравейником.

Кускун, держа во рту горошину, обогнал нашего Журавля. Но Журавль старался не отстать. Улус теперь казался маленькой точкой. А места, где собрались птицы, совсем не видно. Под самые высокие серебристые облака залетели Журавль и Кускун.

– Брось горошек! – потребовал Журавль.

– Угу, – сказал Кускун и выпустил изо рта горошек.

– Ну, видел, куда он упал? – спросил Кускун.

– Давай маленько спустимся, может, найду, – ответил Журавль.

– Ладно, – согласился Кускун.

Журавль спускался всё ниже и ниже, смотрел, смотрел и нигде не видел горошка.

Пришлось журавлю признать, что не увидел он горошка. И об этом объявить всем птицам.

Но он добавил, что никто не выиграл: Кускун тоже не увидел горошка.

– Нет, я горошка не терял, – возразил Кускун.

– Ну, найди, – засмеялся Журавль.

– Помнишь, когда мы с тобой поднимались, то видели старушку на краю улуса? Она собиралась доить корову? – спросил Кускун.

– Помню, – ответил Журавль.

– Вот, когда она доила корову, наш горошек упал ей в подойник.

– Не может этого быть! – возразил Журавль.

– Давай полетим, – предложил Кускун, – проверим. Когда Журавль и Кускун с птицами прилетели к старухе, она уже сцеживала молоко в кринки.

– Бабушка, посмотри-ка на дне подойника, нет ли горошины? – попросил Журавль.

Старушка вылила молоко и отдала им горошину.

– Вот видишь, наш горошек! – сказал Кускун.

– Вот это да! – зашумели птицы. – Проиграл Журавль Кускуну.

Журавль от стыда ушёл на болото, где совсем мало птиц. Так и живёт по сей день на болоте.

## Как птицы паштыка<sup>1</sup> выбрали

Когда земля только что с водою разделилась, на вершине поднебесной горы жил сам творец птиц – Чаячи.

Однажды летом жена ругать его стала:

– Пошто ты, Чаячи, такой? Всё лежишь да спишь, как барсук. Весь опух ты от сна, словно рой пчёл тебя искушал. Глаза твои не видят, а уши не слышат, как вокруг свистят и кричат птицы, хоть в пору на небо перебирайся!.. А ты, Чаячи, есть ли, нет ли – всё равно. Сколько я тебя знаю, ни одну птицу ещё не наказал.

– Однако ты верно говоришь, – согласился Чаячи, – надо будет некоторым птицам головы поснимать.

Сказав это, Чаячи вскочил с пуховой постели, быстро оделся, взял свою кривую саблю, торопливо спустился с горы и зашагал по чистому полю.

Около болота, вытянув шею, важно разгуливал длинноногий Журавль.

– Тру, тру! – обрадовался Журавль, увидев творца птиц.

– Эзен, здравствуй, – сказал Чаячи.

Журавль поклонился и стал расспрашивать:

– Как вы изволили спуститься к нам, по каким делам?

«Что сказать? – задумался Чаями. – Если сказать, что голову многим рубить, как-то нехорошо...»

– Порядка не стало среди птиц, – сказал он.

– Тру-у! – закричал Журавль. – Значит, паштыка выбирать?

– Да-да, – подтвердил Чаячи.

– Может, я пойду в паштыки? – спросил Журавль и стал важно ходить перед Чаячи.

– Да, пожалуй, тебя и выберем, – сказал Чаячи, – только собери сюда всех птиц.

– Это я вмиг сделаю, – заторопился Журавль и полетел, громко выкрикивая:

– Тру, тру, тру! Собирайтесь скорей, паштыка выбирать будем!

Через две-три ночи собрались почти все птицы, прилетели большие и маленькие, страшные и красивые. Всеми цветами перья их переливались.

Теперь уж ни одна птица не шумела и не кричала. Все уселись в круг и молча поглядывали на Чаячи и на Журавля.

Журавль козырем похаживал, порядок наводил, больших птиц назад отталкивал, маленьких поближе к Чаячи ставил.

В это время Чаячи книгу свою развернул, посмотрел, все ли в сборе.

<sup>1</sup> Паштык – староста, старший.

– А где короткокрылый Чаблак<sup>2</sup>? – спросил он.

– Я ему прямо в ухо кричал, – ответил Журавль.

– Если он отлынивать начал, надо ему голову снять. Так и сделаем, – сказал Чаячи, взявшись рукой за саблю.

Ещё слова эти не замолкли, птицы не успели глазом моргнуть, как Чаблак у ног Чаячи опустился.

– Где ты был? Заставляешь нас ждать! – закричал Чаячи, вынимая саблю из ножен. – Я тебе, не сходя с места, голову сниму!

– Долго ли это сделать? – спокойно ответил Чаблак. – Лучше спроси, почему я опоздал.

– Ну, скажи, почему позже всех прилетел?

– Я не виноват, – ответил Чаблак. – Сам же ты дал мне такие маленькие и слабые крылья. Пролечу несколько сажень, падаю на землю и отдыхаю. Днём лечу, а ночью на счётах подсчитываю.

– А что же ты ночью считаешь? – удивился Чаячи.

– Считал, сколько звёзд на небе, сколько камней на берегу.

– Ну, и что же получается?

– Если к камушкам добавить кусок песчаника, камней больше, чем звёзд на небе, получается.

– М-м-м... – пожал плечами Чаячи.

– Но это ничего, кусочек песчаника за камень можно не считать. Другое трудней: сосчитать, сколько деревьев упавших лежит на земле, стоящих сколько.

– Ну, а здесь что получается? – заинтересовался Чаячи и вложил саблю обратно в ножны.

– Засохшую осину не знаю куда прибавить. Прибавлю к лежащим – лежащих больше получается, прибавлю к стоящим – стоящих на одну больше.

– Да, это тяжёлая задача, – покачал головой Чаячи.

– Это тоже ещё не беда, пустую, засохшую к лежащим добавить надо. Тяжело вот что было считать: сколько мужчин и женщин на свете.

– Интересно, кого же больше? – спросил Чаячи и даже наклонился к Чаблаку.

– Если тебя, Чаячи, прибавить к женщинам, то получается на одну женщину больше. А если к мужчинам – тогда больше на одного мужчину. А я затрудняюсь: кем тебя, Чаячи, считать?

– Как это – затрудняешься? – закричал Чаячи.

– Так-то я знаю, – сказал Чаблак, – мужчина ты, но делаешь всё так, как жена скажет. К женщинам тебя прибавить надо.

– Нет, нет, – возразил Чаячи, – мало ли что она говорит, я по-своему сделаю. Возьму да и никому не сниму голову. Изберём тут паштыка – и всё дело.

<sup>2</sup> Чаблак — птица чибис.

– Тогда я тебя к мужчинам прибавлю... – сказал Чаблак.

– Ну, давайте паштыка выбирать, – посмотрел на птиц Чаячи. – Кого изберём, Журавля, что ли?

– Разве в паштыки вора Журавля выбирать можно? – закричал Кулик. – Он на пашне у людей ячмень глотает.

– Нет, – сказал Чаблак, – Журавль не годится. На сборщика налогов ходит. Лучше Кытлык-куша – Павлина изберём.

– Кытлык-куша! – закричали и засвистели все птицы. – Кытлык-куша! Пусть нами правит.

И стали по пёрышку у себя из крыльев брать и отдавать Павлину. Оттого у Павлина теперь и хвост такой красивый, всеми цветами переливается.

А Чаблака с тех пор спасителем птиц считают. Поэтому охотники в него и не стреляют никогда.

### Зайчик

Жил на свете трусливый Зайчик.

Однажды перед утром Зайчик долго петлял на первом снегу, запутывая свои ночные следы. Потом он сделал большой прыжок и спрятался у лежащей на земле берёзы. Притаился так, что самый зоркий глаз его не мог заметить, ни одна собака не могла учуять.

Лёг Зайчик и тотчас задремал.

Вдруг совсем рядом кто-то начал стучать:

– Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

Встревожился Зайчик.

– Наверное, это какой-нибудь хищник свой клюв точит.

Хотя и живой Зайчик, а кажется ему, что он уже от страха умер...

Потом всё стихло. Еле-еле успокоился Зайчик. Но только хотел он закрыть свои косые глаза, услышал: невдалеке люди идут. Двое. Сапоги у них с длинными голенищами, скрипят. Подсумки для добычи большие, по ногам хлопают. Ружья двухствольные, стволы на солнце блестят. Идут они, о заячьем мясе громко разговаривают...

Вот мимо они прошли, кругом опять спокойно стало.

Не прошло времени глазом девять раз моргнуть – собака залаяла. Старая собака, короткохвостая, ослепла совсем – дятла за рябчика приняла, обозналась.

Дятел разноцветными крыльями взмахнул, на другое дерево полетел. А Зайцу, хоть он и живой был, опять померещилось от страха, что он умер.

Собака давно нюх потеряла, в заячьих следах не разбиралась, убежала далеко в сторону.

В это время Дятел над лесом покружился и сел на упавшую берёзу, под которой Зайчик лежал.

В смертельном испуге взглянул на птицу Зайчик.

– Опять умер, что ли? – спросил Дятел.

– Ой, ой, я подумал, что ты Сова... – еле слышно прошептал Зайчик.

– Лежи смирно, – сказал Дятел, – я вижу, что у скалы охотник идёт. Ружьё у него одноствольное, держит он его наготове...

– Ой, ой, я больше не могу здесь умирать! – закричал Зайчик. – Убегать, убегать надо!..

Выскочил из-под берёзы и поскакал, куда глаза глядят.

Раздался выстрел. Заяц подскочил и упал на снег.

Поглядел на упавшего Зайца Дятел, покачал головой и сказал:

– Однако удивляться нечего, трус всегда так глупо умирает.

### Добрый Медведь

В долине Мрас-Су это было. По осенней тайге шёл сытый Медведь. Жёлтая трава под его лапами шуршала. Листья берёз и осин падали на его густую шерсть.

Лениво поглядывал Медведь на красные сочные ягоды калины, на пожелтевшие кусты черёмухи.

У горелого пня Медведь увидел муравьиную кучу... но не разорил её. Наткнулся на нору Бурундука... и не разрыл её.

– Вот какой я добрый, – хвалил себя Медведь, – никого не трогаю, никому не мешаю. Хороший я зверь, всем добра хочу. Не понимаю одного: почему пасечник в меня из ружья стреляет, чем я его обидел?

Так, разговаривая сам с собой, Медведь подошёл к болоту. Тут он услышал: кто-то мычит.

– Ага, пёстрая пасечникова корова мычит, – догадался Медведь. – Отомщу-ка я пасечнику! Задеру двурогию! Её пёстрая шкура давно мне не нравится. Шея у неё тонкая, губы толстые. Плохие телята у неё, в прошлом году бычок совсем невкусный был...

Медведь стал припоминать всё плохое, что он замечал в корове, но рассердиться всё-таки не смог.

– Как убивать буду, если у меня на неё зла не хватает? А потом, ведь я очень добрый, на плохую корову сердиться не могу. Пойду только взгляну: что она на болоте делает?

Медведь пробрался сквозь заросли тальника и увидел между кочками рога коровы.

– Какого лешего ты лезла сюда, пёстрая? Думала или не думала, как отсюда выбираться будешь?! Головы своей не жалеешь, однако! – стал он упрекать корову. – Если ты утонешь, кого обвинять будут? Меня! Скажут: Медведь съел!..

Медведю стало жалко себя до слёз.

– Ладно уж, выгашу тебя, пёстрая, – сказал он. – Сделаю доброе дело для пасечника! Пусть знает, какое у меня сердце!..

– А ну, держись! – рявкнул Медведь, уцепился за рога, рванул, что было силы, и... оторвал у коровы голову.

– Ну, вот, – сказал он. – Главное я сделал! Голову твою спас. Видишь, какой я добрый!..

### Молодой охотник и Барс

Жил-был один молодой охотник, звали его Анчи.

Однажды Анчи отправился в горы добывать медвежье мясо. На берегу горной речушки, недалеко от болота, услышал он странный шум и рёв. Быстро зашагал туда Анчи и тихонько стал подкрадываться.

Когда близко подошёл, увидел: на высоком кедровом пне большой Барс сидит. А с земли к нему красноглазая, огромная, как корова, Жаба тянется.

Барс и Жаба увидели молодого охотника, и Жаба первая закричала:

– Вот на пне как раз по тебе добыча сидит. Стреляй скорей. Самый негодный по всему Алтаю зверь этот Барс. Самым сильным на свете себя считает. Убей его, Анчи. Я тебе много земляного масла дам, богатым и всесильным жить станешь.

– Лучше пристрели, охотник, эту Жабу! – зарычал Барс. – Она, худоумная, всем только зла желает, каждому в день сорок несчастий вызывает. Я сытый никого не трогаю, а она и с полным желудком убивает. Пристрели её, Анчи. Нет у меня ни серебра, ни золота, зато крепкую дружбу свою тебе отдам!

Взвёл Анчи курок, прицелился в шершавую спину Жабы, блеснул огонь, и, как гром, раскатился в горах выстрел.

Барс, виляя хвостом, подбежал к Анчи.

– Спасибо тебе, Анчи, – сказал он, – помог ты мне. Я с этой Жабой три года и три дня бился, не мог справиться один. Ей меня убить хотелось, чтобы потом всю тайгу опустошить. Я тебе теперь свою дружбу, Анчи, обещаю. А чтобы дружба крепкая у нас была – не говори никому, как я с Жабой бился и как ты мне помог с ней справиться.

– Чакши, хорошо, – согласился Анчи, – не скажу.

– Ветер со всей тайги приносит мне вести в уши, – продолжал Барс, – если хвастать станешь о том, что от меня услышал, тогда нашей дружбе конец.

– Нет, нет, – твёрдо сказал Анчи, – обещаю не болтать. Если нарушу слово, загрызи меня тогда, как обманщика.

На этом Барс и Анчи попрощались. Зверь остался в лесу, чело-

век к себе в улус пошёл.

Назавтра в улусе был праздник. В этот день загуляли все охотники улуса. Пили араку и, перебивая друг друга, рассказывали, где и как охотились, как самых хитрых и сильных зверей ловили.

Закружилась голова у молодого Анчи. Забыл он своё обещание и похвастался, как спас Барса.

Послушали охотники рассказ Анчи, песни ещё попели и по домам разошлись.

На следующее утро Анчи снова в лес пошёл.

Не успел он третью долину пройти, как навстречу ему выскочил Барс.

– Ар-р! – сердито зарычал зверь. – Ты слово держать не можешь, не годишься в друзья.

Тут Анчи вспомнил, как вчера на гулянье он перед всеми охотниками хвастать стал...

– Прости меня, – сказал он Барсу. – Я горькую воду пил. Она любу мне закружит голову.

– И мне тоже может? – удивился Барс.

– Если выпьешь, то и ты натворишь всяких дел.

– Нет, этого не будет, – махнул лапой Барс.

– Давай принесу, попробуй...

– Неси! – согласился Барс, – я сюда и Барсиху приведу.

Анчи побежал в улус, купил много вина и в больших туесах по-тащил его в лес.

Вскоре пришёл и Барс с Барсихой. Они ласково разговаривали друг с другом, и было видно, что живут они дружно.

Охотник стал угощать гостей.

Барсиха выпила полтуеска и сказала:

– Ах, какая противная, горькая вода! От неё голова болит и в глазах двоится.

Барс, который девятый туес пил, пошатываясь, закричал:

– Ты сама противная, ничего не понимаешь!

– Э, Барс, не узнаю тебя, однако, – удивилась Барсиха.

– Замолчи, а не то отсюда ног своих не унесёшь! – заорал Барс. И стал рвать и ломать всё, что попадётся. Потом ударил себя лапой в грудь и закричал:

– Я Жабу-шайтанку убил, голову ей оторвал. И тебя, Барсиха, буду бить! Даже охотника раскрошить мне ничего не стоит.

Тут Барс зашатался, упал и захрапел.

На следующий день Барс, встретившись с Анчи, сказал ему:

– Правда, арака сильнее меня. Глупым от неё становишься, ум теряешь. Лучше не пить её. А дружбу нашу давай так кончим: здесь ты охотишься и я охотился. За добро твоё – покину я вашу Шорию, не стану тебе дорогу переходить, уйду за девяносто долин.

С тех пор в наших местах и не стало барсов.

### Что положишь, то и возьмёшь

В старое время это было.

У синих гор Убу, где течёт быстрая и сердитая Мрас-Су, жили когда-то два соседа-охотника. Старшего звали Шелтерек, а младшего – Толай.

Шелтерек, бывало, добудет пушнины рублей на сто и загуляет, зашумит; можно подумать, что у него много денег. Торопится так, как будто на земле последний день живёт. А Толай даже и медведя убьёт, – прищурится только, слова лишнего не обронит.

И всегда Шелтерек к Толаю что-нибудь займы брать приходил, – у Толая всегда самое нужное охотнику в запасе было.

– Дай, Толай, немного пороху, – как-то попросил Шелтерек, – пойду на глухарей поохочусь.

Толай молча пошёл в сени, принёс туесок и отсыпал Шелтереку пороха, сколько тому надо было.

Дня через три Шелтерек принёс взятый займы порох.

– Ладно, – сказал Толай, – ты знаешь, где в сенях туесок стоит, положи порох туда.

Шелтерек высыпал порох в туесок и ушёл.

Не прошло после этого и пол-луны<sup>3</sup>, как Шелтерек опять к Толаю прибежал.

– Ты, Толай, большой новости не слыхал?

Толай головой покачал.

– Так я и думал, что ты этой новости не слыхал, – обрадовался Шелтерек. – Сидишь, молчишь! Молодой ты ещё! Учить тебя всему надо! Ну-ка, встань, посмотри, что в тайге делается, – и потащил Толая к окну.

– Это кто? – спросил Шелтерек и показал пальцем на огромную гору, вершина которой была окутана хмурой тучей.

– Пус-Таг это, – ответил Толай.

– А это кто? – показал Шелтерек на другую гору.

– Поднебесный Зуб это.

– Так вот, знай же, что вчера Поднебесный Зуб с Пус-Тагом всю ночь спорили. Пока спорили, все звери к Поднебесному Зубу перебежали. Пойди в лес, – сколько белки там – сучья ломаются, вся кора на стволах когтями исцарапана. Теперь можно столько белки добыть – враз богатым сделаешься! Пороху давай, Толай, побольше.

– Чакши, бери сколько надо, в сенях в туеске лежит, – сказал Толай.

Шелтерек вышел в сени, открыл туесок, пересыпал весь порох в свою сумку и ушёл на охоту.

Целую луну охотился. Много белок добыл. Продал шкурки до-

<sup>3</sup> Пол-луны – полмесяца, две недели.

рого и зажил весело. Мясо есть, табак есть. Долго гулял. Наконец в гости к Толаю пришёл. Обо всём поговорил, а про порох даже не заикнулся.

И Толай ему не напомнил.

Решил Шелтерек, что Толай забыл про его должок.

– Однако и я об этом порохе забуду, – стал уговаривать себя Шелтерек. – Зачем Толаю порох отдавать? Лучше я его себе оставлю.

Прошло ещё ползими. Толай всё такой же, как был. Разговаривает с Шелтереком, смеётся, долга не требует.

Пришла весна.

Как-то Шелтерек, запыхавшись, прибежал к Толаю:

– Помоги, друг Толай. Ночью медведь корову мою стащил. Подкараулить надо тупохвостого, а пороху нет!..

– Возьми, – ответил Толай, – в том же туеске в сених.

Шелтерек в сени бросился, туесок открыл и глазами заморгал:

– В туеске пороху-то нету!..

– Нет разве? – удивился Толай. – Однако что положишь, то и возьмёшь...

– Так я же займы тогда взял! – закричал Шелтерек, – отдам когда-нибудь! А сейчас – пороху надо, медведя подкараулить надо. Он у меня корову утащил!..

Посмотрел Толай на соседа и усмехнулся:

– Зачем, Шелтерек, на тупохвостого сердиться? Может, он у тебя корову тоже займы взял! Однако отдаст когда-нибудь, – сказал Толай.

## Верная Ку

Было это давным-давно, когда ещё большие кедры только из земли показывались. В те времена в нашем улусе жил молодой охотник по имени Очан. От него ни один быстроногий зверь не убегал, ни одна быстрокрылая птица не улетала. В дождь и в пургу никогда в тайге Очан дороги не терял.

Однажды в ясный весенний день Очан, возвращаясь с охоты, недалеко от улуса услышал песню девушки. О красоте тайги и о чистоте своей любви девушка пела, о том, что сердце её несут белые крылья, но не знает об этом любимый. И в песне имя его повторяла:

– Очан мой, Очан!..

Очан заторопился туда, откуда доносилась эта песня.

На полянке, у чащи леса, где, как ковер, растут кандыки ак-чаки, стояла, словно лебедь, девушка в белом платье. Это была первая красавица улуса – Ку.

Неожиданно увидев Очана, девушка вздрогнула и умолкла,

вспыхнула яркою зарёю. Радостно взглянула на Очана блестящими глазами и стыдливо улыбнулась. И от этого взгляда воспылал Очан любовью к прекрасной Ку.

Глядел на неё Очан и не мог наглядеться. Говорил и не мог наговориться. Вздохнул много раз и тихо сказал:

– Полюбила бы ты, Ку, меня, как я тебя. Самым счастливым на земле я бы стал.

Ку в ответ только краснела и улыбалась. Не умела словами о любви своей сказать.

Много лун прошло, и однажды Очан зимой с охоты не вернулся. Люди его долго искали по тайге. Но нигде не нашли даже следов Очана.

Когда снова наступила весна, все решили, что Очан где-нибудь в горах погиб. Перестали искать. Одна только девушка Ку в это не верила. Ещё сильнее тосковала по Очану. Не находила себе места в родном улусе.

Пошла Ку к старику-шаману. Попросила рассказать, где жених её, как найти его, живого или мёртвого.

Покамлал<sup>4</sup> шаман и ответил Ку:

– Твой Очан далеко, за синими горами. Напрасно его искать будешь. Если даже найдёшь его, сама домой не вернёшься. Лучше забудь о нём, за меня замуж выходи.

Сердито блеснула глазами Ку и убежала от шамана. Сама решила на поиски друга отправиться.

Долго Ку бродила по тайге. Как птица, на ветках деревьев спала. Как зверь, орехами и травами питалась. От хищных зверей отбивалась с трудом.

Наконец добралась Ку до синих гор. Руки, ноги о камни ободрала, пока через высокие и каменистые хребты перевалила. Всё же вышла она на вершину горы...

Перед нею широкая Сагайская степь открылась. Внизу у подножия скалы увидела девушка стадо коров и овец, большое стадо, сытое. А пасёт его молодой парень, точь-в-точь как её любимый – Очан.

Обрадовалась Ку, разволновалась, закричала:

– Очан мой, Очан!

И, протянув к нему руки, бросилась вниз со скалы.

Подхватил ветер её платье, широкие рукава раскинул, и полетела Ку белой птицей-лебедем, закружилась над молодым пастухом.

Потом поднялась высоко в небо и камнем к ногам пастуха упала. Без Очана жить не смогла...

Вот такая любовь была у Ку.

Давно это было, а любовь у лебедей и сейчас такая, что друг без друга они жить не могут.

<sup>4</sup> Покамлал — погадал, поколдовал.

## Урок

На памяти наших отцов такое случилось. Жил в улусе один очень бедный мужик. Была у него только одна шуба, да и та вся в дырах. Самому ему некогда было шубу чинить: уходил он на работу к баю рано, возвращался домой поздно. Усталый приходил, спать ложился.

Много раз просил он жену зашить дыры на шубе. Жена его и слушать не хотела, смехом отделялась:

– Мороз боится шубы. Никогда к овчине не подходит.

Мужик был человек смирный и не поперечный, спорить не умел. А жена у него была – говорливая да бранчливая. Мало что делала. Спала много. Ленивая была.

Наконец мужику надоело мёрзнуть. И в самый лютый мороз попросил он у соседа коня и полушубок.

– Жену до горы прокатить хочу...

Разбудил жену и свою дырявую шубу ей подаёт:

– Надевай, жена, кататься поедем!

Жена обрадовалась, шубу надела, на улицу выбежала. Едут они на санях от улуса до горы и обратно. А мужик коня придерживает, бежать ему быстро не даёт. Не прошло времени мужику трубку выкурить, – жена от мороза жаться начала, руками себя похлопывает. Потом задрожала, зуб на зуб у неё не попадает...

– Ой, мужик, домой, скорей домой! – а сама так замёрзла, что и слова как следует выговорить не может.

Наконец домой вернулись – жена скорей к натопленной печке бросилась. Отогрелась немного и давай шубу чинить.

На пользу пошёл урок.

## У большой Ели

Было это много лет назад, когда старый Шапкай ещё молодым козлёнком по горам бегал.

Ранней весной один шорец с далёкой охоты домой возвращался.

Под вечер поднялся он вверх по долине на самый высокий склон горы. Вокруг посмотрел – на солнечной стороне деревья от свежих соков лоснились. В снегу тёмные круги вытаяли. Первой зеленью земля покрылась.

На полночной стороне деревья в зимней спячке дремали, солнца дожидались, от снега помаленьку отряхивались.

Выбрал охотник место, где снег растаял, остановился на ночлег. Под толстыми ветвями Ели костёр развёл, поужинал. Около самого корня дерева медвежью шкуру постелил. Положил голову на

толстый корень и порадовался, что на таком хорошем месте спать будет.

Ветерок подул, ветки калины и рябины закачались, закивали головки первых весенних цветов. Но Ель, под которой расположился охотник, не пошевелила ни одной лапой. Только вершина её зашумела, как будто старая Ель на кого-то сердилась.

– Не на меня ли Ель жалуется за яркий огонь? – подумал охотник. Встал и потушил костёр. Ель словно стала гудеть тише...

Не раз слышал охотник от деда, что в давние времена люди понимали, о чём говорят деревья.

– Однако и я понял, – подумал охотник.

С этой мыслью он укутался в тёплый шабур и снова лёг.

Вокруг быстро темнело. Вскоре в темноте утонули горы. Только высокие хребты чуть виднелись, как гривы каких-то огромных зверей. Деревья на склонах словно оделись в чёрные платья. Охотнику казалось, что они теперь шевелятся, двигаются и тихо шепчутся между собой...

Вдруг услышал он, как сверху покатился камешек. Потом второй... третий...

Не прошло времени выкурить трубку табаку, – сверху к старой Ели, у которой лежал охотник, спустилась небольшая Ёлочка.

– Ака<sup>5</sup>, ака, пойдём к нам, – прошептала Ёлочка, обращаясь к старой Ели.

– Не видишь разве, у меня человек спит, – сердито сказала Ель.

– Ой, ака, отец мой давно болеет, а сегодня он упасть хочет.

– Ну, какая здесь беда, – удивилась старая Ель, – знать, ему время пришло на землю ложиться. Хоть он в девяти местах ломайся, не могу оставить гостя и уйти.

– Не в том, ака, беда, – замахала ветвями Ёлочка. – Мой отец вниз головой упасть хочет, под гору. Вот что нехорошо-то...

– А, это худо, совсем худо, – закачала головой Ель. – Я не раз его поучала, когда он ещё малым был: старайся корни поглубже в землю пускать! За камни покрепче цепляйся! – говорила. – Тогда богиня ветров Сары-Кыз никакими плясками не свалит тебя. А ему неохота было силы тратить, он корни почти на поверхности земли оставил. Вот чуть задела Сары-Кыз подолом его, он уже и закачался.

– Ой, в прошлую ночь как я дрожала! Пришли олени и легли спать там, куда мой отец склонился. Думаю: упадёт тихо и этих красивых зверей подавит. Я давай ветками махать: будто я медведь и к ним иду... А сегодня отец сказал, что больше держаться за землю и стоять он не в силах. И задумал пасть головою под гору.

Старая Ель молчала.

<sup>5</sup> Ака – бабушка.

– Вот смотрю и слушаю его, больно мне делается, – продолжала Ёлочка. – Даже забываю, что я впереди всех на каменной крутизне стою. Надо ли отцу что-нибудь сказать?

– Передай вот что, – сказала старая Ель. – Он хоть и упадёт, но, может быть, слова эти до того дойдут, кто из его ствола вырастет.

Эта гора когда-то голая была, как человек, когда рождается. На каменной крутизне одни змеи да коршуны жили. Вокруг валялись перья птиц и кости зверей, которых коршуны заклевали. Без нас, деревьев, здесь и трава не росла.

Но вот деревья двинулись вверх, всё выше и выше. С ними пошли и травы. Цветы украсили гору. Птицы запели и свили гнёзда. Забегали кругом звери. Пчёлы стали собирать мёд. И человек поднялся сюда.

Однако не зря каждый из наших предков старался подниматься всё выше и выше. Видишь, теперь мы уже по пояс горы стоим. Отсюда уже далеко видно: как белые змеи, извиваются в долинах реки; как кудрявые овцы, плывут в небе облака...

Надо добраться до самой вершины, голые скалы сделать цветущими, чтобы там тоже соловьи пели, и кукушки весной куковали, чтобы наши внуки не имели обиды на нас.

– Ну ладно, я пойду на своё место... – заторопилась Ёлочка и зашуршала по склону ветвями.

Но вскоре Ёлочка вернулась.

– Ака, ака! – закричала она ещё издали. – Отец упал головой вперёд! К вершине горы!

– Чакши, хорошо! – обрадовалась старая Ель. – Теперь там вырастут молодые деревья и быстрее пойдут вверх!..

В это время из-за гор брызнули первые лучи солнца.

Охотник встал и посмотрел вокруг. И ему показалось, что все деревья разом шагнули вперёд, туда, где в ярком утреннем свете поднималась горная вершина.

### Жадный мужик

В большом улусе жил когда-то мужик, одинёшенек, как луна на небе.

Избушка его стояла на берегу озера, поодаль от других. Скота он никогда не держал, лес не рубил, на охоту не ходил. Летом в реке рыбу ловил, зимой в тайге калину собирал. Был доволен своей одинокой жизнью, смеялся и плакал – всё один.

Однажды за короткий зимний день мужик целых три мешка калины собрал. Обрадовался. Нагрузил мешки на санки-нарточку и потащил домой.

Тянет мужик лямку, налегает, а груз чем дальше, тем тяжелее

делается. Мужик думает: «Зачем мне столько калины, что у меня – семеро по лавкам?..».

Взял и высыпал из одного мешка всю калину. Сразу идти ему легче стало.

Темнеть начало. Спустился мужик к реке на зимнюю дорогу, а над ней – стены скал нависли, по берегам только одетые снегом леса видны. Далеко ещё до улуса, а мужик снова из сил выбивается, тяжелы стали ему и два мешка.

Рассердился мужик и ещё из одного мешка калину вытряхнул.

– Ну уж один-то мешок как-нибудь дотащу... Плохо бедному на свете жить, на себе калину таскать. А не будешь таскать – с голоду умрёшь... Нет, плохо делают люди, что со мною ничем не делятся. Я бы так не сделал, если бы богат стал.

Только успел он это проговорить, как перед ним в скале вдруг каменная дверь открылась...

Мужик так удивился, что у него даже глаза вспотели. Вокруг посмотрел: ни человека, ни огонька, только горная тайга темнеет. Несмело мужик подошёл к каменной двери, внутрь заглянул. Там, словно днём, светло было, много комнат виднелось, в каждой тысячи драгоценных соболиных и лисьих шкур висели, на полу горы серебра и золота лежали.

– Ух, вот где богатство-то! – подумал мужик и несмело переступил порог каменной двери.

– Эзен, здравствуйте! – сказал мужик, но ему никто не ответил.

– А кто всему этому хозяин? – спросил мужик уже посмелее.

– Никто, – слышался откуда-то ответ.

– Однако тогда можно взять малость пушнинки?..

– Бери, сколько тебе надо, – сказал тот же голос.

Мужик растерянно заморгал глазами и не решился тронуться с места.

– Бери, – снова слышался голос, – сколько тебе для жизни надо.

Обрадовался такому счастью мужик и набрал целую охалпку черно-бурых лисиц, набил шкурами мешок и положил его на нарточку. Но тут же подумал: «А не мало ли будет?» – и шкурками колонка второй мешок набил.

– Ну вот, этого богатства мне на всю жизнь хватит.

Отъехать уже от каменной двери хотел, но посмотрел ещё раз, и жалко ему стало всё это неизвестно кому оставлять. Бросился опять в пещеру, калину из третьего мешка вытряхнул, мешок соболиными шкурками набил.

Ещё постоял, подумал, глаза его разгорелись, опять зашёл в горный дворец, рубаху с себя снял, золотом и серебром её набил, тоже увязал.

Вышел из пещеры, а голос спрашивает:

– Теперь ты, мужик, от даров Хозяина Гор богат стал, больше один, наверное, не будешь жить, к людям пойдёшь?

– Ну, дудки! – ответил мужик. – Ещё с кем-то моим богатством буду делиться!.. Никому не дам, и Хозяин Гор никому пусть больше ни гроша не даёт.

Никто мужику на это ничего не ответил, и каменная дверь, скрипя, закрылась.

С трудом дотащил мужик тяжело нагруженную карточку до улуса. Перед самым рассветом к дому подошёл. Не зажигая огня, драгоценный клад в избушку втащил. Неслышно под кровать мешки положил и спать лёг. Только не мог спать, всё думал, как он теперь заживёт богатым, никому ничего не даст, по всем улусам властвовать станет.

До рассвета не уснул мужик. Днём тоже глаз не мог сомкнуть, каждого шороха пугался.

Ещё одну ночь в страхе провёл. Утром – ставни к окнам и крючки на двери сделал. К вечеру – около кровати ружьё поставил, под подушку нож и топор положил. Совсем из дома перестал выходить, всё боялся – как бы его богатство не украли.

Так, проведя в тревоге несколько дней, мужик от страха и голода заболел.

Но некому было ему даже воды подать. Тошно стало жить мужику. Решил он хоть своим богатством полюбоваться. Вытащил мешки из-под кровати, развязал, глянул и ахнул: в мешках одна осенняя жёлтая да бурая трава была, рубаха речными камнями оказалась набита.

Встал мужик, схватил топор и все ставни порубил, побросал в печку, крючки с двери сорвал. Ружьё на место поставил. Топор и нож сунул туда, где они раньше были.

Сам в улус пошёл, рассказал людям, какие подарки давал ему Хозяин Гор, и во что они потом превратились.

Старики, выслушав мужика, долго думали, головами качали, девять трубок табака искурили, потом сказали:

– Однако ты не хотел с людьми делиться радостью, из-за этого Хозяин Гор и рассердился.

Ничего не смог ответить мужик, только глазами заморгал.

А всё же понял, наверное, как плохо быть жадным.

## Гора Пус-Тар

Было это, когда горы в ваших краях не такие высокие и большие стояли, как сейчас. Одна только гора, в верховьях реки Бель-Су, поднялась выше других на три головы. Киндик-хан звалась, царь этого края.

В те времена Киндик-хан ни на одну гору не обижался, ни на близкую, ни на дальнюю. Все горы смиренные были, между собой жили ладно, рекам к большой родне бежать не мешали. Никто Киндик-хана не тревожил, стоял он невозмутимый и сонный.

Однажды до Киндик-хана слух дошёл, что в верховьях реки Кондомы новая гора родилась, Пус-Таг.

– Ну, чакши, хорошо, – сказал Киндик-хан, пусть живёт ещё одна гора. От этого тесно другим не будет.

– Эзе, эзе, так, так, – закивали головами горы. – Свет большой, всем хватит земли для жизни.

Пус-Таг стал расти. Шаловливый рос. Одного соседа щёлкнет, другого щипнёт...

Услышал об этом Киндик-хан, улыбнулся:

– Какой спрос с Пус-Тага? – говорил он. – Мал он ещё, потому-то балованный. Вырастет большой, ума прибавится, спокойный, как камень, тогда будет.

Много-много лет прошло, даже и для гор много. Пус-Таг вырос большой и высокий. Стало ему тесно. Он то одного соседа пнёт, то другого, постепенно всех растолкал.

Дошло это до ушей Киндик-хана. Засмеялся он:

– Э, зачем обижаться. Всё это оттого, что Пус-Таг молодой ещё, скучно ему. В такие годы все бывают горячими. Жените его – всю дурь как рукой снимет.

Послушались горы, в верховьях Абакана девицу-гору высватали, к Пус-Тагу привели, вскоре свадьбу сыграли.

Но Пус-Таг после свадьбы ещё больше разошёлся. Кого за зелёные косы дёрнет, кому голову совсем набок свернёт.

Рассердились горы, и опять пошли к Киндик-хану, жаловаться стали:

– Надо как-то унять Пус-Тага. Нам совсем от него покоя не стало. Женили его, а он всё такой же, как шайтан. Однако скоро и тебя, Киндик-хан, начнёт задевать.

Киндик-хан так захохотал, что с его груди даже камни посыпались.

– Ну потешные же вы. Всё забавляете меня. Поймите, вы, малодумающие, скоро у Пус-Тага дети будут. Тогда он никого больше не затронет, громкого слова никому не скажет. Ничего не надо делать. Помешкайте ещё.

Горы только пожали плечами. В душе не согласны были с Киндик-ханом, но на словах ничего не сумели возразить. Разошлись по своим местам.

Через несколько лун у Пус-Тага дочь Манак и сын Огудун родились. Пока дети маленькие были, Пус-Таг со всеми в мире жил. А годы заматывались в клубок времени.

Дочка Пус-Тага в отца своенравной росла. Когда большая стала

– ни с того, ни с сего поперёк реки Мрас-Су вдруг легла. Вода с трудом проходила под её каменным поясом.

Долго река уговаривала Манак:

– Почто так делаешь, Манак? – шумела Мрас-Су. – Мне надо скорей к сёстрам и братьям бежать. Меня дед Далай ждёт. Ты ведь сама видишь, что твой отец меня и так стеснил. А теперь ещё ты поперёк легла. Пропусти меня.

Но Манак даже слушать не хотела Мрас-Су.

Мрас-Су напрягла все силы, чтобы пробиться. Но всё было напрасно. Манак только смеялась.

Наконец это заметил отец Пус-Таг.

– Что это ты делаешь, дочь Манак? Зачем реке дорогу загородила? – спросил он и сверкнул глазами.

Ничего не ответила отцу Манак, ещё дальше поперёк реки протянулась.

– А, так тебе и отец не указ?! – закричал Пус-Таг, в гневе вытащил кривую саблю, размахнулся и перерубил свою дочь пополам, по пояс, там, где билась и ревела Мрас-Су.

От этого удара на Мрас-Су до сих пор большой порог остался.

Отвернулся от дочери Пус-Таг, на сына Огудуна глянул. А Огудун спиной к отцу стоит...

– Что всё на восход глядишь? – спросил Пус-Таг. – Не задумал ли ты к Киндик-хану уйти?

Огудун не пошевелился, ни слова отцу не ответил.

– С тобою я говорю, сын! – громко крикнул Пус-Таг.

Огудун молчал.

Совсем рассердился Пус-Таг и саблей ударил сына по шее. Загрели камни, голова Огудуна скатилась на землю.

Вот почему Огудун и теперь с тупой вершиной стоит. А голова его – большая гора – Кара-Таг стала называться.

Услышав про это, встревожился Киндик-хан.

– Зря я, наверное, столько воли Пус-Тагу давал... Однако никто теперь с ним не справится.

Стал вытягиваться Киндик-хан, глядеть через горы на Пус-Тага. Заметил это Пус-Таг и в большую голову Киндик-хана чугунной стрелой прицелился.

– Ах, – подумал Киндик-хан, – врасплох захватил меня Пус-Таг. Знал бы я раньше, не допустил бы этого.

Тут крылатая стрела Пус-Тага прилетела со свистом и разбила голову Киндик-хана пополам.

Пус-Таг железный лук опустил.

– Какой же ты хан, – со мной сладить не мог. Пусть отныне имя твоё будет просто Поднебесный Зуб.

Потом оглянулся Пус-Таг и увидел – один он остался. Дочь перерубил, сын – без головы стоит, жена с горя обратно на Абакан убежала.

– Э-э! Что же я наделал здесь!.. – схватился за голову Пус-Таг и впервые, наверное, в своей жизни задумался. Так тяжело думал, что голова его совсем белой стала.

Посмотрите, и нынче гора Поднебесный Зуб с раздвоенной вершиной стоит, а Пус-Таг – горячая голова – зимой и летом белую шапку из толстого льда не снимает, охлаждает себя, чтобы новых бед не натворить.

### Бай и лесоруб

Жил-был в наших краях один работающий лесоруб. Он за год столько вырубил леса, что из него можно было новый большой улус выстроить. Поэтому бай, у которого лесоруб работал, быстро богател. Оттого он с лесорубом даже за руку здоровался.

Но однажды лесоруб изувечил на работе правую руку. Рассердился на него бай и рассчитал лесоруба. И где бы с ним потом ни встречался – больше уж не только за руку, а и вообще здороваться не стал. Не нуждался в этом лесоруб, но стало ему всё же обидно.

Как-то раз лесоруб нашёл под деревом золотой самородок величиной с конскую голову.

– Эге, – подумал лесоруб, – станет ли теперь со мной бай здороваться?

Принёс золото домой, купил несколько амбаров, много товаров разных, начал торговать направо и налево, перебивая других купцов. Бедным людям товар дешевле продавал, с богатых – дороже брал.

Все стали восхищаться его богатством. Издали все бай и даже сам улус-торе (начальник нескольких улусов) с ним здороваться начали. В праздник и не в праздник стали лесоруба в гости звать. Как почётного человека в передний угол сажать стали. Угощали так, что и во сне не снилось лесорубу.

«Эге, – думает лесоруб, – вот оно как! Когда в кармане есть – ты дорогой гость и тебе почёт. В кармане нет – не человек ты».

И решил он испытать, так ли это.

Продал весь свой товар. Деньги спрятал. А амбары сам ночью поджёг.

Слух по всем улусам пролетел, как птица. Все узнали, что богатство лесоруба сгорело и стал опять он нищим.

Сразу ни один бай с лесорубом здороваться не стал. Когда рядом проходили – никогда его не замечали. К кому бы ни зашёл лесоруб, ни один бай за стол не стал приглашать. А через несколько дней даже в свою ограду лесоруба пускать бай не стали.

Тогда лесоруб спрятанные деньги вытащил, опять товаров накупил. Снова стал торговать. Опять все бай и паштыки ему стали кланяться.

А лесоруб, не глядя на них, деньги в мешок положил и мешок посредине магазина повесил.

Зайдёт бай или паштык в магазин, начнёт с лесорубом раскланиваться, а лесоруб ему на мешок с деньгами покажет:

– Я ведь человек только. А ваше уважение – к мешку с золотом. Так вы ему и кланяйтесь.

### Бай и охотник

Это было, когда наши деды ещё молодыми ходили. В одном улусе жил бай по имени Паюш. Имел он большое богатство и всю власть в улусе. Считал себя самым умным и хитрым человеком по всей Мрас-Су. Как хотел над людьми издевался и смеялся, всё ему с рук сходило.

Однажды в жаркий летний день Паюш сидел в своём просторном доме и пил чай с мёдом, в открытое окно посматривал. Но во всём улусе не было ни души. Люди на покос ушли или в лес на работу.

Томительно тянулось для бая время.

Вдруг он увидел, что мимо его дома охотник Кокан идёт.

– Ага, – обрадовался бай, сейчас я над ним потешусь!..

– Кокан! – закричал бай, когда охотник поравнялся с окном. – Говорят люди, что ты умный и хитрый. Если это правда, уведи ночью из моей конюшни жеребца. Заколешь – мясо тебе будет. А не сумеешь – работники мои тебя завтра на верёвке по улусу поведут. – И бай, представив Кокана на верёвке, громко засмеялся.

– Согласен, – ответил Кокан, – только давай договоримся при народе.

Так и сделали.

Вечером бай рассказал обо всём молодой жене.

– Вот завтра люди от смеха животы надорвут! Из моей конюшни коня взять – это ему не диких зверей ловить!..

Когда стемнело, бай закрыл конюшню на большой замок и ключ отдал самому надёжному чалчи<sup>6</sup>. В помощь ему – караулить дверь – ещё сильных и верных слуг поставил.

– Смотрите, – предупредил бай своих работников, – не усните, ночь тёмная. Кокан где-то здесь, наверное, ходит, затылок чешет.

– Нет, нет, не уснём, летняя ночь недлинная, – в один голос сказали байские чалчи.

А Кокан за забором притаился, в руке туес держит, байские разговоры слушает.

Около полуночи Паюш на крыльцо вышел.

<sup>6</sup> Чалчи – батрак, работник.

– Ну как, верные мои, не спите?

– Нет, – отвечают слуги, – всё разговариваем, как завтра Кокана на верёвке водить будем.

– Хорошо, чакши, – сказал бай и пошёл домой.

А Кокан всё стоит, притаившись у забора. Туеска из рук не выпускает.

Не прошло времени два раза трубку выкурить, бай опять на крыльцо вышел, опять спрашивает:

– Ну как, не спите?

– Нет, – загалдели слуги, – всё разговариваем, как завтра Кокана по улусу водить будем.

– То-то, – сказал Паюш и закрыл за собой дверь.

Подождал Кокан, пока не успокоились все, тихонько перелез через изгородь и неслышно подошёл к байскому крыльцу. Переменил голос и спрашивает:

– Ну как, не спите?

– Нет, бай, будьте уверены, не уснём мы, – отвечают чалчи.

– Молодцы, молодцы, – сказал Кокан. – Идите ко мне по одному, я вам по кружке оживительного дам, чтобы спать не хотелось, чтобы перед утром вы не мёрзли.

Слуги бая на вино падкие были, думали, что это им сам Паюш даёт. По кружке выпили – заговорили, по второй выпили – на землю попадали, храпеть стали.

Тогда Кокан у старшего чалчи ключи от конюшни взял и тихонько жеребца из ограды вывел. Приехал в свой отаг, заколол коня и до утра мясо варил.

Утром бай проснулся, во двор вышел, видит: все слуги спят, а жеребца в конюшне нет.

Рассердился бай, начал ногами чалчи пинать, но толку от этого всё равно не было – проиграл заклад.

Прогнал всех своих слуг, Кокана к себе позвал:

– Что это за хитрость – от четырёх дуралеев коня угнать?.. Вот если бы ты сумел у меня самого сундучок с деньгами утащить, тогда можно было бы сказать, что у тебя, Кокан, всё же есть ум и хитрость...

Опять Кокан и бай при стариках о закладе договорились.

Поздно вечером охотник несколько раз мимо байского дома прошёлся. В окно увидел яркий огонь. Паюш обеими руками сундучок держит, а жена ему сказки рассказывает. Видно, вдвоём они решили всю ночь сундучок караулить.

Кокан пошёл домой, надел шёлковый халат, лисью шапку, подпоясался разноцветными кушаками. Прилепил себе усы и бороду. На грудь себе всяких блестяшек навесил. Взял большую палку и отправился к главе улуса – паштыку.

На крыльце палкой начал стучать Кокан, в дом паштыка вошёл – закричал не своим голосом:

– Почто вы меня не встречаете? Я когда вам давал знать, что я еду в ваш улус?! Забыли, что я улус-торе?! Я ещё по дороге слышал, что ты и Паюш глупыми делами занялись, с охотником Коканом в заклады играете. А мосты не чините, к вам ни пройти, ни проехать нельзя! Быстро зови сюда Паюша. Я вам обоим вот этой палкой рёбра посчитаю!..

До смерти испугался паштык появления самого улус-торе. Прямо из окна выскочил, побежал, сколько сил было, к баю.

Прибежал к Паюшу, заикаясь от испуга, кое-как развязал язык:

– Пропали мы! Сам улус-торе приехал. Ругается, что не встретили его. Хочет нам с тобой рёбра посчитать. Бросай к шайтану этот сундучок, побежим скорее ко мне.

Паюш тоже от испуга затрясся, миг оделся, уходя, сказал жене:

– Сундучок с деньгами крепче держи. Смотри, огонь не гаси, по сторонам поглядывай.

И убежал с паштыком.

В это время Кокан по другой улице к байскому дому пробрался. Посмотрел в окно: одна жена бая сидит, двумя руками сундучок с деньгами держит.

Застучал охотник палкой, дверь распахнул и закричал, словно он в самом деле улус-торе:

– Где Паюш, где твой малоумный муж, спрашиваю?!

– Он... мы... нет, они с паштыком вас встречать побежали, – кое-как ответила жена бая.

– Я его ожидал у паштыка, не пришёл он! Где прячется?! Беги сейчас же за ним, зови его сюда! – ещё громче закричал переодетый Кокан.

Бросила жена бая сундучок и побежала искать Паюша.

Схватил Кокан сундучок, только его и видели!..

Паштык, бай и жена долго туда-сюда бегали, улус-торе искали. В байский дом вошли – только тут и догадались, что то вовсе не улус-торе был, а охотник Кокан.

Побледнел бай, когда сундучка не увидел, на подушки упал. Злоба ему, словно девять волков, сердце грызть стала.

«Кокан, однако, умный и хитрый, – решил он. – Не буду больше с ним спорить. А то и меня самого когда-нибудь утащит».

## Мост

На склоне голубых гор, около ущелья Колл, жили два человека из племени Чедвер. Одного звали Копчет, а другого – Васют.

Осенью и зимой они вместе в тайгу на охоту ходили, летом – дома работали.

Бывали они и в ущелье. Но тропинка тогда доходила только до середины Колла и обрывалась глубокой пропастью. Никто и никогда даже не слышал, чтобы через ущелье человек прошёл.

А на другой стороне ущелья тоже жили люди. Они из племени Карги были.

Чедверцы видели, как каргинцы там лес рубят, скот пасут, сеют коноплю и ходят на охоту. Но пойти к соседям было нельзя. Мешало ущелье.

Старики, правда, рассказывали, что когда-то на месте ущелья Колл тайга шумела. Люди Карги и Чедвера тогда мирно и дружно жили, друг другу на охоте помогали, вместе радовались, вместе невзгоды переживали.

Только однажды каргинцы и чедверцы поссорились. А ссора хуже бурана с правильного пути сбивает. Чем дальше, тем хуже – соседи между собой драться стали.

Увидел это старик Пус-Таг, хозяин тайги, рассердился, ударил саблей по склону голубых гор. С тех пор и появилось здесь ущелье. Два племени оказались разделёнными навеки.

Однажды зимой Васют шёл по следу колонка.

Учув человека, зверёк спустился в нору под толстым кедром. Охотник лыжей разгрёб снег и стал топором копать землю. Вдруг топор зазвенел, и Васют увидел, что в мёрзлой земле блестят большие комки золота.

Выкопал Васют золотые самородки и отправился в отаг<sup>7</sup>, показать дружку.

Копчет очень обрадовался находке, глаза его жадно заблестели.

На следующий день Копчет торопить стал Васюта к кедру идти, золото искать. Пошли они к старому кедру, но не смогли его найти. Ночью буран был, все следы в тайге замёл.

Поохотились Васют и Копчет, разделили пушнину и золото пополам и отправились домой.

Копчет впереди идёт, всю дорогу думает: как ему теперь с таким богатством жизнь устроить.

– Однако построю большой дом и амбары. Торговать буду, чтобы каждая копейка рублём стала. Тогда слава обо мне по всем рекам пройдёт. А ты что думаешь сделать с этим золотом, Васют?

– Хочу мост построить через ущелье Колл, – ответил Васют, – чтобы люди Карги и Чедвера друг другу помогали и опять в дружбе жили.

– Ну и выдумал же ты! – захохотал Копчет. – Люди над тобой смеяться станут. Скажут – попалося в руки человеку счастье, а он удержать не сумел!..

Васют спорить не стал, дальше молча пошёл.

<sup>7</sup> Отаг — временный балаганчик.

Вернувшись домой, каждый из них занялся своим делом. Копчет купил большой дом и амбар, начал торговать и богатеть с каждым днём. А Васют созвал мастеров и людей трудовых и принялся строить мост через ущелье Колл. Денег у него становилось всё меньше и меньше, как вода, они текли.

Копчет, увидев, что Васют беднеет, стал над ним смеяться. Завидно ему было, что о Васюте в народе много хорошего говорят. Зато богача Копчета опасались все: и лесорубы, и пчеловоды, и охотники. Только баи да паштыки издали Копчету кланялись.

Совсем у Васюты деньги кончились. Пошёл он к Копчету немного денег попросить. Но Копчет на него собак спустил, с пустыми руками Васюта проводил со двора.

Тогда Васют с друзьями опять ушёл к подножью Пус-Тага. Всю зиму они и день и ночь работали, всё же своего добились. Нашли то место, где золото было. Потом мост через пропасть достроили.

Стал народ ездить и ходить по мосту. Все Васюта хвалили, песни о нём начали петь. В каждый дом приглашали, в передний угол как почётного гостя усаживали.

Копчет всё это видел, но хоть и злился – сам себя успокаивал:

– Наплевать на народ! Меня баи и паштыки уважают, с ними дружбу вести буду. На что мне эти нищие.

И чем богаче, тем жаднее и дурнее Копчет становился, уже в соседние улусы, как медведь на пасеку, полез.

На всю тайгу первым богачом стал Копчет.

Смотрит кругом, думает – где бы ещё из копейки рубль сделать. Потом подумал:

– Каждый, кто по мосту ходит, пусть мне деньги платит, – объявил он. – А не будет по-моему – мост сожгу.

Но люди к тому времени поняли уже, как хорошо в дружбе жить. Не испугались.

Однажды ночью, когда Копчет с тремя паштыками хотели мост разрушить, люди их в пропасть толкнули.

Давно это было. Но и сейчас народ о Васюте хорошо вспоминает, эту сказку о нём рассказывает.

А для Копчета у народа только одно осталось:

– Тьфу!

## Смерть и Ус-Челей

В древние времена Смерть среди людей открыто ходила. Её голые кости белели там, где свадьба была, бега или праздник. Бродила она молча, в костлявой руке чёрную книгу держала.

Кому было время умирать – подойдёт к тому Смерть и скажет:

– Ну, готовься, погостил на земле – и хватит. Пора убираться...

Однажды, когда Смерть говорила так одному старику, подошёл кузнец Челей и обратился к Смерти:

– А скажи-ка, голая кость, скоро ли мне придётся убираться с земли?

Смерть открыла свою чёрную книгу, посмотрела...

– Да, да, – сказала она. – Ешь и пей всё, что есть у тебя. Осталось тебе жить только три года.

– А немножко больше нельзя? – спросил Челей.

– Ни одного денька, – буркнула Смерть и, захлопнув книгу, пошла дальше.

– Ну, нельзя так нельзя... – сказал Челей и продолжал жить так же спокойно, как и прежде. Не гулял, не пьянствовал, трудился, как всегда.

Третий год к концу пошёл, Челей на вершине горы железный гроб с девятью замками строить начал. Уходил он утром, возвращался вечером. Домой всегда шёл – вперёд пятками.

В указанный срок Смерть пришла к нему во двор. А Челей в это время спрятался.

Видит Смерть, что следы Челея только в гору идут, а обратных следов на дороге нет... Начала Челея искать. Целую ночь искала, никак не могла найти. От злобы кости у неё ещё белее стали.

– Вот мне от хозяина моего, Чайчи, теперь будет!.. – бормотала Смерть. – Он за то, что Челей не умер, песком тереть меня станет.

На другой день Смерть всё же подкараулила Челея.

– Что же ты меня пугаешь, Челей? – спросила она.

– Неужто ты, костлявая, не видишь, что я давно себе гроб готовлю? Ты не приходишь, а я при чём?

– Ты так ходил, что след на гору есть, а обратно домой нету, – сказала Смерть, – вот я и спуталась.

– Я тебя давно встретить приготовился, – показал Челей на железный гроб. – Ты, Смерть, в этих делах хорошо разбираешься, ложись, примерься, ладно ли будет лежать? Может, ещё что надо сделать.

Смерть посмотрела на гроб, легла в него и обрадовалась.

– Какой хороший гроб, – стала хвалить она. – Крепко и удобно сделано. Прямо не встала бы...

– Ну и не вставай, – сказал кузнец и запер Смерть на девять замков. А сам домой ушёл.

Прошло с тех пор много-много лет. Чайчи на землю с облаков смотрит и всё удивляется: растёт на земле много умных людей, и никто не умирает.

Наконец ему самому боязно стало. Как бы люди до него, Чайчи, не добрались. А костлявой нигде не видно.

Долго смотрел Чайчи, наконец увидел: на горе, в железном гробу, Смерть, обманутая кузнецом, лежит.

– Вот дура, сама попалась! – рассердился Чаячи. Но спуститься на землю побоялся, велел помощницу Смерть из гроба освободить.

С тех пор Чаячи и сделал Смерть невидимой: боится, что люди её перехитрят и совсем погубят.

Только в чёрной книге Смерти стало столько исправлений и продолжений сроков, что записи у неё никак не сходятся. Чем дальше, тем больше люди смерть пугают. Вот какие люди стали.

### Могучий Мустакай

Ниже улуса Тос, где на берегу Мрас-Су, высятся скалы Курлык-Кая, в семиступенчатой пещере одиноко жил человек. Имя его – Мустакай.

Ростом Мустакай почти до половины большого кедра был. Лицо словно из плохо дублёной кожи, волосы нестриженные, глаза похожи на два чёрных ковша, положенных вверх дном.

Дикую козу он за три хребта гор замечал. Свистящей стрелой, спущенной из костяного лука, любого зверя останавливал.

А вот силы у Мустакая было мало. Даже с кулак камень не мог он через реку Мрас-Су перебросить. И голоса его тоже никто не слышал. Многие в улусе думали, что Мустакай на свет такой немой и глухой родился.

– Э, если бы вместо Мустакая чёрный камень родился, от этого никому ни лучше, ни хуже бы не было. Зря живёт такой на свете.

– Эдак, эдак, – вздыхали старики. – Мустакай хоть и брат уважаемого нами человека, но сердце у него, однако, холодное, как лёд.

Не соглашался со всеми один только кайчи<sup>8</sup> Тордай. Он до хрипоты спорил, что Мустакай такой потому, что молодой ещё пока.

Сам Мустакай не знал, что о нём в улусе говорят. Он там и не бывал никогда, не видел, как живут люди.

Казалось ему, что когда-то он жил с братом и семью сёстрами на горе Шелин. Потом сын хана убил брата, сёстры куда-то исчезли. А Мустакая, ещё маленького, люди из Тоса, спасая от ханского сына, завернули в бересту, приплавили к скалам Курлык-Кая и спрятали в пещере. Здесь и растили они Мустакаю. Приносили ему пищу, давали шкуры, чтобы укрываться. Только никогда не рассказывали ему о брате Шодравае и о семи сёстрах. Всегда просили тихо сидеть, и чуть шорох услышит – прятаться. Чуть зашумит Мустакай – его сыном Алтын-хана пугали.

Когда Мустакаю стало столько лет, сколько пальцев на руках и ногах вместе, ни один человек из улуса к нему в пещеру ходить больше не стал. Пришлось Мустакаю самому охотиться.

---

<sup>8</sup> Кайчи – сказочник.

Но и в лесу люди почему-то стали его обходить далеко. Старались с ним не встречаться. И Мустакай решил тогда, что люди его ненавидят, гнева ханского сына боятся.

– Скоро, наверное, люди сюда сына Алтын-хана приведут, чтобы снял он мою голову, – думал Мустакай.

Потом рукой махнул:

– А, всё равно!.. Чем век прятаться, лучше с белого света совсем уйти.

Однажды в летний день Мустакай возвращался с охоты. Возле скал Курлык-Кая он вдруг услышал громкую песню.

– Это, наверное, меня хитростью хотят взять, – подумал Мустакай и спрятался за кедр. Натянул тетиву лука и стал ждать неизвестного певца.

Не прошло времени тридцать раз глазом моргнуть, – из-за поворота реки показался старик верхом на лошади. Он ехал, опустив повод и полускрыв глаза, пел и играл на двухструнном кай-комусе<sup>9</sup>.

– Пусть подъедет поближе, – шепнул сам себе Мустакай, – прямо в сердце выстрелю.

Вдруг он разобрал, о чём поёт старик: о храбром богатыре, о слезах семи сестёр.

– Никогда не забудется в веках наших за народ погибший Шодравай!..

Изменился в лице Мустакай. Впервые услышал он от человека имя своего брата. Опустил свой лук и вышел навстречу певцу.

– А, эзен, здравствуй, – сказал старик и остановил коня.

– Эзен... – тихо и несмело ответил Мустакай.

– Я из улуса Тос, – сказал старик, – кайчи Тордай меня зовут. Еду и пою, что сердцу близко.

– Скажи, сказочник, откуда ты знаешь о слезах семи сестёр и о гибели Шодравай? – спросил Мустакай.

– О! – ответил кайчи, – кто забудет того, кто хорошее дело для людей делал? О Шодравае песни поём и на струнах играем. Знаю, как погиб Шодравай – твой брат. Знаю, где навеки остались сёстры.

Просить стал певца Мустакай, чтобы рассказал он всё, что знает.

Три раза вздохнул Тордай и стал рассказывать:

– Белому царю шорцы калан<sup>10</sup> платят. А сын Алтын-хана второй калан с нас брать каждый год приезжает. Всё отбирает – скот, железо, пушнину, разоряет совсем. Вот твой брат, Шодравай, и не стерпел однажды, сказал ханскому сыну:

– Почто так: мы калан русскому царю заплатили, а ты в сорок раз больше калан от нас же берёшь. Как нам-то на свете жить?

<sup>9</sup> Кай-комус – двухструнный музыкальный инструмент сказочника.

<sup>10</sup> Калан — налог, подать.

– Оттого я деру ваши шкуры, – закричал сын Алтын-хана, – что вы с русскими дружить шибко стали! Сколько я вам говорил, что от них подальше надо перекочёвывать?!

– Нет! – сказал Шодравай. – Здесь наша родина, мы отсюда никуда не пойдём.

Рассердился сын Алтын-хана, хотел было ударить Шодравая, да не посмел. Повернул коня и помчался, не сказав ни слова, в свою сторону.

Обрадовались люди, что ханский сын испугался и больше не приедет.

Вечером Шодравай на горе пегого медведя увидел.

– Ставьте казан. Медвежье мясо варить будем, – сказал Шодравай сёстрам и отправился на гору. Оружия с собой не взял, на свою силу понадеялся.

Зверь заметил Шодравая и побежал к нему навстречу. Засучил Шодравай рукава шабура, к бою приготовился. Но полетела вдруг на землю медвежья шкура, и перед Шодраваем сын Алтын-хана в полный рост поднялся в боевом вооружении.

Не побежал Шодравай от врага, начал биться с ханским сыном.

От их битвы с гор вековые кедры падали, камни с дом величистой со скал срывались.

Солнце три раза на ночлег уходило, а Шодравай и сын хана всё бились. На четвёртый день Шодравай силу стал терять, к земле клониться. На шестой день упал и больше не поднялся.

Сын Алтын-хана, победив Шодравая, хотел сестёр твоих связать, в свою страну песка увезти. Но сёстры твои, чем в руки ханского сына попасть – все семеро в скалу в устье Огузаса ушли. Сын хана им вслед большие камни бросал, они и сейчас, как быки, на берегу Мрас-Су лежат. А слёзы твоих сестёр до сих пор родником со скалы текут. А как ты сюда попал, об этом ты и сам знаешь.

– Почему теперь люди меня сторониться стали? – грустно спросил Мустакай.

– Обижаются, что ты вырос, а голоса людского не хочешь знать, – ответил кайчи, – о людском горе не думаешь.

– Какое же горе у людей? – удивился Мустакай. – Об этом я могу говорить: брат убит, сёстры в скалах остались навеки, я сам живу, скрываясь в пещере...

– Горе в народе большое, – вздохнул Тордай, – сын Алтын-хана сюда едет, сам калан собирать будет.

Мустакай даже в лице изменился:

– Голова моя с плеч слетит. Что же мне делать? У меня ведь нет силы...

– Пойдём в улус, – сказал Тордай, – посмотришь, как наш народ живёт, может, там тебе и силу дадут. Потом решишь, что тебе делать.

Мустакай задумался. Шестьдесят раз глазами моргнул, тридцать раз в затылке почесал.

– Ладно, пойду. Если умру на глазах у людей, то хоть кости мои звери по тайге не растаскают.

Когда Мустакай пришёл в улус, люди сперва с опаской на него поглядывали издали. Но Тордай ни на шаг не отходил от гостя. Постепенно и люди стали к нему приближаться. Когда привыкли, показали всё, чему от русских научились: пшеницу и просо сеять, пчёл и кур разводить, огороды сажать, хлеб печь и одежду шить по-новому.

Старики седыми головами качали:

– Низки хотя – горы наши здесь.

Мелки хотя – реки наши здесь.

Кайчи Тордай на кай-комусе заиграл, запел:

*– Нет того несчастнее на свете,  
Кто родины своей должен лишиться.*

– Сыну Алтын-хана не нравится, как мы жить стали. Он хочет силой оторвать нас от родного дома, угнать далеко. Там деревья и цветы не растут, горы там голые и реки без воды, родины он нас хочет лишить.

Сильно забилося сердце у Мустакая, когда услышал он это, заиграли в нём горячие струи. Захотелось ему постоять за народ, отомстить за кровь брата, за слёзы своих сестёр.

Но тут же опустил Мустакай голову и сказал грустно:

– Ах, силы у меня мало!..

– Дадим силу! – зашумели люди. – Было бы желание за народ стоять!

– Где же вы возьмёте мне силу? – удивился Мустакай.

Тогда встали самые уважаемые старики и тихими шагами подошли к Мустакаю.

– Видим мы, – сказал самый старший, – ты хочешь за людей постоять, в самое тяжёлое время к нам пришёл. Садись под этот кедр, корни которого семьюдесятью пальцами за землю держатся! – И, глядя на далёкие вершины, старик громко крикнул:

– С гор – силы Мустакаю! С вод – силы ему!

Тордай правой рукой до груди Мустакая дотронулся:

– Отдаю половину своей силы. Люби друга, врага не жаль!

Со всех сторон стали подходить к Мустакаю люди. Каждый, повторяя эти слова, прикладывал руку к сердцу Мустакая. На его грудь ложились твёрдые и мягкие ладони. Многие из них пахли шерстью и звериными шкурами. Некоторые – смолистым деревом и берёзовой корой. Были и потрескавшиеся от сильного огня руки кузнецов. И руки, исколотые иголками. И нежные, как кандык, руки девушек.

Наливалось тело Мустакая людской силой, сердце его наполнялось смелостью.

Последней к Мустакаю красивая девушка, дочь кузнеца, подошла. Приколола на грудь Мустакаю яркий цветок и сказала:

– Отдаю тебе, Мустакай, и любовь свою.

Запылало сердце у Мустакая. Стал он сильным богатырём, почувствовал, как руки его железными стали.

Но захотелось ему всё же силу свою проверить. Вышел он на берег, взял камень величиной с дом и легко перекинул его через широкую Мрас-Су.

Обрадовался Мустакай, наклонился за вторым камнем. Но в это время на улице Тоса тревожно зашумел народ.

– Сын Алтын-хана все улусы по реке Аба и устью Мрас-Су опустошил! Много скота и людей гонит в свою сторону. Сам ханский сын с чайзанами (главы, старосты улусов) в скалы Курлык-Кая поехал... – кричал верховой, прискакавший с низовьев Мрас-Су. – Младшего брата Шодравая ищет!

Не задрожал Мустакай, услышав об этом. Сказал спокойно:

– Встретим, как положено, ханского сына.

Весь народ собрался провожать Мустакая.

Старики у гор и рек просили сил Мустакаю добавить. Женщины и дети, прощаясь, махали руками. А мужчины вооружились, вместе с Мустакаем пошли. Тордай на кай-комусе заиграл.

На полпути догнала их дочь кузнеца и подала Мустакаю большой острый нож.

– Этот нож крепче камня, сильнее твоих стрел. Его в Таш-Оглы мой отец ковал, брат точил, я остриё правила. Возьми его, пусть он тебе победу принесёт.

Поблагодарил Мустакай девушку и, не оглядываясь, пошёл вперёд.

– Правда ли, что сын Алтын-хана перекидывает через Мрас-Су камни большие, как дом? – спросил он.

– Верно, верно, – кивнул головой Тордай, – лежат кинутые им камни в устье Огузаса... – и, подумав, добавил:

– Сильного зверя хитростью берут.

Ничего не успел ему ответить Мустакай. Увидел людей на скалах Курлык-Кая.

Пригнулся Мустакай, обошёл скалы и вышел на берег Мрас-Су ниже Курлык-Кая. Там, у своей пещеры, он увидел огромного человека. Это был ханский сын. На три головы выше Мустакая он вырос, лицо, как Кара-Таг, чёрное от злобы, узкие глаза горели, как глаза хищного зверя.

На голове у сына Алтын-хана железная шапка, отобранная у Шодравая, сверкала. Халат из чёрного шёлка перетянул он медным поясом, омытым слезами семи сестёр. В руке держал кривую саблю.

Увидел ханский сын Мустакая, повернулся к нему, взмахнул саблей. Кровью налились глаза ханского сына, скалы задрожали от его голоса:

– Эй, заяц прибрежный, что за кедр прячешься?! Я к тебе в гости приехал, угощение готовь!

– Приготовил уже, – ответил Мустакай. – На, угощайся, пегий медведь!

Схватил большой камень и бросил его прямо в голову ханскому сыну.

Отскочил камень от железной шапки. Ещё больше разозлился ханский сын.

– Пойдём, слабосильный, на гору!

– Нет! Сперва в реке искупаемся!.. – ответил Мустакай и, схватив ханского сына, вместе с ним бросился в реку. Брызги взлетели выше самых высоких гор.

Изо всех сил боролся в воде Мустакай с ханским сыном, хотел, чтобы тот водой Мрас-Су захлебнулся. Но сын Алтын-хана всё же сумел встать на ноги. И кривой саблей ударил Мустакая три раза в грудь. Красной, как алая заря, стала вода Мрас-Су от крови Мустакая.

Пошатнулся Мустакай, но вспомнил о ноже, подаренном ему девушкой из Таса. Выхватил нож и обрушился на ханского сына. Сын Алтын-хана мёртвым упал на берег.

Оглянулся вокруг Мустакай, а чайзаны и тасы хана сломя голову от народа бегут. Лучшие охотники стрелы им вслед посылают, горы на них камни обрушивают.

Улыбнулся Мустакай, хотел к народу пойти, но почувствовал, что силы у него больше не осталось, кровь ему сердце заливает.

Дошёл, шатаясь, Мустакай до своей пещеры и упал на каменную кровать.

А в это время ханский чайзан по скале ударил и завалил ход в пещеру камнями. Но и сам уйти не успел, тут же от рук дочери кузнеца свалился мёртвым.

Сомкнулись каменные стены над Мустакаем, на века погребли его под собой. Но Мустакай и сквозь стены услышал песни победы, почувствовал людскую радость. И умирал, улыбаясь. Глаза его видели сквозь камень счастливых свободных шорцев и среди них девушку из Таса. Лицо её сияло гордостью и любовью.

– Прощай, Мустакай, получивший силы от народа. Прощай, богатырь, избавивший шорцев от власти злого хана!

# ЗАПИСКИ МОЛОДОГО КАМА

---

## Повесть

Я учился в начальном техническом училище. Родственники предрекали мне большое будущее в городе; отец, например, видел во мне писаря. Мечтая закончить учёбу с похвальным листом, я всё свободное время проводил за книгами.

Беда случилась в начале апреля. Я неожиданно и странно заболел. Хозяйка квартиры, где я проживал, испугалась и привела врача. Пожилой человек в очках, с бородкой, внимательно осмотрел меня, послушал в трубочку лёгкие, постучал пальцем по спине, заглянул в рот. Затем, нахмурившись, прошёлся по комнате, оделся, поклонился хозяйке и ушёл. Добрая женщина, провожая его, попыталась узнать о моём заболевании, но доктор в ответ только буркнул:

– Симулянт!

Я же от слабости не мог даже с постели встать. И впрямь болезнь моя была очень странной: протекала волнообразно, как прилив и отлив. Во время приступа я бледнел, появлялся шум в голове и всё меркло. А когда приходил в себя, то чувствовал своё тело одеревеневшим. Руки, ноги были словно парализованы, веки невозможно поднять. Если же всё-таки я приподнимал их, то глаза резало, как от песка.

О своих глазах хочу сказать отдельно. Некрасивыми их не назовёшь, но и обыкновенными тоже. У большинства шорцев глаза чуть раскосые и нередко такие узкие, что зрачков не видать. У моих сестёр глаза были не как щёлки, но и не совсем открытые. Я же уродился с необыкновенно большими, чёрно-жгучими глазами. Моя мать удивлялась:

– Ты, сынок, очень похож на своего прадеда Альчука. Он был такой же большеглазый.

А недавно подошли ко мне на базаре две бойкие русские бабёнки, оглядели меня и со смехом говорят:

– Парень, у тебя такие страстные очи. Мороз по коже дерёт!..

Мои одноклассницы-девчонки, откровенно поддразнивая меня, просили:

– Ты, Шаран, на нас не смотри, а то помрачение в голове получается. В твоих глазах есть что-то необыкновенное, и наш брат не может устоять перед тобой!..

От таких комплиментов я чувствовал себя отвратительно. Девчонки не интересовали меня, а только раздражали своими разговорчиками.

Однажды я даже пожаловался учительнице:

– Надоело выслушивать их восхищение. Так и хочется изуродовать себя...

– Ты с ума сошёл, Шаран! – удивилась она. – У тебя и в самом деле красивое лицо с бледно-розовой кожей, прямым носом и мягкими, слегка вьющимися волосами. Разве такой молодец не будет нравиться девушкам. Они злятся потому, что ты не обращаешь на них внимания.

После разговора с учительницей я успокоился.

А вообще-то всё шло хорошо, ничто не предвещало беды. Она явилась ко мне с этой странной болезнью. И вот я уже несколько дней лежу в постели. Приступы накатываются один за другим. Приходили навестить меня друзья по училищу, но хозяйка никого ко мне не пустила. Она вызвала моих родителей. Приехал отец. Походил по комнате, сказал:

– Едем, сынок, домой. Там и стены помогут.

Так я оказался снова дома.

Мой отец – зажиточный шорец. Занимается пчеловодством, имеет до ста ульев, продаёт выгодно мёд, возит в церковь воск, там за него дают хорошую цену. Дом у нас большой, крестовый, в хозяйстве – амбар, три лошади и четыре коровы.

У меня есть сёстры. Две замужем, живут отдельно, а третья помогает отцу с матерью по дому. Братьев нет, поэтому родители относятся ко мне как к единственному наследнику – сыну-ачу.

Меня берегут, не дают тяжёлую работу. Но, как и все подростки аала, весной я пилю дрова, копаю огород, караулю пасеку, а летом заготавливаю сено. После полевых работ хожу за ягодой, езжу на лошади шишковать в тайгу. И только после этого, зимой, сажусь за учебники. Учёба даётся мне легко. Я окончил сельскую приходскую школу. Свободно изъясняюсь на русском языке. Потому отец и отправил меня учиться в город, где устроил к русским, в чистый уютный дом. С хозяйкой он расплачивается сам. Скоро мне стукнет восемнадцать, а мечты лопаются, как мыльные пузыри, и всё из-за того, что на меня навалилась эта странная болезнь.

Когда мы с отцом приехали домой, мать с сестрой встретили меня с заметным волнением. Ича, то есть по-русски мать, не знала, куда меня посадить, чем накормить. В этот момент я чувствовал себя совершенно здоровым человеком.

После встречи, объятий, слёз я пытался шутками успокоить ичу и сестру, но напрасно. Те провели меня не в мою небольшую комнату, а в просторную, предназначенную для гостей. Эта комната была светлой, с русской мебелью, варшавской кроватью. Простой ковёр заменили персидским, а на пол кинули две большие медвежьи шкуры.

– Теперь эта комната твоя, сынок, – сказала ича.

Быстро раздевшись, я лёг в постель. Всё-таки дорога утомила меня. Проснулся я в десять часов утра. Проспал почти полсуток.

В солнечную комнату вошла ича и сразу засуетилась:

– Чего бы ты хотел покушать? Я приготовила пирожки с черёмухой, пельмени.

– Спасибо, я не голоден ещё.

Ича вздохнула и неожиданно сказала:

– Я знаю, отчего ты заболел. Бабы, девки тебя изурочили. Когда прибыли в город, нам пришлось остановиться в проезжем доме. Как на тебя глазели бабы, девки – словно парня никогда не видели. Я тогда сразу поняла, поторопилась с отъездом, что они изурочат тебя. Мы вылечим твои глаза, сегодня же вымоем голову солёной водой и всё пройдёт.

Голову мне вымыли, но чувствовал я себя по-прежнему неважно, более того, во мне стало нарастать раздражение. В доме говорили тихо, старались ходить, не громыхая обувью.

Отец привёз меня домой и сразу же на неделю уехал в тайгу. Вернувшись, поговорил с матерью и снова уехал. Мать сказала: «В Подобас, за фельдшером».

Через три дня отец привёз фельдшера Филимонова. Тот сразу, как только вошёл в дом, приступил к делу. Заставил меня встать с постели. Послушав моё сердце, лёгкие, походил вокруг и, смешно подёргивая рыжими усами, сказал:

– Ничего у тебя, молодой человек, не болит.

– Да, – согласился я.

– Тогда что же лечить будем?

– Не знаю, но я всё-таки болею. Сила теряется, руку не могу поднять.

– Странно! А может, ты просто симулируешь, отлынивая таким образом от учёбы?

– Ничего не симулирую! – рассердился я, снова лёг в постель и отвернулся.

Отец и фельдшер вышли из комнаты.

Немного погодя пришла ича в приподнятом настроении. Как вошла, так сразу начала:

– Ты, сынок, не расстраивайся. Филимонов – опытный человек, своё дело знает. Никто не обижался на него. Он считает, что ты переутомился. Отдохнёшь, и всё пройдёт.

Слушая ичу, я вдруг почувствовал, как загудело в голове, в ушах появился шум. Подумал: «Приступ начинается».

Мать, увидев моё побледневшее лицо, схватилась за голову и выбежала из комнаты. Я хотел ей сказать, чтобы она успокоилась, но язык уже не повиновался мне, моё тело одеревенело. На меня словно навалился кто-то тяжёлый, не давая пошевелиться.

В комнату вбежали отец с фельдшером, за ними мать. Филимо-

нов попытался что-нибудь сделать со мной, поднимал мои руки, но они падали, как плети. Лицо у него было крайне удивлённое.

– Ничего не понимаю.

Через минут десять приступ стал проходить. Мои мысли словно расслабились. Я стал ощущать своё тело, во рту прошла сухость, теперь я мог говорить.

– Что смотрите? Надоело! Ходите и ходите тут, – проворчал я. Родители с фельдшером сконфуженно вышли из комнаты.

После этого ко мне никто не заходил, кроме матери. Настал полный покой. Дни потекли однообразные, тоскливые. Чтобы чем-то заняться, я стал вести в тетрадке историю своей болезни, где описывал приступы. К моему счастью, они не возобновлялись.

Иногда, лёжа в постели, я брал зеркало и подолгу разглядывал себя. От последнего приступа не осталось следа. Кожа была свежей. Чувствовал я себя хорошо.

Как-то вечером у меня появился зверский аппетит. Так захотелось есть, что чуть дурно не стало. Позвал мать. Она прибежала и с тревогой спросила:

– Что случилось?

– Ничего, просто есть хочу.

– Ай, как хорошо! – она всплеснула руками. – Сюда принести или сам на кухню пойдёшь?

– Лучше сюда.

Ича ушла. Я походил по комнате, несколько раз присел, думая: «Вот бы так всегда, чтобы никаких приступов».

Ича принесла еду и пристроилась рядом со мной:

– Хочешь узнать новости?

– Конечно! – кивнул я, уплетая пельмени за обе щеки.

– Приходили твои товарищи по школе и ещё городская девушка. Люди говорят, что она с отцом ездит, помогает ему по торговым делам. Стройная и красивая с виду.

– Беленькая? – спросил я с улыбкой. – У нас, у шорцев, как белолицая, так красавица.

– Да, – подтвердила ича. – Но всё же она хорошенькая.

– Зачем я понадобился ей?

– Не знаю, не интересовалась, – пожалала плечами ича. – Если спрашивала, значит, хотела о чём-то поговорить с тобой.

– Знаешь, а я чувствовал, что кто-то незнакомый хочет меня видеть. Это было вчера, в полдень, не так ли?

– Да, твои друзья и девушка были именно вчера в полдень. Отец хотел пропустить их к тебе, но Настя была против. Она сказала: «Вдруг Шаран влюбится в эту красавицу, что тогда будет? Совсем разболеется». Мы согласились с ней.

– Если эта девушка всё-таки ещё раз придёт, то обязательно пропустите её ко мне. Хочется же узнать, что ей от меня надо.

Проснулся я от шума, который раздавался рядом. Открыл глаза, смотрю, возле моей кровати стоят родственники.

– Вы что тут делаете? – удивился я.

Ича заговорила:

– Не волнуйся, сынок. Просто я не могла долго привести тебя в чувство, очень испугалась и всех поставила на ноги.

– А где отец? – спросил я.

– Ушёл за Кычаем.

Я поднялся с постели, поел. Сел почитать, но снова пришла ича и сказала, что к нам явилась «вчерашняя» девушка, просится ко мне.

– Пропусти же её. Не волнуйся, не съест она меня.

Немного погодя в дверях появилось хорошенькое существо, хрупкое, с книгой в руке. Она удивлённо уставилась на меня.

– Вот ты какой!

Неожиданно девушка уронила книжку, тут же покраснела, нагибаясь за ней. Выпрямившись, мило улыбнулась, словно извинилась за то, что так получилось. Потом, смущаясь, сказала:

– Я уже несколько дней с отцом в посёлке, но попасть к вам трудно. Мой брат услышал, что вы больны, и просил заглянуть к вам...

– Он меня знает?

– Брат учится с вами в одном училище. У него было тоже нечто подобное. Он пил настойку из редьки, помогло. Может, и вам станет лучше от неё.

– Спасибо за рецепт, – поблагодарил я и пригласил девушку к столу.

Она присела и стала рассказывать, как ездит с отцом по улусам. Отец уже стар. Ему нужна помощь. Брат из-за учёбы не может ездить с ним.

Вот так немного поговорили, и девушка стала прощаться. Перед тем как уйти, сказала, что ей приятно было со мной познакомиться.

Она и впрямь была красива, но чего-то в этой красоте не хватало. Она не притягивала, не поражала.

Мы попрощались.

Минуты через две пришла ича и спросила:

– Что-то мало вы поговорили?

Я пожал плечами. Мать накинулась на меня:

– Это всё твоя болезнь. Она ломает тебя, и тебе всё кривым кажется.

Нам с отцом девушка очень понравилась. На редкость уважительная.

– Ну и что из того! – сердито ответил я. – Меня интересует не девушка, а Кычай. Я знаю, что он известный шаман, но боюсь, что не поможет он мне. Вон сколько врачей смотрели меня! Сколько денег взяли! А толку?!

Ича замахала руками:

– Разве можно такое говорить? Не вздумай нагрубить Кычаю. Он не напрашивался к нам. К нему люди сами идут и слёзно умоляют, чтобы помог. И отец твой пошёл просить, чтобы Кычай осмотрел тебя.

– Простых, неграмотных людей обманывает он, этим и живёт, – возразил я.

– О Господи! Что ты городишь! – возмутилась ича. – Кычай – справный хозяин. У него корова, лошадь и другой живности полно. С женой живут в большом доме. Вот только беда – нет детей у них. А людям помогает он от доброты. Не только болячки лечит, но и души. Божий дар у него!..

На доводы матери нечем было мне возразить. Я промолчал. Поворчав ещё, ича ушла, но тотчас вернулась.

– Кычай идет! – трепетным шёпотом проговорила она.

Я торопливо оделся, чувствуя, как от волнения дрожат руки. Скажу им сейчас, что у меня всё в порядке и мне пора ехать в город на учёбу.

В комнату первым вошёл отец, за ним важно переступил порог Кычай. «И так-то тошно, ещё и колдуна привели», – подумал я, глядя на него.

Кычай больше походил на торговца, чем на шамана. На голове бобровая шапка, плотное тело охватывал тёмно-зелёный сюртук, подпоясанный разноцветным кушаком, на ногах – лакированные сапоги. Сам среднего роста, лицо смуглое, без скул, как у цыгана, усы короткие, глаза внимательные, острые. Во всём его облике чувствовалась какая-то сила, которой надо беспрекословно подчиняться.

Шаман без разговора снял шапку, подошёл ко мне, внимательно посмотрел в глаза и спросил:

– Крепко закрутило?

– Сейчас в порядке. Ничего не болит. Наверное, скоро смогу учиться, – ответил я.

Кычай покачал головой.

– Об учёбе не мечтай, паря. Ты болен серьёзно.

– Откуда вы знаете? Я чувствую себя хорошо.

– По глазам твоим, – сказал шаман. – Уж очень потемнели волокна жил.

Я хотел его спросить, что это такое, но духу не хватило.

Меня поселили в отдельной комнате. Три дня подряд я сдавал анализы.

Ольга часто просиживала у меня. Иногда мне казалось, что она смотрит на меня как-то по-особенному, и даже злится, когда входят сёстры милосердия.

На четвёртый день, к обеду, я почувствовал себя неважно, да и

Ольга задерживалась, а мне так хотелось, чтобы она пришла. И вот Ольга влетела в палату.

– Знаешь, мне показалось, что ты меня зовёшь. Я очень торопилась к тебе.

– У меня сейчас начнётся приступ.

Девушка выбежала из комнаты, только мелькнул край её платья. Через несколько минут палата заполнилась людьми в белом во главе с пожилым доктором.

Моё тело отяжелело, превратилось в статую. Доктор внимательно стал осматривать меня. Кто-то за его спиной произнёс:

– Эпилепсия. Только в другой форме.

Доктор ничего на это не ответил.

Постепенно тяжесть, давившая меня, стала отступать.

Когда я смог уже шевелиться, доктор попросил выйти всех из палаты, а когда мы остались одни, заговорил:

– Что ж вам сказать, сударь? Я посмотрел ваши анализы. Есть в них незначительные изменения, но они ни о чём не говорят, скорее всего, вы вполне здоровый человек. В одной очень древней книге я нашел описание заболевания, очень похожего на ваше. Но объяснить его трудно. Поэтому я выскажу своё предположение, гипотезу. Понимаете, в каждом человеке существует энергия, у вас она в избытке, ей нужен выход, а вот какой, к сожалению, я не знаю. Надо найти человека с подобным заболеванием.

Он внимательно ещё раз посмотрел на меня и полюбоществовал:

– Врачи смотрели тебя?

Отец замялся, потом ответил вместо меня:

– Да!

– И что же они сказали?

– Ничего не говорят хорошего. Припадки у него какие-то странные, непонятные.

– На падучую не похоже, – задумчиво проговорил Кычай, – при этой болезни пена изо рта идёт, сознание человек теряет. У парня же этого нет?

– Нет, нет! – замотал головой отец. – А у вас был в роду шаман? – неожиданно спросил Кычай.

Этот вопрос удивил меня. Я никогда ни от кого не слышал, чтобы в нашей семье был шаман.

Отец обернулся к матери:

– Открой сундук и дай родовые кольца наших дедов.

Мать молча развязала пояс, на котором висели ключи, подошла к сундуку, открыла замок, подняла крышку. Послышался мелодичный звон.

Пошарив в сундуке, она вытащила со дна цепочку с нанизанными золотыми кольцами и стала перечислять.

– Это Петра, дальше Альчука...

Она перечислила ещё пять имён. Когда дошла до Чеболана, воскликнула:

– По-моему, он был у нас шаманом.

Кычай взял кольцо, покрутил его, отдал матери.

– Положите на место.

Надел шапку, собираясь уходить:

– Так что вам сказали врачи?

– Сказали, что надо сына везти в Томск.

Кычай помолчал немного и кивнул:

– Верно, там большие учёные доктора. Они и помогут.

– А вы? – спросил отец.

– Нет. Что может знать тёмный неучёный человек вроде меня? Ничего. Для кого-то моё искусство просто шарлатанство, обман тёмных людей, а для того, чтобы вылечить человека, нужно, чтобы он верил тебе.

После этих слов он развернулся и ушёл.

Я был сильно озадачен тем, что услышал. На душе было неспокойно. Как он мог узнать, что я болен, если сейчас совершенно здоров. Единственное, что он сделал, так это сказал, а вдруг в дороге что-нибудь случится, – посыпались возражения.

Во время спора отец увидел в окно проходящего по улице Кычая.

Отец поднялся и, сутулясь, вышел из дома, чтобы позвать шамана и решить спор в его присутствии. Меня это удивило и даже обидело. Неужели такой пустяк надо обсуждать с шаманом? Между тем все в комнате замолчали, хотя Кычай ещё не вошёл в дом. Меня поразило выражение покорности, которое появилось у людей, когда шаман переступил порог, словно все присутствующие здесь были в чём-то виноваты перед ним. Кычай присел к столу. Прищурив глаза, с интересом огляделся.

Смелей всех оказался муж моей старшей сестры. Он громко и уверенно начал рассуждать насчёт моей поездки:

– Если Шарана трахнет бесовский припадок, кто окажет ему помощь. Воры и жулики могут обчистить.

– А как ты сам думаешь, Шаран? – неожиданно обратился Кычай ко мне.

– Хочу ехать без няньки, – твёрдо ответил я.

– Щайтановской болезни у него нет, у парня совсем другое. Свой приступ он начинает чувствовать за час. В голове появляется шум, тело ломит. Не так ли, Шаран? – спросил меня Кычай.

– Да, – ответил я, а про себя подумал: «Откуда он эти подробности знает? Ведь я никому, даже врачам, не говорил об этом».

– И ещё, при приступе он сознание не теряет, – продолжал шаман. – Ему просто тяжело, он не в состоянии двигать ногами, руками, они тяжелеют, словно наливаются свинцом.

И снова вопрос ко мне:

– Верно ли я говорю?

– Да! – опять подтвердил я, не зная, что подумать...

Кычай продолжал:

– Если Шаран хорошо настроит себя на эту поездку, тогда всё будет у него нормально; уверенный в себе многое может, даже болезни победить.

Больше он ничего не сказал. Посидел ещё немного и ушёл. Спор кончился в мою пользу, о чём я и поведал тетради...

И вот однажды в ясный день, собрав пару белья, полотенце с мылом и другие необходимые принадлежности в ездовую сумку, захватив новый костюм, я оседлал коня и с зятем двинулся в дорогу. Он согласился проводить меня до Кузнецка и посадить там на пароход.

До города мы добрались за пять часов. Переночевали

Но врач смотрел мне в глаза и ничего не увидел.

Я подошёл к зеркалу. Как ни крутил глаза, поднимая веки, так и не смог понять, какие волокна он имел в виду...

И второе, что тоже показалось мне странным: почему Кычай решил, что у нас в роду есть шаман? Интересно, имеет ли это какое-то отношение к моей болезни?

А в-третьих, что вообще ни в какие рамки не входит, – шаман посылает к докторам. Шаманы должны бояться докторов, потому что те могут лишить их прибыли и даже авторитета у людей, а это означает конец их деятельности. Кычай поступает нелогично.

Все свои сомнения я записал сначала в тетрадь, а после выложил отцу с матерью. Они выслушали меня, потом отец, подумав, ответил:

– Значит, добра тебе хочет, а может, испытать хочет докторов, зная твою болезнь. Ты всё же съезди в Томск. Я дам тебе зятя. С ним не страшно будет тебя посылать. Вот только дождёмся тепла – и в путь.

А тепло – вот оно. Апрельское солнце поднимается всё выше и выше, всё горячее кидает свои лучи на землю. Снег тает на глазах, по улицам улуса потекли, побежали шумные ручейки. Все они, переговариваясь, спешили к реке. С каждым днём больше и больше становилось воды. Лёд на реке сделался тёмным и начал трескаться...

Однажды отец привёл ко мне приезжего портного и попросил его сшить костюм. Портной, покрутив и измерив всего меня, сказал:

– Такому молодцу сошью жениховский костюм. Девки посмотрят на него и упадут от восхищения.

Лёд тронулся, ещё немного и река очистится. Тогда я смогу поехать на пароходе в Томск, где ни разу не был. Мне очень хотелось поскорей отправиться в путь.

В обед пришли родственники к отцу по делу и за разговором задели вопрос о моей поездке в Томск. Что тут началось!.. Одни говорили, что мне вообще нельзя ехать. Другие доказывали обратное. Не скоро сошлись на том, что ехать всё-таки мне надо, но с провожатым, как и задумал отец. Но тут уже я возмущился:

– Зачем мне нянька? Я что, маленький? По-русски говорю, дороге сам найду, до Томска как-нибудь уж доберусь. А утром, купив билет на пароход, я отправился в Томск, а зять вернулся домой.

...Каюта мне понравилась. Отплытия я не стал ждать, а сразу же лёг спать. Сквозь сон слышал, как пароход протяжно прогудел, потом затрясся всем своим мощным телом, словно набирая силу для дальней дороги. Больше я ничего не слышал.

В каюте было светло. Слышался ровный гул мотора. Я умылся, не спеша позавтракал, оделся и вышел на палубу.

Стоял ясный, тёплый весенний день. По палубе ходили, не зная, чем заняться, пассажиры, их было много. Я выбрал скамейку недалеко от борта и стал любоваться берегами Томи.

Левый берег был пологим, в лугах и пашнях. Часто на глаза попадались ярко-зелёные квадраты озимой ржи. Пасущийся скот, улусы проплывали мимо. Правый берег – гористый, от подножья до вершин покрыт лесом.

Ко мне подсел на редкость рыжий парень:

– Дымить умеешь?

– Я не курю, – ответил ему, смутившись.

Посидев немного, сосед опять заговорил:

– Молодой человек (можно подумать, что он сам старый!), вы обращаете на себя внимание молоденьких дамочек и красивых девушек.

– С чего бы это? – рассердился я. – Не зверь же я, в клетке не сижу.

И отодвинулся подальше от него, но, повернувшись к пассажирам, увидел недалеко симпатичных девушек. Они о чём-то весело переговаривались и посматривали в мою сторону. Я отвернулся, но одна, удивительно хорошенькая, в белом платье с тёплой накидкой, стала прохаживаться около меня. При этом поглядывала с вызовом и улыбалась. «Ещё раз пройдёт, встану и уйду к себе в каюту», – подумал я. Но не успел осуществить своё желание – она вдруг решительно подошла ко мне:

– Вы едете в Томск?

– Да.

– Наверное, учитесь там?

– Нет, к докторам.

– Неужели вы больной? – удивлённо воскликнула она.

Я встал, чтобы уйти немедленно.

– Подождите! – торопливо проговорила она. – Если вы действи-

тельно больны, то мой папа – врач, и он может помочь вам. Кроме того, он всех врачей знает. Боже мой, что с вами?

И тут же выскочила из дверей.

Прибежали люди, набились в комнату, а я лежал тряпичной куклой и ничего не мог им сказать. Хорошо, что вернулась эта девушка. За руку она тащила старика. Размахивая медицинской трубкой, он протиснулся ко мне, а девушка стала выпроваживать любопытных.

– Пожалуйста, освободите каюту! Больному нужен воздух!

Толпа ушла. Старичок расстегнул мою рубашку, внимательно прослушал меня, потом, заглядывая мне в глаза, спросил, что со мной. Я молчал, только глядел на него. Он пристроился рядом и стал терпеливо ждать, что будет дальше. Девушка тоже присела. В каюте наступила тишина. Прошёл, наверное, час. Мышцы мои стали расслабляться, понемногу зашевелились руки, ноги, появилась во рту слюна, теперь можно было говорить.

– Вы зачем позвали людей? Кто вас просил? – заворчал я на девушку.

– У вас такой вид был! Испугалась и побежала за доктором, – оправдывалась она.

– Я вас к себе не приглашал.

– Прекратите! – вдруг вмешался в разговор старичок. – Молодой человек, лучше скажите, давно у вас такое?

– Несколько месяцев...

– Расскажите подробнее, как у вас это началось?

Я рассказал, и в заключение добавил, что теперь еду в Томск показаться врачам. Может, они определят моё заболевание.

– А как вас зовут? – вмешалась девушка.

– Шаран Отуш – ответил я.

– А я Ольга Васильевна Гущина. Учусь в гимназии, в последнем классе. В свободное время помогаю отцу. Я ведь говорила уже, что он врач.

– Я тоже врач, Анатолий Николаевич Зверев, – сказал старичок. И что-то забормотал себе под нос по-латыни. Я в училище изучал латынь, поэтому из его бормотания понял, что у меня наступает парализация, дальше шли сплошные медицинские термины, тёмные, как мрак. Наконец, он встал, смешно извинился перед нами и ушёл, все так же бормоча что-то себе под нос.

– Пошёл записывать симптомы твоей болезни, – сказала вслед ему Ольга.

– Ты поняла, что он говорил?

– В общем, ты интересный экземпляр с точки зрения медицины.

– Ольга, извини, что я тебе говорю «ты».

– Мне даже это нравится. У меня такое ощущение, будто мы знакомы давно. Знаешь, почему я к тебе подошла?

– Нет.

– Мои знакомые девочки обратили на тебя внимание из-за глаз. Они сказали, что твои глаза словно светятся, и ты совсем не похож на шорца. Я решила проверить, поэтому подошла к тебе и заговорила.

– Господи, как мне всё надоело, – сердито ответил я и отвернулся к стенке, показывая этим, что наш разговор окончен.

– Ты не сердись, но я скажу откровенно, что лично мне не понравились твои глаза, вблизи они страшные, в них что-то неестественное.

Я резко повернулся, чтобы ответить, но дверь в этот момент открылась, и на пороге появилась женщина. Я сразу понял, что это мать Ольги. Подойдя к нам, она с укором обратилась к дочери:

– Ольга, мне неудобно перед людьми, ты вышла из всех рамок приличия.

– Мама, ну что тут особенного. Помогла больному парню. Сейчас буду у себя, – ответила Ольга.

Мать ничего не ответила и вышла из каюты. Когда дверь закрылась, девушка сказала:

– Мама у меня спокойная, а вот папа... Он у нас нервный, но очень добрый, я познакомлю тебя с ним. Как завтра приедем, так сразу – к нам.

– Сначала я найду где остановиться.

– Зачем где-то? Тебе нужен врач, а папа – врач. Вдруг тебе опять будет плохо. Он поможет. – Уговаривала она убедительно, и я сдался. Побыв ещё немного около меня, она ушла.

Когда наступили сумерки, я снова выбрался на палубу подышать свежим воздухом, да и скучно стало сидеть одному в каюте. Походив взад-вперёд, я только присел на скамейку у борта, как возле меня раздался возглас:

– Вот ты где!

Повернувшись на голос, я увидел Ольгу.

– Шаран, Шаран, вставай! Через два часа причаливаем, а ты ещё не завтракал, – разбудила меня утром Ольга.

...В Томск прибыли с небольшой задержкой. Я стоял на палубе, когда показался город с пристанью, на которой было много народу. Ольгу с матерью никто не встретил. Ольга объяснила это тем, что отец не знает об их приезде. Он думает, что они приедут дня через два, как договаривались, но обстоятельства изменились, и женщины вернулись раньше срока. Ольга наняла двух извозчиков, в один посадила мать с багажом, а в другой сели мы с ней.

И вот я один в чужом доме или, как здесь говорят, особнячке, сижу в чужой комнате и записываю в тетрадку свои наблюдения, а голова моя раскалывается на части, тело снова ломит – начинается приступ, это я уже точно знаю. Никогда в жизни я не чувствовал

себя таким несчастным, как сегодня. Ольга устроила меня в своей спальне. Почему именно здесь? У них же есть комната для гостей. Всё начинает меня раздражать, дышать становится тяжело, и мне так плохо, ещё немного и...

– Господи, хоть бы сейчас никто не зашёл!

Больше всего меня волнует приход отца Ольги. Что подумает он, увидев в спальне своей дочери молодого человека? От этой мысли мне становится ещё хуже.

Немного погодя появляется Ольга.

– Сегодня отдохнёшь, а завтра пойдём к хорошему врачу. Папа даст нам письмо к нему, а сейчас я покажу твою комнату, вещи твои уже там.

Я облегчённо вздохнул.

Вечером за ужином меня представили отцу Ольги.

– Шаран Отуш!

– Василий Петрович.

– Ну-с, молодой человек, расскажите, зачем пожаловали в наш славный город?

Я подробно рассказал, что со мной происходит. Под конец разговор зашёл о моих родителях, об учёбе и о том, чем я в дальнейшем намерен заняться.

– А я теперь и сам не знаю... Хотелось бы продолжить учёбу, если позволит здоровье.

– Да, – сказал Василий Петрович задумчиво. – Выглядите вы молодцом. Трудно представить вас больным. – И, подумав, спросил:

– А вы верите, что врачи могут помочь вам?

– Не знаю. Хотелось бы верить. Если не вылечат, то хоть скажут, чем я болен.

– Ох, если бы это было так. Я сам врач и вроде неплохой, но о вашей болезни ничего не могу сказать. Мне она неведома.

Ольга зачем-то вышла из комнаты, и разговор перекинулся на неё.

– Думал, Ольга заинтересуется медициной, – продолжал Василий Петрович, – но она равнодушна к ней. Гимназию заканчивает на отлично, а теперь, наверное, мечтает, как бы замуж поскорее выскочить. Жаль, что она не парень. Знаете, я недавно беседовал с одним студентом из ваших краёв, так он рассказывал о шорских народных лекарях или, как у вас говорят, камах. Это было так любопытно, что мне захотелось познакомиться с ними. То, что он говорит, похоже больше на сказку. Диагнозы заболеваний точно ставят, даже находят пропавших животных, и вообще творят невероятные вещи. Это дико, конечно, но в их фокусах есть доля правды.

В это время во мне что-то произошло. Я почувствовал приближение девушки. И точно: раздался стук маленьких каблучков, и в комнату стремительно вошла разгорячённая от ходьбы Ольга.

После завтрака мы с ней отправились по докторам. Побывали у двух, но, посмотрев и покрутив меня, оба сказали:

– Молодой человек, если вы больны, так только падучей, а так вы совершенно здоровы.

Ольга утешала:

– Не расстраивайся, Шаран! У нас в запасе есть ещё адрес хорошего доктора.

Пошли к нему.

Доктор жил в большом особняке.

– Богач, наверное? – спросил я Ольгу.

– Да, у него обширная клиентура. Попасть к нему непросто, но папа договорился.

На звонок вышел мужчина. Ольга подала ему визитную карточку. Мужчина ушёл. Через некоторое время мы были в доме. Нас пригласили в гостиную. Не успели мы ещё присесть, как появилась молодая служанка и попросила Ольгу следовать за ней. Мне ничего не оставалось, как ждать её.

Прошло минут тридцать, прежде чем я увидел Ольгу. Она провела меня в кабинет. На пороге нас встретил пожилой мужчина. Внимательно осмотрев меня, он сказал:

– По виду вы здоровы, сударь, но, как объяснила мне Ольга, вы странно больны. Что ж, я попробую понаблюдать за вами, для этого положу вас в свою больницу. Сейчас напишу записку, и вы пойдёте по этому адресу. Там примет вас мой заместитель.

– Хорошо.

В гостиной за роялем сидела Ольга. Она была очень хороша в этот вечер. Я подсел к ней и не знал что сказать, все приготовленные слова вылетели из головы. Девушка играла что-то тоскливое.

– Ты уже собрался?

– Да. Прости, Ольга, я не хотел приносить тебе неприятности.

– О чём ты говоришь, какие неприятности? Всё было хорошо.

Мы отвлеклись и, вместо того чтобы разобраться, стали болтать на совершенно другие темы. Так и проговорили до часу ночи о том и о сём.

Лёжа в постели, я захотел, чтобы Ольга рассердилась на меня. Вот только почему пришло это странное желание, я не знаю. И что же?.. За завтраком Ольга была раздражена, а потом придралась ко мне из-за пустяка. Я её не узнавал, и всё утро она была злая, и даже не вышла меня проводить, и хлопотал только её отец. Попрошавшись с ним, я сел на извозчика и поехал на пристань. На этом мои томские похождения закончились.

Заняв каюту, я вышел на палубу. Кто-то уезжал, а кто-то провожал. Я стоял и разглядывал беспокойную толпу на пристани. Где-то в глубине души теплилась мысль: а вдруг покажется Ольга. То, что произошло утром, я уже не вспоминал. На сердце у меня было

чисто. Ведь я ни словом, ни делом не обманул её. Раскаиваться мне было не в чем.

И всё-таки поразительно: почему нельзя дружить с девушкой просто так? Почему у них нет ровного и постоянного товарищеского отношения к нам, парням? В нашей приходской школе девочки и мальчики учились отдельно, а двор был один. Пока были маленькими, играли вместе, были равны друг перед другом, а подросли – всё изменилось.

Пароход дал длинный гудок, палуба затряслась, пристань поплыла вбок. Люди на палубе махали руками, я тоже стал махать, прощаясь с городом. Всё-таки хорошо, что он познакомил меня с Ольгой, с её отцом и матерью.

Весь день я просидел на палубе, читая Достоевского. Эту книгу я давно мечтал приобрести, и вот купил в Томске. В каюту спустился поздно. Чувствовал себя очень хорошо, и это ощущение так и не покидало меня, пока ехал до Кузнецка.

С пристани я заторопился к хозяйке, у которой квартировал. Там меня ждал мой конь. Я сразу же направился не в дом, а в стайку. Конь почувствовал, кто пришёл, заржал негромко. Подойдя, я потрепал его за шею.

– Скоро домой. Небось застоялся.

Хозяйка обрадовалась мне, не торопясь стала расспрашивать. Но я даже толком не объяснил, как съездил, быстро поел, оседлал коня.

Сивый шагал бойко. Он словно понимал, что едем домой.

У переезда пришлось задержаться, ремонтировали паром через Томь. На берегу крестьяне сделали мне замечание: зачем коротко обрезал хвост коню?

После переезда через реку Сивый, почуяв волю, перешёл на рысь. День стоял тёплый, на небе ни облачка. Меня стало клонить ко сну. Разболелась голова, боль сдавила мозги. Вцепившись обеими руками в повод, я разогнал Сивого. Ветер приятно охлаждал лицо. Но и погода, похоже, надумала меняться. Далеко впереди, словно клякса, появилось чёрное облако. Оно двигалось мне навстречу, показывая: скоро дождь.

Страх стал одолевать меня при мысли: «Вдруг сейчас начнётся приступ?». В седле не удержишься, а Сивый испугается, убежит. Вот и буду в поле под дождём. По этой дороге вечером разве только волки могут появиться.

Мысли мои обгоняли коня. Он словно чувствовал, о чём я думаю, и старался унести меня подальше. Вот и маленькую деревню проскочили. Замелькали кусты густого леса. За ним должен быть улус Паратаг. Там я остановился.

Моё сонное состояние прошло, голова перестала болеть, на душе стало веселей, и уже не пугал надвигающийся вечер. Я даже

вспомнил одну песенку и запел её громко. Редкие крупинки дождя капнули на меня, темнота стала накрывать землю. Приблизился шум вместе с дождевой тучей.

Проезжая мимо паратагского кладбища, я посмотрел на потемневшие старые кресты. Многие из них покосились, еле держались на земле, в стороне светилось несколько свежих. На краю кладбища, невдалеке от дороги, стояла маленькая тесовая избушка, крытая берестой. Здесь часто укрывались путники от непогоды на пути в город или из города. Иногда устраивались и на ночлег.

Но у меня не было желания останавливаться, меня тянуло вперёд. Пусть дождь меня поливает и молнии играют без конца между небом и землёй. Мне неудержимо хотелось смотреть на величавые, нарисованные самой матушкой-природой картины.

Дождь всё усиливался, деревья с шумом раскачивались. Молния ослепила меня зигзагом и погасла, тотчас прогремел гром, ещё сильнее хлынул дождь. Въехал я в деревню, а она словно вымерла, на улице – никого, даже собаки не лают. Хотел было остановиться, прыгнуть с коня, но что-то удержало меня в седле. Я медленно проехал по улице, пересёк маленькую речушку и выбрался в поле. В этом бескрайнем просторе я словно слился с природой. Так и ехал не спеша, поливаемый дождём, по полю, надеясь в скором времени выбраться на дорогу. Вот и дорога, у кромки огромная сосна. Вдруг как грянет, будто выстрелила тысяча пушек, с неба полетело ослепительное облако огня, освещающая всё синим светом, сосна мгновенно окуталась ярко-голубым шёлком. Этот шёлк колебался, играл, переливаясь тысячами разноцветных цветов. Дерево горело, как сухая лучина.

Сивый остановился, не захотел подходить ближе. Мы так и не сдвинулись с места, пока сосна не догорела. Дождь постепенно кончился, и хотя где-то далеко ещё гремел гром, светили молнии, вокруг меня воцарилась непроглядная темнота. На вытянутую руку ничего не стало видно.

Конь опять зашагал вперёд, а у меня перед глазами ещё долго стояли увлекательные картины грозы. Мы двигались в полной тишине и в полном мраке.

Одежда была мокрой, но я почему-то не замечал этого, будто и не было её. Я радовался тому, что мой приступ так и не начался. Что же его остановило? Неужели гроза?

Сивый почуял родное село, вошёл в галоп. Заехав прямо во двор дома, я снял седло и отпустил коня.

Дома услышали хождение во дворе, зажгли лампу, и отец вышел на крыльцо. Увидев меня, ахнул. Я стоял перед ним, а вода стекала с меня, как с бобра...

У нашего народа есть такой обычай: если кто-нибудь съездит в город, так к нему собираются и старые, и малые. Этот человек обязан рассказать, что он видел, что слышал. Не избежал и я этой участи. Я ещё спал, когда все в улусе узнали, что я вернулся из Томска. Проснулся я от сильного хлопка двери. До меня долетел громкий шёпот. Покрутившись в постели, я встал. Вышел в общую комнату, там сидели ича и сестра. Поздоровавшись с ними, достал подарки. Женщины очень обрадовались. Сестра сразу же стала примерять обновы около зеркала.

– Сынок, ты бы позавтракал, а то люди сейчас придут, – сказала ича.

Мне совсем не хотелось есть. Я отказался, чем расстроил мать.

Понемногу стали подходить люди. Каждый, заходя в дом, приветливо улыбался и кланялся мне. Гости рассаживались, шёпотом разговаривали друг с другом. Чувствовал я себя довольно неловко.

Пришёл самый старый в улусе, всех переживший Большой Ковар. Он приветливо поздоровался со мной, встав на пороге. Ему сразу подали стул. Сняв шапку, он осторожно опустился на стул, погладил рукой белые, как у зимнего зайца, волосы, поправил такую же бороду. Его лицо было покрыто множеством морщинок, но глаза ещё зорко смотрели из-под опущенных бровей. Ковар не был богачом и не обладал никакой властью, но когда он говорил, слова на ветер не летели.

Паштыка, главу нашего аала, выбирает на сходке народ, но если его решения бывают несправедливы, то жаловаться идут к Большому Ковару. И только он может отменить несправедливое решение паштыка. Таков обычай у шорцев.

Посидев немного, послушав шёпот людей, Ковар сказал, обращаясь ко мне:

– Шаран, ты, наверное, привёз мешок новостей. Давай выкладывай их.

Отец и мать тоже подали мне знак, чтоб я начал рассказывать.

Я коротко обсказал, как ехал на большом пароходе, как познакомился с молодой девушкой и её матерью, как они помогали мне во время приступа, а потом пригласили к себе. Был я у больших лекарей, то есть у докторов. Они ничего не сказали мне хорошего. Некоторые из них посчитали, что у меня падучая.

После того как я произнёс это слово, в комнате воцарилась какая-то неестественная тишина. В моём сердце шевельнулась тревога.

– Это неизлечимая болезнь, шайтанская болезнь, – произнёс старик, сидящий недалеко от Ковара.

– Да, большое горе ты принёс своей болезнью в этот дом, – начал Ковар. – Сам сатана вселился в тебя. Теперь он не освободит твою душу. А как развеселится окаянный, так ты будешь падать

с пеной во рту и корчиться. С такой болезнью тебе среди людей жить нельзя!

Меж собравшихся прошёл шёпот, теперь все боязливо смотрели на меня. Страх и отвращение к себе я стал чувствовать всем своим нутром.

– Предки наши и мы, – продолжал Ковар, – припадочного стреляли и бросали в реку, чтобы приютивший шайтана уплыл подальше от наших аалов.

Я взглянул на отца с матерью, поразились их бледности, и отчётливо понял, в какое ужасное положение попал. До этого над обычаем умертвления припадочных я совершенно не задумывался, хотя и знал о его существовании. Раньше меня это как бы не касалось, а тут коснулось, и я не знал просто, как мне реагировать. А может, правда, чем всю жизнь мучиться, лучше враз всё кончить? Мои мысли перебила мать. Она так громко зарыдала, словно в доме объявился покойник. Мне стало жутко.

– Господи, за что нас ты покарать хочешь?! За что нашего красавца забрать хочешь?! За что света Божьего лишить хочешь?! – ухватившись за меня руками, она продолжала кричать. – На кого нас, стариков, оставить решил?

Потом, резко повернувшись к присутствующим, каким-то жутким голосом проговорила:

– Нет! Этого нельзя делать! Рано ему в страну Ульгена! Он никому ничего плохого не сделал. За что же лишать его солнечного света?

В её голосе уже сквозили ноты разъярённой волчицы. Повернувшись к отцу, закричала:

– Беги к Кычаю, пусть он переселит сатану в мою душу. Я уйду в тёмное царство злого Эрлика, а сын будет жить.

– Мои ноги перестали меня слушаться, – прошептал отец.

– Тогда ты, Настя, беги.

Сестра быстро захлопнула за собой дверь, только топот её ног мы услышали...

Ича, опустившись передо мной на колени и охватив меня руками, словно я собрался куда-то уходить, рыдая, приговаривала:

– Шайтан, перейди ко мне, оставь в покое моего сына. Его сердце чисто, как горный алмаз. Я отдам свою душу за сына.

Люди сидели молча, задумчиво смотрели на нас, ненависть оставила их души, одно смятение поселилось в них.

Мне тяжело было смотреть на мать, но весь я словно оцепенел от того, что здесь произошло. Для меня, грамотного человека, это было так дико, так ошеломляюще, что все слова пропали из головы.

Тут открылась дверь. Через порог переступил Кычай, за ним моя сестра. Шаман поклонился всем, осмотрелся вокруг, выясняя обстановку.

Я посадил мать, погладил её по голове и прошептал:

– Успокойся, всё будет хорошо.

Шаман сел на предложенный стул. Взглянув на нас с матерью, произнёс, обращаясь ко мне:

– Съездил к большим докторам? Что они тебе сказали?

– Падучая у меня.

– А лечить её чем?

– Нет от неё лекарств.

– Всё тут ясно. Шайтанская болезнь у него, – сказал один из стариков.

– Ничего подобного, – громко, чтобы все слышали, возразил Кычай говорившему. – Ты, Пайтан, если не знаешь, то не мели языком, не нагоняй на людей страх! Сам подумай, если бы у него была падучая, то разве мог он один поехать в дальний путь?.. Ты, Шаран, должен стать шаманом.

Я отрицательно покачал головой:

– Извините, но в шаманстве я ничего не понимаю. Я даже не знаю, с какой стороны брать бубен. Да и не хочу я быть шаманом, не верю ни в какую его силу.

Старики встали, хрустя костями, грустно посмотрели на меня, усмехнулись и молча ушли.

Походив бесцельно по комнате, я вышел на улицу, постоял и направился к речке. Улица выглядела тихой, сонной, никто на ней не пылил. Даже коровы, собаки куда-то исчезли. На дверях домов висели коромысла, показывая, что хозяев нет дома.

Я пошёл к речке Кизак, хмурясь и мрачно глядя себе под ноги. Надо же придумать такое старикам, чтобы я учился на шамана, занимался колдовством и при этом обманывал людей. Да ни в жизнь! Ещё услышат мои одноклассники, начнут издеваться надо мной, посмешищем посмешищем стану для них.

Как представил я себе всё это, мурашки по спине забегали.

С удовольствием искупался в реке, потом долго лежал, наслаждаясь покоем. Приятный тёплый ветерок обдувал моё голое тело, но на душе покоя не было. Было чувство оторванности от жизни, ведь я фактически бездельничал, ничем серьёзным не была занята моя голова. Скука начинала прессом давить меня сегодня. Родители работают, говорят: «Отдохни да отдохни!».

Вернувшись домой, я вяло поел и лёг в постель, чтобы малость вздремнуть. Вдруг слышу, как возле кровати что-то стукнуло. Открыл глаза и замер: стены моей комнаты как бы раздвигались. Я хотел вскочить, но не мог пошевелить даже пальцем, хотел закричать, но голос пропал. Посредине пола появилось пламя, огонь быстро распространялся. Ещё немного, и пляшущие языки охватили всю комнату. Ужас сковал меня при мысли, что сейчас я сгорю в этом пламени. Вот огонь уже рядом, и я чувствую его жар, а крас-

ные языки охватывают мою постель. Голова моя раскалывается, на лице жгучая боль, огонь задевает его. Сердце бешено рвётся из груди. Ещё чуть-чуть, и я погибну в муках, не имея возможности позвать на помощь. Когда я готов был уже умереть, то увидел в пламени удивительно красивую обнажённую девушку. Золотистые с отливом волосы её были распущены. Меня поразило то, что она танцевала, кружась, в огне, с её волос летели тысячи разноцветных искр, они гасли и опять появлялись, а глаза её были подобны раскалённому солнцу, на них смотреть было невозможно. Вдруг у неё в руках появился лук со стрелой. Девушка замедлила вращение, приблизившись ко мне, стала целиться...

– Шаран, ты должен стать шаманом. Знаешь, что будет, если я выпущу в тебя эту стрелу?

Я ничего не мог ей ответить. Только лежал, смотрел и перебирал в уме все молитвы, которые знал. А девушка, танцуя, продолжала говорить:

– Если выпустить эту стрелу, то много бед она принесёт людям, а виноват будешь ты. Даю два дня срока. Или ты станешь камом, или пеняй на себя!

Я закрыл глаза. Когда открыл их, девушка исчезла, вместе с ней исчез и огонь. Всё в комнате стояло на своих местах. Я пошевелился, поднялся с постели. В это время раздался стук в дверь.

– Входите! – громко крикнул я.

Вошла девушка, которая была у меня после того, как отец привёз меня, больного, из Кузнецка. Вот только я не помнил, как её зовут.

– Вы простите, но я так громко стучала, а никто не отвечал, – сказала она, внимательно оглядывая меня. Тревога мелькнула в её глазах. – Извините, вам сейчас, наверное, плохо? У вас такой вид!

– Я задремал немного и не слышал, как вы стучали, – сказал я.

В первый её приход я был вроде как неучтив с ней. Она ушла тогда обиженной, а может, мне это показалось. «И всё же зачем она пришла?» – недоумевал я, поглядывая на неё. Девушка села аккуратно на предложенный стул и заговорила:

– Я сегодня приехала с отцом в наш аал и услышала, что вы вернулись из Томска. Это мой родной город. Расскажите о нём.

Я усмехнулся.

– Город большой, конечно, шумный, суетливый. Я такие не люблю.

– Жаль, что он не понравился вам. А что сказали врачи? – полюбопытствовала она.

Я вкратце рассказал про своё общение с докторами, об их дельном совете. Свежий воздух и хорошее питание.

Девушка покраснела, словно я обидел её.

– Неправда, что вам так сказали. У нас в Томске отличные доктора. Их очень уважают, – сказала она возмущённо.

– Один очень уважаемый так рассказывал за столом о вашей знаменитости в хирургии, когда того стали расхваливать друзья: «Вы так умело делаете операции, словно родились с ножом в руке». На что тот ответил: «Пока я научился, заполнил полкладбища».

На этот раз возражений я не услышал. Девушка пошевелилась, видимо, собираясь уходить.

– Вы не обижайтесь на меня, – сказал я. – Просто съездил без толку в ваш город. Раньше хоть надежда была, а теперь одни неприятности. Мне говорят, что я вылечусь только в том случае, если стану шаманом. А я не хочу быть шаманом.

Девушка смотрела на меня расширенными от любопытства глазами. Её лицо так ясно выражало всё, что происходило у неё в голове, что мне вдруг показалось: если сейчас захочу, то без всяких усилий прочитаю её мысли. Стало как-то не по себе от этого ощущения. Чтобы отвлечься, продолжал, уже не глядя на неё:

– Не понимаю наших стариков. Кто-нибудь чужой придет, так они начинают ему вздор молоть: будто в нашей тайге живёт обезьяна, люди ездят на оленях и лосях, а про Лысую гору вообще говорят, что она была сначала далеко от реки, а теперь подошла к самому берегу. На меня вчера насели – предлагают учиться у кама. А чему я смогу у него научиться? Дурачить людей и из этого извлекать выгоду?

Я думал, что она засмеётся, но девушка вполне серьёзно ответила:

– Старики говорят правду про Лысую гору. Вода подмывает берег и к горе придвигается. Насчёт шаманов ты не прав. Мне в руки как-то попала книжка одного французского учёного. Так он описывает в ней целые чудеса и называет это гипнозом. Гипнотическим даром обладают колдуны, за что их раньше преследовали и сжигали. Сейчас, на пороге нового столетия, такого гонения нет, но молодёжь уже по-другому смотрит на всё это. Шорцам повезло, у них никто не преследовал шаманов. Наоборот, ценят и почитают их древнее искусство. Советую к нему отнестись серьёзно.

Я, конечно, о гипнозе читал и слышал, но глубоко не задумывался об этом. Потому точка зрения девушки на шаманов меня заинтриговала. Мне захотелось с ней обстоятельнее поговорить.

– Извините, – краснея, сказал я. – У меня из головы вылетело ваше имя.

– Могу ещё раз представиться. Люба!

– Не обижайтесь на меня, пожалуйста.

– Я не обижаюсь.

– Вы такие интересные вещи рассказываете. Неужели Кычай в самом деле обладает сверхъестественной гипнотической силой?

– В этом нет сомнения, – воскликнула Люба. – О нём я слышала много интересного. Один пожилой человек из Коряя рассказывал

мне. В прошлом году летом приехал сюда в гости к брату. Пошёл с ним на реку, искупались, потом стали собирать землянику на пригорке. Тут рассказчика и ужалила змея. Его брат не растерялся, повёл к Кычаю. Шаман что-то пошептал, потёр руками, опухоль и прошла, боль отпустила. Я думаю, что надо согласиться на учёбу у него. Сейчас тебе всё равно делать нечего, неужели намерен валяться в постели целыми днями?

Тут она заторопилась, сказав, что её отец скоро вернётся и ей надо приготовить ему обед.

Проводив Любу до дверей, я сел у окна и задумался. Поначалу она мне не понравилась, теперь же мнение о ней резко изменилось. Умная девчонка!

Я достал из шкафа тетрадь и записал разговор с ней.

Ещё три часа пробыл дома. Сил не было маяться от безделья. Наконец не выдержал. Выйдя на крылечко, прислонил коромысло к двери, что означало, что дома нет никого, и пошёл к Кычаю. И вот его просторный дом. Постучал по калитке, вышел сам хозяин. По его лицу не видно было, чтобы он удивился моему приходу. Мне даже показалось, что он знал, что я приду. Приветливо поздоровавшись, Кычай пригласил меня в большой и чистый двор, недалеко стояла самодельная лавочка. На неё мы и уселись.

– Хорошие дни стоят, весна в самом разгаре, – сказал Кычай.

– Работа тоже. Мои родители вкалывают, а я не знаю, чем занять себя, – вздохнул я.

– Работа не зверь, в лес не убежит, – махнул рукой Кычай. – Каждый год свой день рождения я провожу в безделии. Ну, а как у тебя с приступами?

– Несколько дней не было.

– Значит, какое-то потрясение перенёс.

– Не знаю. Сегодня утром видел жуткий сон. До сих пор как вспомню – мороз по коже идёт.

– Приступы будут ещё, – проговорил задумчиво Кычай.

Мы мирно беседовали о всяких мелочах. Калитка открылась как-то неожиданно, прервав наш разговор. В неё вошёл медленными шагами мужчина с перевязанным лицом. «Видимо, зуб болит», – решил сразу я,

Мужчина подошёл к нам и, показывая на опухшую щёку, плачущим голосом сказал:

– Не могу больше. Нет мне житья от зубов.

– А я при чём? – ответил Кычай. – Тебе надо к Филимонову. Он тебе поможет.

– Я три раза был у него, а он всё твердит: «Грей, грей щёку!» Я грею, а зуб всё равно болит, не могу больше, света белого не вижу.

Мужик вдруг лёг на землю перед Кычаем и стал кататься, приговаривая:

– Если не сможешь, то я сейчас же умру. Ой! Ой! Не могу терпеть! Кычай, избавь меня от мучений. Ты же всё можешь.

Тут Кычай встал и, обращаясь ко мне, сказал:

– Придётся заняться шарлатанством, надо же помочь человеку. Хоть он и кричит, что я бессердечный, но мне всё-таки жаль его!

Шаман знаком попросил меня освободить лавочку, после чего сказал мужику:

– Ложись, сейчас тебе будет лучше.

Мужчина подскочил с земли и растянулся на скамейке, стоны его были невыносимы. Кычай подошёл к нему, погладил больную щеку, потом велел ему сесть и снять повязку. Когда тот открыл рот, шаман со вздохом произнёс:

– Да, сильно простудил ты зуб. Наверное, когда сажал картошку, напился от души воды из родника?

Как ни странно, но мужчина успокоился, сидел теперь смирно, совершенно перестал стонать. Кычай тем временем сходил в дом, принёс в бутылочке пару чёрных пиявок, тут же велел больному открыть рот, иголкой проткнул десну и на неё посадил пиявку. То же самое он проделал со щекой. У скамейки поставил таз, потом положил мужчину на лавку так, что таз оказался под головой.

– Теперь смотри, родной, не проглоти мою красавицу.

– Не, – пробурчал в ответ больной.

Он лежал смирно. Кровь ручейком потекла в таз. Кычай снова пригласил меня сесть, при этом он говорил, что лечение пиявками совсем немодным стало, люди норовят всё больше лекарств глотать, а не понимают, что пиявки – это давно проверенное средство. Они сосут только испорченную кровь.

– Вот я тебе такой пример приведу. Ты знаешь, что возле улуса Анколь есть озеро Кишни. Так часто там рыбачат, карасей ловят дети и взрослые. Бывает, что стоят раздетые в воде. Так вот, одному пиявки облепят все ноги, а к другому ни одна не прицепится. Это потому, что у одного кровь здоровая, а у другого нет. Пиявки пьют только больную кровь. В народе ими лечат спокон веков.

– А как вы остановите кровь? – спросил я, глядя, как она капает в таз.

– Сейчас одна пиявка выкатится, – ответил он.

И правда, вскоре выкатилась толстая, пропитанная кровью пиявка из десны. Кычай на её место сразу же посадил другую. Первую же стал осторожно мять пальцами, чтобы та не пропала от переедания. Когда и вторая пиявка отпала, кровь остановилась.

– Она закупила ранку, – объяснил.

– Встать можно? – вдруг спросил больной. – Легче стало. Теперь мне надо работать, а то жена третий день одна с ребятишками на огороде пластается.

– Посиди немного, рот молоком прополощи, – шаман протянул крынку с молоком.

– Спасибо, спасибо! Но мне бежать надо.

– Не спеши, – увещевал Кычай, – лучше расскажи, как себя чувствовал. Больно пиявки сосали?

– Нет! Как лёг на лавочку, так и боль стала проходить. Вы меня извините, люди добрые, но мне надо идти, – взмолился мужчина.

Он встал и быстрыми шагами пошёл к калитке. Оказавшись на улице, бегом бросился в сторону тайги.

Кычай обратился ко мне:

– Видишь, человек идёт сюда за помощью. Он уверен в том, что я помогу ему, а как, ему безразлично. Лишь бы результат был. Поэтому кроме могучих камских слов надо знать народную медицину. Вот мой дед два года учился читать и писать. А ведь учиться он стал, когда ему перевалило за шестьдесят. Его учителем был ссыльный человек. Я тогда был мальчишкой, и всё удивлялся, зачем деду на старости лет грамота, а он сам учился и меня учил. И знаешь, как он потом объяснил мне свою причуду? Чем больше стареешь, тем хуже память. Голова как решето делается. Бумага же не стареет, всё помнит. Вот он и стал записывать всё, что знает. Эти записи попали ко мне по наследству, им теперь нет цены. В них он писал, как лечить ту или иную болезнь.

Пока он мне всё это рассказывал, у меня вдруг зачесался на языке вчерашний жуткий сон. Кычай, видимо, понял, что я хочу что-то сказать, прекратил свой рассказ и уставился вопросительно на меня.

Я рассказал ему про сон. «Было такое ощущение, что всё происходит наяву. Когда девушка исчезла, я ещё чувствовал запах огня и его жар...»

Лицо Кычая заметно повеселело, даже губы улыбнулись. Он сказал:

– Я видел такие сны. Вообще, мы и не то можем увидеть. Шаманы – ненормальные люди. Нормальные не могут быть шаманами, особенно если у них нет физических или умственных отклонений в привычной жизни.

– И в чём эти отклонения? – спросил я.

– Человек переболел чем-то, какой-то его орган начал неправильно работать, особенно это касается головы.

– Значит, и у меня есть какое-то отклонение?

– Конечно, есть.

– А как вы стали шаманом?

– Мой дед был шаманом, – сказал Кычай. – Прадед тоже был маленько шаманом, но лечил он в основном травами. Дед научился у него тоже лечить травами, но, кроме того, он ещё имел странный дар – мог читать чужие мысли и видеть далеко. Он-то и посовето-

вал мне, как избавиться от головной боли, такой же, как у тебя. Я брал кожаные рукавицы и стал упражняться потихоньку – в ладоши бить. Ритм успокаивал меня, про себя же говорил, что чувствую себя хорошо. Во время невыносимой боли я чувствовал в себе такую силу, что казалось, могу избу с места сдвинуть даже не руками, а взглядом. Потом потянуло шаманить, заклинания я уже знал от деда.

– Интересные вещи вы рассказываете, но возможно ли такое? Что-то не верится, – вздохнул я.

И правда, когда я его слушал, то воспринимал всё, что он говорит, как сказку.

– Если вы знали всё про мою болезнь, то почему посоветовали мне ехать к томским врачам? – спросил я.

– Дело в том, что парень ты грамотный и, кроме Бога, никому не веришь. Деньги у твоих родителей есть. Почему бы тебе не попробовать все средства, для тебя ведь камы – обманщики. Помнишь, когда я появился у вас первый раз, как ты смотрел на меня? А я ведь твои мысли, как в открытой книге, прочитал. Поэтому сразу же понял, что никакие уговоры тебе не помогут. Ты думал о поездке, а я только высказал твои мысли вслух, заранее зная, что толку никакого от встречи с томскими светилами не будет. Никто тебе не поможет, ты можешь выручить себя только сам. Теперь и ты об этом знаешь, не так ли?

– Но ведь такого не может быть! – как попугай, твердил я.

– Может, и ещё как может. Никто, кроме Господа, не знает тайны души человеческой. О своём даре ты будешь постепенно узнавать, и не пугайся этого. Сон свой кому-нибудь рассказывал?

– Только заикнулся знакомой, что видел дурной сон, и всё.

– Вот и ладно! – обрадовался Кычай. – Про такие сновидения надо молчать даже в церкви, потому что там хоть и служат люди Божьи, но и у них бывают пороки, злоба. Таких людей, как ты и я, раньше они уничтожали, да и сейчас ещё не благоволят к нам.

Погладив свою правую щёку, он посмотрел задумчивыми глазами и продолжал:

– Ты внимательно смотрел, как я лечил. Применил ли я что-нибудь шаманское или вылечил только пиявками?

– По-моему, что-то применил, – сказал я, – когда вы провели ему по щеке, то он перестал стонать.

– Молодец! – похвалил меня Кычай. – Наблюдательный ты. Я убрал ему боль рукой.

– Как же мне избавиться от приступов?

– Бери кожаные рукавицы и стучи, как я стучал в молодости.

– А если я этого не буду делать?

– Приступы возобновятся.

Придя домой, я задумался: что же мне написать о шамане? Я

ему верил и не верил. Поэтому в новой тетради я не сделал ни одной записи.

Вечером, уладив свои дела, в мою комнату вошла ича. потом отец. Ича сразу спросила:

– Как себя чувствуешь?

– Неплохо.

– К Кычаю ходил?

– Ходил. Человек он вроде неплохой, лечит.

И рассказал родителям про мужика с больным зубом.

– Знаешь, сынок! – сказала ича. – Кычай – мужик особенный, к нему многие приходили просить, чтобы он взял их в ученики, он всех выпроводил, а с тобой ладить хочет, не иначе.

Отец, стоявший рядом с ней, заговорил:

– Кычай, когда лечит, рядом никого не терпит. Говорят, что даже свою семью отправляет к родителям или к родственникам. Правда, с одним больным он разговаривал при всех, это был кто-то из Евдеков. Шаман глядел, потом говорит: «Посмотри на свои глаза, они, как зеркало, чисты, по ним видно, как ровно бьётся твоё сердце. Поэтому иди на покос и работай до пота, твоё тело нальётся силой жизни, про болячки забудешь».

Евдека я видел потом на покосе. Как он копнил сено! Вся спина была мокрая от пота. Станный человек Кычай. Перед ним все трепещут...

Тут опять вмешалась ича:

– Ты, сынок, уж постарайся узнать, как вылечиться тебе. Мы не постоим за ценой.

– Я спрашивал об этом.

– Что он тебе посоветовал?

– Ничего особенного. Надо взять в руки кожаные рукавицы и, не надевая их, бить в ладоши, приговаривая про себя, что приступа нет и не будет. Словом, ерунда какая-то, не хочется этим заниматься. Лучше бы на покос меня взяли.

– Что ты, сынок! – чуть не закричала ича. – Ты лечись у Кычая, а с работами сами управимся. Не управимся – наймём людей. Слава Богу, не бедно живём. Главное, чтобы ты был здоров.

В течение двух дней, когда родители уходили по делам из дома, я брал рукавицы, которые после нашего разговора тут же сшила Настя, и бил в ладоши. Понемногу мне даже стало нравиться заниматься этим делом.

Так и протекали мои дни, похожие один на другой. Прошло недели две, приступа не было, поэтому я решил сходить ещё раз к Кычаю. Была мысль поблагодарить его.

Кычай сидел на лавочке возле дома, мастерил из берёзы туесок. При виде меня лицо его просияло, и я вдруг отчётливо почувствовал, что он рад меня видеть. Не успели мы с ним перебросить-

ся парой слов, как к нам подошла тётка Окаша с сыном лет пяти.

«Опять больного привели, – недовольно подумал я. – Поговорить не дают». Но странно: тётка Окаша весело поздоровалась с нами. Мальчик выглядел тоже здоровым. Всё время баловался, бегая рядом с матерью.

Кычай встал, спокойно подошёл к умывальнику, вымыл руки. Умывальник находился тут же во дворе. Вернувшись к нам, внимательно посмотрел на ребёнка и сказал:

– Мальчик пусть здесь побегает, а ты, Окаша, сходи за дочкой. Хочу посмотреть на неё.

Женщина тут же ушла. Кычай, повернувшись ко мне, спросил:

– Мужа её знаешь?

– Немного, запивочный человек.

– А внешность помнишь?

– Глаза очень узкие, нос плоский, придавленный, лоб маленький, в общем, уродистый какой-то. И как она только за него замуж пошла?

– А её никто и не спрашивал. Родители отдали, и весь разговор. А теперь посмотри на его малюго. Видишь, он копия отца, чисто обезьянка.

– Ну и что из этого? От бобра родится бобрёнок, – улыбнулся я.

– А вот и его дочка! – глядя на калитку, проговорил Кычай.

Во двор входила женщина с хорошенькой девочкой лет десяти, у которой были удивительно правильные черты лица. Да, её рядом не поставишь с братиком.

Девочка, увидев нас, приветливо улыбнулась, смело подошла к Кычаю и крутанулась перед ним, показывая себя со всех сторон.

Подозвав к себе мальчика, Кычай поставил его рядом с сестрой.

– А я буду красивым, как она? – спросил мальчик.

– Будешь, будешь, – ответил Кычай. – А сейчас постой смирно.

Двумя пальцами Кычай взял за нос ребёнка и стал медленными движениями проминать его.

– Пусть поуже будет твой носик, а то раскинулся широкогато, – приговаривал он при этом. Малыш послушно стоял. Закончив с носом, Кычай стал внимательно рассматривать его глаза, помял скулы немного.

– На сегодня всё. Можете идти, – наконец сказал он.

– Я класивым стану? – спросил теперь у матери мальчик.

– Конечно, сынок!

Взяла за руку дочь и сына, и они вышли за ворота, попрощавшись перед этим с нами.

Я сидел, ничего не понимая. Неужели можно изменить внешность человека?

– Тебе, конечно, странно видеть такое, – начал объяснять Кычай. – Но я действительно правлю головы детям. Бывает, что и

лица. Откровенно скажу, трудно это, и длится иногда годами. Поэтому делать приходится с перерывами. Кости детей мягкие, как тесто. Начинать править надо, когда они ещё не окрепли, делать это осторожно и не спеша. Главное тут – знать точки, на которые надо нажимать. Чуть неправильно нажмёшь, беда будет: искривить легко, а исправить трудно. Девочка Окаши родилась на редкость уродливой. Даже шея голову не держала. Нижняя челюсть была растопырена, как рогатка. С ней я уже пять лет вожусь, а сейчас не узнать, правда?

– Правда, но если бы мне раньше об этом кто-нибудь рассказал, не поверил бы. Это же просто диво какое-то, – с восхищением произнёс я. – Вы не шаман, вы – настоящий колдун из сказки.

Кычай с улыбкой посмотрел на меня и спросил:

– Родимый, а ты никогда не задумывался о том, почему ты такой красавец? Отец с матерью и сёстрами не похожи на тебя.

– Думал и спрашивал родителей. Они мне говорили, что я похож на моего деда.

– Два года тебе было, когда ты неизвестно как забрался на крышу амбара и свалился оттуда. Расшибся ты сильно. И голову, и лицо покалечил. Вот мой дед и взялся тебя лечить, а заодно и править. Очень хорошо он правил глаза, вот они у тебя получились отменные – большие, открытые. И волос он тебе изменил, настоем из кедровых орехов более мягким сделал.

– Вы их знаете, эти настои?

– Нет, но в его книгах много всяких рецептов записано. Может, и есть рецепт для волос.

В эту встречу я узнал от шамана много такого, о чём раньше не подозревал даже. Дома родители рассказали мне, что меня в детстве правил дед Кычай. В ту ночь я не мог уснуть. Всё думал о том, что узнал и увидел.

Вот уже полтора месяца прошло, как я каждое утро стучу в ладоши и говорю себе, что приступа у меня нет и не будет. А приступов действительно нет всё это время. Полтора месяца одно и то же. Мне стало надоедать хлопать руками, появились мыслишки, зачем мне всё это надо, одна морока с этими рукавицами, когда болезни нет. Я бросил свою тренировку. Два раза ходил с родителями на покос и вообще старался побольше помогать старикам. Но в субботу, когда отец собрался съездить в церковь, у меня повторился приступ. На этот раз он прошёл очень тяжело. Утром следующего дня я еле поднялся с постели, голова раскалывалась на части, и когда посмотрел на себя в зеркало, стало совсем нехорошо на душе. Лицо осунулось, побледнело. Я вздохнул и сказал сам себе:

– Неужели, кроме как бить в ладоши, нет больше никакого лекарства?

Послonyaвшись по комнате, решил опять сходить к Кычаю. Тем

более, что давно у него не был. Но на этот раз не повезло: Кычай отсутствовал. Жена его, малоразговорчивая женщина, удивительно тихо сказала:

– Кычай уехал ещё на рассвете куда-то, но обещал быстро вернуться.

Я решил подождать хозяина. Сел на лавочку и стал раздумывать о том, что сказать ему. Не прошло и получаса, как приехал Кычай. Он поздоровался со мной:

– Ну что, родимый, опять приступ был? Неужели ты ленишься себе говорить, что приступа у тебя нет. Вед этим ты избавляешь себя от болезни. Или тебе стало трудно делать однообразные движения? Движения – это не самое главное, главное – слово и вера в то слово, которое ты произносишь. Самовнушение не есть горькое лекарство, которое надо пить, но по силе не уступает ему.

Я внимательно слушал шамана, его слова мне казались правдивыми и сильными.

– Мне хотелось бы, чтобы ты крепко понял меня, Шаран, – продолжал Кычай. – Слово – это жизнь и смерть человека. Недаром в народе говорят, что слова и металл плавят, не то скажешь – и погиб человек, а обнадёжишь – жизнь продлишь. Хочешь быть здоровым, продолжай исцелять себя словом.

– Хорошо! – согласился я. – А куда вы так рано ходили?

– Проснулся рано, ещё темно было на дворе, а проснулся... потому что вспомнил: на днях соседка родила близнецов, мальчика и девочку. Живёт она тут недалеко. Это жена Макея. Ребятки родились крепкими и здоровыми. Мысли о них и подняли меня. И ты знаешь, что я сделал?

– Догадываюсь, встали и пошли к ним, да?

– Да, я пошёл к ним, но мысленно оставаясь на самом деле в постели. Прошёлся по улице, потом заглянул к ним в дом, у них хозяйка уже затопляла печь... А Макей спал, только храп раздавался. Женщина, затопив печь, пошла к деткам, они тоже проснулись. Видимо, есть захотели. Она взяла и покормила мальчика, положила его в люльку и занялась домашними делами. Девочка заливалась, криком исходила, а мать – никакого внимания на неё. Правда, чтобы ребёнок не мешал спать мужу, она на него подушку набросила. Вот это и подняло меня рано с постели.

– А разве можно ходить мысленно и даже видеть?

– Можно! И ты сможешь, но пока хочешь, не даёшь сам себе раскрыться. На чём я остановился?

– Что не вытерпели, встали и сами пошли туда.

– Правильно, пришёл, разбудил хозяина и стал ругаться на него и его жену. Почему грех на душу взять решили? Почему девочку не кормите?! Сейчас же накормите и вымойте при мне. И предупредил, что если они заморят её голодом, то я такое напущу, что года-

ми будут мучиться. И не слушайте, что двойняшки – это грех. Я вам Библию привезу и прочитаю, что и там двойняшки не считались грехом. Родились, значит, так Богу угодно. Бог даёт, Бог и берёт, но не вам распоряжаться судьбами детей.

– Почему же говорят в народе: двойня – это плохо? – спросил я.

– Какая-то дурная башка сказала, что будто при зачатии близнецов вмешивается нечистая сила. Во всём Кузнецке не найдёшь ни одного близнеца. Таких детей или сразу обоих умертвляют, обычно голодом, или одного, но потом почему-то и второй гибнет. Вот я и съездил в соседний аал за попом. Он там гостил у родственника. Попросил его, чтоб поговорил с родителями близнецов, объяснил им, что это такие же нормальные дети. Поп умный попался, сразу же согласился приехать. Вот я и привёз его к Макею. Теперь будет всё в порядке.

Слушая его, я сам тем временем раздумывал о мысленном перемещении. Я знаю, что Кычай никогда никому не сказал неправды, и всё же в моей голове не укладывалось, как можно мысленно разгуливать.

– А может, это ваша шутка?

– Понимаю! – ответил вдруг Кычай. – Тебя волнует моё умение ходить мысленно. Ещё дед мой учил меня это делать. Бывало, ляжешь, закроешь глаза и начинаешь мысленно идти по улице, иногда заходишь в дом. При этом можешь даже внушить хозяевам, что захочешь. Я родился с таким даром, а дед помог развить его.

– А я могу этому научиться?

– Конечно, и даже нужно. Но сперва надо научиться переносить свою мысль сначала на правую, потом на левую руку.

Кычай заставил меня проделать это тут же. Только с третьего раза получилось, но медленно. При этом он прочитал мне прямо-таки лекцию, как можно управлять своими мыслями. Это было очень интересно.

Обучение прервала забежавшая женщина средних лет, с испуганным лицом, со слезами на глазах. Она сказала, что на пасеке медведь до полусмерти задрал её мужа. Братья несут его сюда.

– Так его надо к фельдшеру, – проговорил я.

– Сынок, что ты говоришь, какой фельдшер? Если Кычай не поможет, то уже никто не поможет.

Тут в калитку с ношей вошли четверо мужчин. Они бережно опустили лежащего на шабуре мужчину лет сорока с виду. Лицо его было искажено от боли, глаза лихорадочно блестели, судорожно дёргались, в пол-ладони свисало мясо с предплечья.

Кычай наклонился и стал осматривать больного. Потом повернулся к женщине и сказал:

– Нужно молоко молодой коровы, и быстро.

Мужчинам велел положить раненого на широкую скамейку,

которая стояла у амбара. Сам вынес блюдечко, ножницы и тут же попросил обстричь у раненого ногти на ногах и на руках в блюде, потом ещё раз сходил в дом, вынес стакан арачка и, что-то шепча, подал раненому выпить, тот выпил, и ему вроде как получше сделалось. После этого шаман взял ногти и стал их крошить очень мелко, потом принёс ступку, растолок крошки, смешал с мукой.

В это время пришла женщина и принесла молока.

Мужчина лежал спокойно. Спросив у женщины, то ли молоко принесла, и убедившись, что то, Кычай смочил в нём заранее приготовленную тряпочку, отжал её и насыпал сверху мучную смесь. Отвисшим куском плоти закрыл рану, крепко прижал её рукой. Поддержав так немного, перевязал платком. Покончив с предплечьем, стал ощупывать грудь раненого. Делал он это красиво. Раз большой застонал, а в другой – закричал.

– Тут нужен костоправ, – задумчиво произнёс шаман. – Два ребра сломаны, и позвоночник сместился.

– Родимый, помоги! Ничего не пожалеем, – бросилась в ноги женщина.

– Не кричи, мешаешь думать, – одёрнул её Кычай. Та сразу замолчала.

Шаман вдруг повернулся ко мне:

– Шаран, ты должен мне помочь!

– Да, но... я ничего не умею, – испуганно произнёс я.

Взяв меня за плечо, он отвёл меня подальше от людей и там сказал:

– Я тебя только что учил перемещать свои мысли, а теперь тебе надо сосредоточиться на мысли о том, чтобы этот человек не чувствовал боль. Собери себя комком, смотри на него и думай, что он не чувствует боли, что бы я ни делал. Если ты сейчас не настроишься, я начну править ему спину, он может умереть.

– У меня не получится, – начал я, но он меня перебил:

– Если бы я не знал твоих возможностей, то никогда бы не предложил тебе такое.

Видимо, на меня подействовал его пронзительный взгляд, потому что я, взглянув на мужчину, потом на женщину, которая смотрела на нас с испугом и надеждой, вдруг наперекор себе сказал:

– Хорошо, я попробую!

– Пробовать ты будешь что-нибудь другое, а тут ты должен помочь. Понимаешь, боли не должно быть.

Он развернулся и пошёл к людям. Мужчинам сказал, чтоб те взяли лавочку с раненым и отнесли в баню. Они понесли его, а мы пошли следом. В бане, поставив посередине лавочку с мужчиной, они вышли по знаку шамана. Мы остались втроём. Мне было не по себе, а если честно, то страх сидел прочно в душе. Пока мы шли, я мысленно прочитал сразу три молитвы.

С Кычаем осторожно перевернули больного на спину.

– Теперь думай о том, что ему не больно, что ему хорошо, можешь даже произносить это вслух.

И я стал думать, что ему хорошо, что ему очень хорошо, а сам почему-то обливался потом при этом. Между тем Кычай изо всей силы мял тело мужчины. У него тоже от напряжения струился по лбу пот. Мне казалось, что эта процедура длится очень долго, но потом выяснилось, что продолжалась она всего около часа. Наконец шаман приложил к раненому дощечки, обвязал его, как куклу. Удивительно, что мужчина всё это время молчал.

– Как чувствуешь себя? – спросил его Кычай.

– У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность, – проговорил раненый. – Должник я ваш по гроб жизни.

– Больно было?

– Совсем нет.

Мы вышли из бани, на крыльце сидели доставившие пострадавшего мужчины и женщина. При виде нас они встали и с тревогой посмотрели на Кычая, ждали, что он скажет.

– Всё, можете забирать.

Все кинулись в баню. Немного погодя они вынесли Мукая. Тот улыбался, а женщина, шедшая рядом, плакала. Когда все ушли, шаман спросил меня:

– А что ты чувствуешь?

– Такое состояние, словно внутри меня что-то происходит.

– Такое состояние скоро пройдёт.

– Знаете, хочу быть вашим учеником и познать свои возможности.

– Хорошо, с этого дня ты – мой ученик, но предупреждаю: чему научишься, что узнаешь от меня, на люди не выносить и родителей не посвящать.

Вторую неделю я каждый день бываю у Кычая. Много за это время узнал полезного и интересного. Иногда мы ходим в лес, собираем травы. Про них шаман рассказывает столько, что хоть книгу пиши. У каждой травки своя история, своя легенда. Кычай показал мне, как готовить настои и как пользоваться ими. Оказалось, что и в наших окрестностях есть ядовитые растения, а с ними надо вообще вести себя осторожно. Весь чердак его дома увешан пучками трав, а готовил лекарства из них он в бане, завязывая себе рот платком.

Часто к нему приходили люди с просьбой найти исчезнувшую в тайге корову или другую живность. Он и правда находил, не покидая дома. Однако вид у него весьма измученный.

– Старее, – говорил он.

Однажды, в начале третьей недели моей учёбы, его срочно вы-

звали ночью в соседнюю деревню к больному. В тот день утром я помогал родителям по дому, после на пасеке, вечером возвращался с одной мыслью: скорей бы добраться до постели. Возле своего дома я увидел небольшую толпу. «Наверное, что-то случилось», – подумал я.

И правда, как только люди заметили меня, кинулись навстречу. Перебивая друг друга, они стали говорить. Из их сбивчивых речей я понял, что потерялись дети, ушедшие в тайгу за ягодой. Я почувствовал. Но одна из женщин вдруг заплакала и стала умолять меня найти детей.

– Кычая нет, и никто не знает, когда он будет, а ты его ученик, значит, можешь нам помочь!

Я рад был помочь, но не знал, как это делать, поэтому стал отказываться. Своим криком они оглушили меня. Я хотел выехать из кольца, тем более, что моя лошадь уже испугалась, но толпа не отпускала меня. В конце концов, не выдержав крика, я громко сказал:

– Замолчите! Дайте подумать!

Вмиг стало тихо. Все замерли, уставившись на меня. А я пытался вспомнить, что делал в таких случаях Кычай. Подумав, сказал:

– Принесите одежду детей!

Пока кто-то бегал за одеждой, я слез с лошади и увёл её в конюшню. Принесли одежду, и я ушёл с ней в дом. В комнате, положив одежду на стол, сел рядом и стал смотреть на неё. Старался при этом представить ребёнка. И тут со мной произошло невероятное: я сам вдруг оказался в тайге и отчётливо увидел измученных ребят на заросшей тропинке, ещё немного – и вот они уже оказались около заброшенной охотничьей избушки. Дети обрадовались и кинулись туда...

Я очнулся и увидел себя сидящим за столом. Сам себе не веря, вышел на крыльцо и сказал людям, где дети. Отдав одежду родителям, вернулся в свою комнату. Болела голова и было не по себе: а вдруг ошибся? Хотелось спать. Я сказал отцу, который возился с лошадью:

– Когда привезут детей, разбуди.

На рассвете отец разбудил меня, сказав, что дети уже дома.

– А где их нашли?

– Как где? Там, где ты сказал.

– Вот и хорошо, – произнёс я. С моей души словно свалился камень. Ведь я сам себе не верил.

Второй раз меня разбудила Люба. Сначала сквозь сон я услышал стук каблуков и почувствовал, что это должна быть Люба. Ей открыла дверь моя сестра. Скоро раздался её голос:

– Шаран, вставай! К тебе пришли.

Когда я вышел в прихожую, там стояла заплаканная Люба.

– Вот упала неловко и всю ночь не спала, очень болит рука.

Я подошёл к ней, осторожно взял её за больную руку. И тут меня обожгла резкая боль, эта боль резанула сначала мои пальцы, а потом всю руку. Я тотчас отдернул её.

– Шаран, когда ты взял меня за руку, она перестала болеть.

Я опять дотронулся до её руки, и снова боль резанула меня.

– У тебя перелом. Видишь, твоя рука как посинела? Надо идти к Филимонову.

– Боюсь, что будет совсем больно, – заплакала девушка.

– Не бойся, я пойду с тобой и помогу тебе, – успокоил я Любу.

Мы застали Филимонова дома. Увидев нас, он весело произнёс:

– О-о, какие лица нас посетили. Проходите, не стесняйтесь.

Мы прошли.

– С чем пожаловали?

– У девушки перелом руки, – ответил я.

– А ты, будущий кам, не можешь сам такой пустяк сделать? – немного ехидно проговорил фельдшер.

– Пока не могу.

– А потом ты меня куска хлеба лишишь, – произнёс он и взялся осматривать руку. Да, кость надо на место ставить. Тебе придётся поддержать девушку. Ей будет чуть-чуть больно.

– Она выдержит.

У Любы лицо помертвело от страха, капли пота покрыли её чистый лоб. Глядя на неё, я стал думать, что она девушка сильная и всё выдержит, что ей не будет больно. Для уверенности я даже положил ей на плечо ладонь. Филимонов крепко взял её за руку и сильным движением дёрнул. Люба дёрнулась, но даже не вскрикнула. Фельдшер сделал тугую повязку, положив под марлю что-то твёрдое.

– Ну дела, вот так девка! Я думал, что она будет в обмороке валяться, а она даже не пикнула.

– А мне совсем не больно было, – улыбнулась девушка.

– Такого не может быть! Хотя, наверное, может. Ведь рядом был кам, а они ещё не такие шутки проделывают. Знаю я их.

Филимонов нравился мне своей непосредственностью, но, с другой стороны, мне было жаль его. Выпивающий одинокий человек, называющий себя миссионером, всю жизнь проживший среди чужого народа.

На прощанье он дал мне книги по медицине и пригласил ещё заходить к нему в гости.

Домой я пришёл не скоро. Проводив Любу, решил искупаться. Весь я был какой-то возбуждённый. Это состояние накатило на меня внезапно и теперь никак не проходило. Стояла жара, солнце, похоже, решило всё испепелить. Выйдя на берег, я разделся, прыгнул в воду, поплавал и выбрался на песок. В воде у берега беззаботно играли дети. Вдруг меня словно толкнул кто-то. Неосознан-

ная тревога забила в меня. Я резко обернулся к реке, мой взгляд сразу же выхватил две чёрные головки. В переливающихся волнах они то появлялись, то скрывались. Я бросился к ребятишкам, схватил их, вытащил из воды. Они так вцепились в меня, что и на берегу я не мог сразу их оторвать, пришлось применить силу. Хотел отругать их, но, глянув на их испуганные лица, не стал этого делать. Позвал ребят постарше и с ними отправил проказников домой, а сам остался на берегу. Тоска вновь охватила меня. Появилось желание взять камус и запеть. Спеть о том, что всё время меня мучает...

«Зачем Ты, давший мне жизнь, в расцвете сил наказал меня неизвестным даром, лишив меня радости, молодости?»

Я, веровавший в Тебя, вдруг стал Тебе не нужен? Почему нас, камов, считают изгоями или посланниками дьявола? Мы ведь делаем добро людям...»

Я долго пробыл на берегу, домой возвращаться не хотелось, но идти надо было. Родители, наверное, уже беспокоиться стали...

Дни проходили за днями, а Кычая всё не было. За это время я многое постиг, занимаясь собою, порой загадывал, казалось бы, невероятное для своих возможностей. Но я жаждал, чтобы оно исполнилось, и оно исполнялось. Иногда мне становилось страшно от того, что я могу. Страх охватывал всё моё нутро, мне хотелось бежать куда-то, кричать, кататься по полу, но, собрав всю свою волю в комок, я заставлял себя тогда чем-нибудь заняться. И это помогало...

Вечерами я садился к окошку с книгой в руках и погружался в мир Достоевского, Гончарова, Толстого. За чтением забывались все дневные хлопоты, неурядицы. Раз ходил на вечерку. Раньше бывал там часто, а в это лето пошёл первый раз. Молодёжь собиралась на окраине аала. Кто-нибудь играл на камусе, девушки водили хороводы, иногда молодой кайчи развлекал всех песней. Всё было, как раньше, но отношение ко мне изменилось. Встретили меня ребята и девушки с настороженностью, словно к ним подошёл не их ровесник, а старик, который собирается помешать им веселиться. Одна Люба обрадовалась, увидев меня. Она сама подошла ко мне и сказала по-шорски:

– Эзен, Шаран, я очень рада, что ты пришёл к нам, а то сидишь дома, как аба в берлоге.

– О, а ты, оказывается, говоришь на нашем языке! – удивился я.

– А как же, – засмеялась девушка. – Поездишь с моё по вашим аалам, научишься.

– Как твоя рука?

– Совсем не болит, Филимонов смотрел, говорит, как на кошке, заживает.

Разговаривая, мы отошли от молодёжи к реке. Долго стояли на берегу Мрассу, любуясь её водами.

Проводив Любу домой, я сел на своё крылечко. Было светло на душе, ни о чём не хотелось думать.

Следующее утро было тёплое, радостное. Родители уже уехали на покос. Я быстро позавтракал, оседлал коня и помчался туда, где вовсю кипела работа. При виде меня отец обрадовался, хоть и не подал вида, сунул мне в руки литовку: – Вон то поле коси.

Сначала я работал с удовольствием, но стал выдыхаться. А тут ещё жара невыносимая. Вспомнил о том, что неподалёку есть родник со вкусной водой. При мысли о воде меня обдало внутри жаром, да так, что я остановился. Везде работали люди. Недалеко от меня косила Настя. Рубашка её была мокрой на спине. Мне стало стыдно за мою задержку. Я снова взялся за литовку, но мысль о воде не оставляла меня. Наконец я не выдержал и пошёл к родничку, окружённому деревьями. Тут было прохладно. Звеня колокольчиком, бил небольшой серебряный фонтанчик. Нагнувшись к нему, почерпнул ладонью переливчатую воду и поднёс ко рту. Пил небольшими глотками, и жажда постепенно убывала.

Да... жара расслабляет.

Напившись, сел рядом с ручейком. Почему я так быстро стал уставать? Голова была тяжёлой, глаза сами закрывались. Мягкая трава приняла моё тело. Проснулся от звука голосов. Неподалёку сидели родители с соседями. Они обедали.

Раскинув руки, я стал разглядывать небо. Оно было удивительно красивым, бесконечным. И в какой-то миг меня словно накрыло чем-то. Всё оставалось по-прежнему, но что-то резко изменилось. Сначала было ощущение, что меня кто-то пристально рассматривает. От этого стало не по себе. И ещё было такое чувство, будто меня чем-то придавили тяжёлым сверху. Длилось это одно мгновение, а может, и больше, точно трудно сказать, потом тяжесть исчезла, словно кто-то слез с меня. И мне даже показалось, что какая-то тень прошла надо мной. Я сел, посмотрел по сторонам, ничего особенного не заметил. Ича, увидев меня сидящим, крикнула, чтобы я шёл к ним обедать. Только хотел встать, как на меня опять что-то навалилось. В голове появился шум, внутренние органы словно сжались пружиной. И сквозь это состояние я почувствовал всем нутром приказ оставаться на месте. Мне стало жутко... тут резкий ветер обдал моё лицо и опять всё стало естественным. Прочитав молитву, я встал.

Надо же такому быть. Правду говорит Кычай, что следует просто привыкнуть и не обращать внимания на все эти штучки, а так недолго и с ума сойти.

Ноги еле держали меня, но, чтобы не волновать родителей, пошёл к ним.

– Ты что такой бледный. Опять приступ был? – заволновалась ича.

– Не волнуйся, ича, просто отвык так долго находиться на солнце, вот и сморило.

– Ты скоро купеческой барышней станешь, – со смехом сказала соседка.

Я покраснел. Мне и вправду было неудобно перед всеми. За меня ответила Настя. Началась небольшая перепалка между женщинами. Её прекратили мужчины, объявив, что пора браться за работу. Работали до вечера, домой отправились, когда солнце уже собралось уходить за горы.

– Вы идите, а я переночую в шалаше, – сказал я.

Ича всплеснула руками, стала отговаривать меня от этой затеи. Кое-как уговорил родителей оставить меня на покосе, но тут вмешалась Настя, заявив, что она тоже хочет остаться со мной. Еле упробил её не делать этого.

Солнце скрылось отдыхать, постепенно наступала ночная темнота. Я развёл костёр. Долго сидел, раздумывая над тем, что же опять произошло со мной. Поняв, что во всём виновата моя болезнь, решил долго не засиживаться, а идти спать.

Комары тучей кружили вокруг, они готовы были сожрать моё тело, но мешал огонь.

Только собрался уходить в шалаш, как поднялся ветер. Деревья резко закачались, зашумели. «Ещё один порыв ветра – и разнесёт мой костёр», – подумал я и стал тушить его.

И в этот самый момент вдруг увидел, как на выкошенную поляну опускается шляпа грибка, только размеров невероятных и с каким-то особым свечением изнутри. Кажется, волосы зашевелились на моей голове. «Надо бежать», – первое, о чём я подумал. Но ноги словно приросли к месту. «Не надо бояться. Это неправда, это мираж больной психики», – уговаривал я сам себя.

Постепенно я взял себя в руки. Мне даже стало интересно: а что будет дальше? Не касаясь земли, гриб повис в воздухе, не произведя никаких звуков. Немного погодя что-то изменилось у него внизу. Появился небольшой огонёк, словно подсвечивал что-то. Меня в это время обдало чем-то приятным, стало удивительно хорошо и спокойно.

– Как себя чувствуешь? – раздалось у меня в голове.

– Хорошо, – ответил я.

– Чего бы ты хотел?

– Ничего.

– Ты удивлён нам?

– Не знаю.

– Хочешь с нами?

– Нет.

Уснул я, когда стало светать, и мне показалось, что я лечу куда-то. Разбудили меня родители.

- Ты что, всю ночь работал? Никак не можем разбудить тебя. Я сел, ничего не понимая.
- Вы что ругаетесь, отец?
- Уже обед, а ты всё спишь, мать пугаешь.
- Извини, но голова моя что-то туго соображает.
- Может, приступ был?
- Не знаю, не помню.
- Ладно, лежи, пойду мать успокою, а вечером зайди к Кычаю, он приехал, сказал, что хочет тебя видеть...

Опять полетели дни, занятые лечением людей. Кычаю я рассказал про то, что произошло на покосе. Он пожал плечами:

- Твоя болезнь странно проявляется.

Я объяснил ему, что был утром на том месте, где висело это. Земля там оказалась сильно горячее. Но он ничего не ответил мне.

Люба уехала с отцом домой, иногда присылала мне письма. Читал я их с удовольствием, потому что написаны они были с юмором, и вообще она умница и неплоха собой. Но если я думал о ней, то только как о товарище и не больше. И отвечал на письма тоже как товарищ.

Все мои вечера были заняты изучением анатомии человека, я настойчиво штудировал книги Филимонова, а если что не понимал, то шёл к нему и спрашивал, не стесняясь. На этой почве мы и подружились.

Однажды, пьяненький, он сказал мне:

– Ох, Шаран, или ты сгоришь быстро, или великим камом станешь. Если камом станешь, то мне приятно будет, что к тебе я тоже руку приложил. А если сгоришь, жаль будет, что зря учил. Больно большая нагрузка на твои плечи ложится. Организм твой молодой, сломаться может.

Он так искренне сказал это, что мне стало неловко от его слов.

Лето уходило, на смену ему шла осень, покрывая красным золотом деревья, холодя воду. Наступал месяц урожая, жатв. Вечером как-то, укладываясь спать, подумал: «Утром надо встать пораньше».

И в голове стали мельтешить дела, которые скопились на завтра. Лёжа в постели, какое-то время не мог уснуть, поэтому, поворочавшись с боку на бок, я приказал себе спать. Уснул сразу, но спал недолго, проснулся от шума. Прислушался. В прихожей раздавался злой мужской голос:

– Ты что думаешь, я проехал столько километров для того, чтобы с тобой только потолковать?

«Говорит по-русски, – подумал я. – Отец, наверное, плохо понимает гостя. Да, и говор его странноват».

Но вставать мне не хотелось.

– Ночь на дворе, а ты шумишь! – раздавался голос отца.

– Не было бы беды, не шлялся по ночам, сидел бы дома. Мне колдун нужен. Мне сказали, что живёт он здесь.

– Отправляйтесь на заезжий двор, а завтра приходите. Утро не ночь, всё покажет в своём свете, а сейчас поздно, – говорил отец.

Послушав ещё немного, я отвернулся к стене и уснул, так и не узнав, чем закончилась перепалка.

Утром меня разбудил нудный собачий лай во дворе. Я застал хлопочущую возле печи на кухне ичу с Настей, отца не было. Поговорив с ними о том о сём, мельком заикнулся о ночном госте.

– Настырный и скандальный мужик, приехал лечить дочь. Правда, её я не видела. Она в повозке осталась. А сегодня мужик снова пришёл. Отец объяснил ему, что ты молод и ходишь в учениках у шамана, а ему надо к Кычаю обратиться. Как увёл его, так до сих пор нет, – сказала ича.

После завтрака я помог Насте управиться со скотиной. В это время явился отец. Хлопнул калиткой, сел на крыльцо и тут же свернул сигарку. «Сильно расстроенный», – решил я, глядя, как он дымит. Я подошёл к нему и сел рядом.

– Что, плохи дела?

– Понимаешь, странная эта история. Но почему-то я верю именно ей. У девки живот вырос, а говорит, что мужчин не знала. Мать поверила ей и послала её с мужем к шаману, чтобы выяснить правду. Ходили к Кычаю, а он разговаривать с ними не захотел. Говорит, что не повитуха и роды принимать не собирается. Вообще выгнал нас. Отец ругает девушку: «Убью или забью, но сураза не допущу». Та белугой ревет, жалко её, отец точно убьёт девку, возьмёт грех на душу.

Выслушав его, я предложил отцу:

– Сходи за ним, пусть приведёт дочь ко мне. Я посмотрю её. Вдруг смогу помочь. Чем чёрт не шутит.

– Ты с ума сошел, разве можно чёрта поминать. Грех это... А за мужиком я схожу.

Он тут же встал и ушёл. Я остался сидеть один. Настя, увидев меня, тоже присела рядом.

– Что пригорюнился?

Я рассказал ей, что случилось.

– Может, ты зря хлопочешь? Дело молодое, бес попутал девку, а признаться стыдно. Вот и отрицает всё, – задумчиво заметила сестра.

– Может, и так, но посмотреть надо. – Я внимательно посмотрел на Настю.

– Скажи, почему ты замуж не выходишь, пора ведь.

– Кто нравится, не идёт свататься. Отец не настаивает на моём замужестве.

– Так и зачакнешь.

– А что я могу сделать? – Настя произнесла это с горечью.

– Не горюй, помогу. Я ведь будущий шаман, колдовать умею маленько. Будет той и на нашем дворе, сестрёнка!

В это время к воротам подъехала телега, на которой сидели отец, мужчина и девушка. Отец подошёл к воротам и открыл их. Мужчина помог сойти девушке. Её голова была спрятана под платком, одни глаза, как смородинки, только и виднелись. Платье было широким, но и сквозь него при ходьбе был виден средних размеров живот. Мне показалось, что навстречу шла молодая женщина, ждущая ребёнка, но в её фигуре было что-то неестественное, и это сразу же насторожило меня. Мужчина подошёл ко мне, поздоровался и спросил:

– Ты хочешь посмотреть мою дочь? Правда это?

– Да.

Меня разглядывали две пары глаз. Одни с надеждой, другие с мольбой и страхом.

– Вы останетесь здесь с отцом, – сказал я мужику. – А девушка пойдёт со мной.

Повернулся и направился в дом. Девушка последовала за мной. В своей комнате я поставил её к стене и стал внушать ей, что она у себя дома и раздевается, чтобы спать. Она послушно закрыла глаза и стала раздеваться. Я же подошёл к двери и закрыл её на крючок. Девушка тем временем осталась в одной рубашке. Дыхание её было ровное, она спала. Я приказал ей снять и рубашку. Она оказалась на редкость хороша.

Чтобы не тревожить себя посторонними мыслями, волевым усилием сосредоточился на её безобразном животе. Целую минуту я не мог проделать то, что умею. Потом, отбросив нерешительность, подошёл к ней и положил руку на живот. Где-то далеко в подсознании я всё-таки думал, что услышу биение ребёнка, но моей руке вдруг стало холодно. Под ладонью отчётливо странное шевеление и холод. Мне стало неприятно, тошнота подступила к горлу. Отдёрнул руку, всё прекратилось. Подождав немного, опять положил руку, опять всё повторилось. Приказал девушке одеться и разбудил её. Открыв глаза, она посмотрела на меня всё так же испуганно.

– Успокойся, всё будет в порядке, – бодро сказал я.

Мы вышли на крыльцо. К нам подбежал её отец, и столько в его лице было страха, что я опередил его вопрос:

– Успокойтесь! Не так уж плохи ваши дела. На ней действительно нет греха, чиста она.

– Сынок, золотом заплачу! Только вылечи, она одна у меня.

Он вдруг упал на колени и закричал:

– Смилуйся! Избавь от позора, не отказывай.

– Не отказываю я вам. Просто один я тут бессилён. Нужен Кычай. Сам пойду сейчас к нему, а вы возвращайтесь на постоянный двор и ждите меня там.

Девушка была всё так же обмотана платком, но чувствовалось, что настроение у неё изменилось, и отец её оживился. Даже походка стала уверенной. Он твёрдо повёл лошадь со двора.

«Вот что значит надежда. На глазах меняется человек», – подумал я, глядя им вслед.

Подходя к дому Кычая, я боялся, что не застаю его. Он говорил мне давеча, что ему надо больного навестить в дальнем аале. Войдя в калитку, я увидел запряжённую лошадь.

Дверь в это время открылась, и на крыльцо вышел Кычай, одетый по-дорожному. Он улыбнулся мне:

– Хорошо, что ты пришёл. У меня должна быть женщина с ребёнком. Грыжа у него. Надо заговорить, ты знаешь, как это делается.

– Я по другому поводу. К вам утром отец приводил русских? Ну, мужика с девушкой?

– Было дело.

– Помочь надо им. Только вы можете это сделать.

– Ты что, парень, белены наелся? Меня под старость лет в бабу-повитуху превращать! – от возмущения он чуть не завертелся на месте.

– В уме я, в уме! Но сначала выслушай, а потом ори! – грубо и дерзко заговорил я.

Кычай поспешно сел на лавочку, придерживая свой гнев.

– Ладно, говори!

– У татар есть поговорка: «Татарин поверит тогда, когда руками пощупает». А вы поверили глазам, а они на этот раз солгали вам. Девушка чиста, она не обманывает, но в ней свил гнездо белый червяк и, по-моему, дал потомство, потому и быстро живот вырос. Я тут бессилён, нужно народное средство.

– Ты уверен в том, что говоришь? Не ошибаешься? – голос его звучал уже заинтересованно.

– Уверен.

– Да, задачку задал ты мне, – сказал задумчиво Кычай. – В записях деда что-то такое об этой болезни я читал.

Шаман приказал жене:

– Маша, распрягай лошадь, отъезд мой откладывается!

Потом ко мне:

– Пойдём, я покопаюсь в записях деда.

Дома он открыл сундук, переложил какие-то вещи, из нутра его

вытащил здоровую амбарную книгу, аккуратно завернутую в чистую холщовую тряпку. Развернув её, сел за стол и стал переворачивать лист за листом. Это длилось так долго, что я устал ждать, поэтому встал и вышел во двор. Присел на крылечко, любуясь горами.

Посидев немного так, я хотел уже зайти в дом, посмотреть, как продвигаются дела у Кычая, но тут дверь открылась, и он сам появился на крыльце.

– Нашёл, паря, нашёл! Сейчас же иди и скажи родителю, чтоб девка в рот ничего не брала, а завтра на зорьке сам приходи и их приводи. Будем лечить, или, как в народе говорят, злого духа выгонять.

Планы мои нарушились, но я не расстраивался. По дороге домой зашёл на постоянный двор и передал мужчине то, о чём просил Кычай, заодно познакомился с ним. Мужчину звали Василием, он был родом с Урала, поэтому и разговор его был немного чудной. Род их из сильных. «Живём хорошо, – рассказывал Василий, – привыкли, и с местными ладим, но вот ещё что плоховато, у дочери жених есть, русский, и вдруг такое. Смирная да тихая, слова грубого не скажет, и тут – живот! Убить хотел! Да мать отговорила, поверила ей, а сосед посоветовал к тебе её свозить, говорит, что хоть ты и молодой шаман, но все болячки видишь».

Уходя, я строго-настрого наказал не давать ей еды, а утром, сказал, зайду за ними.

Дома меня ждала женщина с больным ребёнком, с ним я быстро управился, а потом съездил с отцом на пасеку и поработал там дотемна. Домой вернулся поздно. А утром, подойдя к постоянному двору, увидел там Василия. Он ждал меня, лицо его потемнело.

– Знаешь, Шаран, в мою Катюку точно бес вселился. Такая всегда смирная, а тут что вытворяла! Как она просила есть! У меня волосы дыбом вставали, всё кричала и плакала, а сейчас сидит, ждёт, запертая в комнате.

Только сейчас я до конца поверил, что больна. Всё-таки в глубине души я сомневался. Катя изменилась за ночь. Под глазами синие круги, лицо бледное, осунувшееся...

– Пошли, Катюша, пора, – ласково сказал отец.

Она послушно надела платок и, накинув тёплую кофточку на себя, пошла за нами.

Кычай ждал нас. Подойдя к нему, я сразу почувствовал его волнение. Мне даже стало не по себе. Я понял, что он сомневается в диагнозе, который поставил я.

Шаман пригласил нас куда-то за дом. Там росли четыре ели, а между ними была беседка. Мы сели. Кычай подал Кате кувшин с водой, она стала жадно пить.

– Прогуляйся во двор, подожди там, – обратился он к отцу, а по-

том сказал мне: – А ты сходи к Маше за молоком. Она, наверное, закончила доить коров.

Василий Петрович остался ждать во дворе, а я с молоком вернулся в беседку. Там уже на досках лежала подстилка.

– Усыпи её, – тихонько сказал мне Кычай.

Я подошёл к девушке, властно глядя на неё, приказал ей лечь, а потом спать. Она аккуратно легла на подушку и закрыла глаза. Грудь её стала ровно вздыматься. Девушка спала.

– Всё, спит! – показывая на Катю, произнёс я.

– Сам вижу, – буркнул Кычай. – Положи её на бок. Особенно голову поудобней устрой.

Я так и сделал.

Кам налил парного молока на блюдце, поговорил над ним что-то, потом поставил его рядом со ртом девушки. Сам открыл ей рот, вставив туда деревянное колечко. Взял в руки рогатину и сел на лавочку, я примостился рядом. Мы сидели и смотрели на девушку, она спокойно посапывала во сне. Проходили минуты медленно, но ничего не менялось. Просидели мы так, наверное, полчаса, только потом что-то в ней изменилось, дыхание стало тяжелее, румянец разом пропал, появились глотательные движения.

– Теперь смотри! – прошептал Кычай.

Я напряг зрение, но ничего не увидел.

– Идёт один! – прошептал с волнением мой учитель.

– Не вижу!

– Тихо!

В кольце появилось что-то белое, узкое, оно медленно выползало.

Боже мой! Какая мерзость может сидеть в человеке!

Мне стало дурно, разом к горлу подступил ком, а червь всё выползал.

Кычай стал палкой отодвигать блюдце в сторону. Червяк полз за молоком. Когда он выполз весь и отполз ото рта девушки, шаман подхватил его рогатиной и выкинул из беседки. Затем он сменил молоко в блюдце и опять поставил рядом со ртом. Намного погодя выполз второй, поменьше, а потом ещё два. На пятый раз, сколько мы ни ждали, ничего не появилось.

– Значит, всё семейство вышло, – решил шаман. – Но могут остаться яйца, поэтому я приготовил питьё, а ты на всякий случай посмотри, как у неё в животе.

Наклонившись к спящей девушке, я положил руку на живот... и ничего не услышал, не почувствовал.

– Вроде ничего, – проговорил я.

– Буди девку, а я соберу червей в ямку, но сначала их покажем отцу, а то ещё сомневаться будет.

Он тут же вышел из беседки, а я разбудил Катю.

– Как себя чувствуешь?

– Спасибо, хорошо.

– А когда спала?..

– Сквозь сон будто глотала, горло болит.

– Сейчас пройдёт. Кычай напиток тебе приготовил, попьёшь и всё как рукой снимет.

Когда мы вышли с Катей к отцу, тот взял её за руку, внимательно рассматривая при этом живот. С сомнением посмотрел на нас, потом сказал:

– Хочу видеть то, что было.

– Хорошо, покажу, – просто проговорил кам и увёл его в огород.

Побыв там немного, они вернулись. Василий сокрушался:

– Надо же, чуть из-за твари дочь не погубил.

Василий Петрович расплатился с нами щедро. После его отъезда Кычай сказал мне:

– Возможности твои большие. Ты их сам до конца не знаешь, и я не знаю, но прошу тебя – никогда не рассказывай о своём Божьем даре. И не лечи на чужих глазах.

– Шаран! Шаран! – голос просил и требовал. – Ты видишь меня?

– Нет, я же сплю!

– Сейчас увидишь.

Немного погодя я вдруг увидел в лесном коридорчике рядом с тропинкой сидевшего на земле Кычая.

– Что с вами? – испугался я.

– Это потом, а сейчас запрягай ко мне. Сена на телегу побольше накидай и приезжай. Меня найдёшь недалеко от картофельного поля.

Открываю глаза – лежу на собственной постели, кругом темно и тихо.

– Ну и приснится же такое! – подумал я и уже собрался дальше спать, но тут вспомнил, что хотел съездить в соседнюю деревню, чтоб навестить больного родственника.

Моё подсознание тут же сработало: «Значит, это был не сон, с Кычаем действительно случилась беда и он нуждается в помощи!».

Я встал, оделся. Когда вышел, вслед за мной вышла ича.

– Что случилось, сынок? Куда ночью собрался?

– Ничего не случилось. Надо Кычаю помочь.

– Вы что, договорились?

Я торопливо запрягал лошадь.

– Ты иди, спи, я скоро вернусь.

Видя, что у меня нет охоты разговаривать, она ушла.

Подъезжая к назначенному месту, я вдруг спросил себя: «А если всё это опять бред? Или просто сон? Интересно, как тогда будет выглядеть моя ночная поездка в лес?».

Мысли мои прервал голос:

– Шаран, сюда, я здесь!

Остановив лошадь, я спрыгнул с телеги и пошёл на голос. Чуть в стороне, привалившись к дереву, сидел Кычай. Ноги его были обмотаны чем-то. В темноте плохо было видно. Недалеко паслась лошадь.

Подойдя к нему вплотную, я остановился в нерешительности. Потом, сбросив оцепенение, наклонился и аккуратно поднял его, посадил в телегу. Он застонал.

– Как это случилось?

– Очень даже просто. Засиделся, выпили немного, выехал поздно, торопился, гнал лошадь, свалился, сломал ногу.

Я привёз Кычая домой, помог раздеться. Пришлось повозиться с его ногами. Правда, он отдавал приказы, что делать, а я выполнял. Сделал ему небольшое внушение, чтобы, пока вожусь с его ногами, ему не было больно. Не знаю, помогло ли это, но в его глазах всё-таки прочитал благодарность.

Домой приехал к рассвету. Люди уже выгоняли скотину пастись. Уставший, не выспавшийся, еле добрался до постели. Только положил голову, как сразу же отключился. Проснулся так же неожиданно, как и уснул.

Из кухни слышался разговор вполголоса, о чём шёл разговор, не было понятно. Я прислушался: голос знакомый, на миг напряг память и тут же понял. С матерью разговаривала тётя Маша, жена Кычая. Интонации её голоса спокойные.

– Интересно, к кому она пришла? К матери или ко мне?

Зайдя в кухню, я увидел сидящих за чаем женщин.

– О, как хорошо, что ты встал! А то гостья уже заждалась тебя.

– А что случилось?

– Ничего, приехали больные люди, а муж не может их принять по причине болезни, вот и послал за тобой, – сказала тётя Маша.

– Но я сразу так тоже не могу!

– Ты, сынок, не волнуйся, а сходи, люди ждут, да и не один ты будешь, рядом будет лежать Кычай, он и поможет.

Подходя к дому Кычая, увидел повозку и телегу с лошадьми.

– Господи, откуда они только свалились на мою голову? Я же ничего не могу!

Кычай встретил меня с улыбкой.

– Что дрожишь, как заяц? Не надо людей бояться, особенно таких, как эти, – он показал на парня рядом с собой.

Парень держал перевязанную руку, возле сидела женщина средних лет. Чем она больна, пока было непонятно.

– Займись парнем! – приказал Кычай, взгляд его при этом стал какой-то жестокий. Не знаю, как он подействовал на больных, но на меня определённо. Я перестал бояться крови. Спокойно размо-

тал руку парню. Рана была рваной и вся в гное. Убрав парню боль, невозмутимо стал возиться с его раной. Провозился с ним, наверное, около часу. За это время Кычай не сказал мне ни слова.

С женщиной оказалось вообще просто. Её мучили головные боли. Кычай мне сказал:

– Заведи её в комнату, возьми бубен, и только потом лечи ей голову.

– А зачем в бубен стучать, когда можно всё сразу сделать?

– Привыкай к бубну. Он твой первый помощник теперь.

С этого дня моя жизнь круто изменилась. С утра до позднего вечера я пропадал у Кычая. Люди всё шли, ехали, и нескончаем был их поток. У каждого была своя беда, своё горе, приходилось и лечить, и утешать. Так я стал шаманом.

1978 г.

# Юрий ТОТЫШ

---

*Об отце*

## **Стыд**

Отец ходил задумчивым. Людям казалось, что он заболел.

Однажды, когда он проходил мимо брёвен, на которых сидели его друзья, кто-то из них остановил старика:

– Ты ча, Сергей, захворал что ли? Какое горе давит твою душу?

Отец кивнул в знак согласия и ответил:

– Лет десять назад я шёл по этой улице. Вот так же народ сидел на брёвнах. Там был и мой сват. Он рассказывал что-то людям и шибко размахивал руками. Когда я подошёл к нему, тот сказал: «Вот Сергей может подтвердить, как я убивал медведя с белым галстуком». Я взял да кивнул головой. Дескать, это было. С тех пор болею душой – ведь враньё подтвердил!

## **О чём плачет мать**

Однажды прихожу с работы, вижу – моя мать заливается слезами. Испугался: неужели кто-то обидел беспомощную пожилую женщину?

Спросил у жены, в чём дело. Она пожала плечами: «Не знаю!». Потом я выяснил: оказывается, мать вспомнила, как у неё двадцать лет назад потерялась пестрая тёлочка в тайге. Теперь как вспомнит о ней, так слезами заливается.

## **Звезда с неба упала (из прошлого)**

Однажды в тихую тёмную ночь мой отец возвращался из Карчи домой. Ехал на санях по замёрзшей реке Мрассу.

Скоро должен показаться посёлок Тос. Бежит лошадь, поскрипывают полозья. Небо чёрное, ни одной звёздочки не видно. И вдруг там появилась одна-единственная. К удивлению отца, она всё увеличивалась и увеличивалась, горела ярче и ярче. Потом упала на снежный берег реки.

Отец оставляет лошадь, подходит к месту падения, видит камень, по которому струятся огненные всполохи. Он подождал, пока небесный посланец не остыл, вернулся к лошади и поехал домой. Там он рассказал людям о том, что видел.

Через некоторое время приехали из города учёные, попросили его рассказать об упавшей звезде и показать место.

Отец хитро усмехнулся и ответил:

– Всё это я видел во сне.

Мой дед говорил:

«Год возраста человека равен одному месяцу возраста собаки. Нашему Шарику – год. Тебе двенадцать лет. Значит вы ровесники.

В последний год своей жизни мой отец часто вспоминал события давно ушедших лет, связанные с его отцом, матерью, приятелями, и рассказывал о них в юмористической окраске.

### *Из записной книжки отца*

...Вдруг я увидел – нехорош мой вид: увяла кожа, сеть морщин бороздит щёки, дёсны остались без зубов.

А годы говорят: «У тебя седина в волосах. Лучшее время уж не воротить назад. Ты – глубокий старик!»

...Всё вокруг расцветает и всё радуется наступающей весне. Ясный день стоит над землёй. Только моё сердце страдает и тоскует.

...Я понял, что не люблю мир земной, потому что в этом мире не смог достичь ни одной цели. Сердце наполнилось обидой. Оно устало от страданий. Их было так много у меня в пути...

...Многое я пытался разгадать в этой жизни, но ничего не сумел. Откуда боль, что грызёт моё сердце? Не с неба ли?

...Проходят годы, я старею шаг за шагом и всё больше чувствую усталость и безразличие.

Скоро ты умрёшь.

Я принёс тебе весть – скоро ты умрёшь.

Пусть другие говорят что хотят, но я кривить душой не стану. Я прям и безжалостен – тебе спасения нет.

Я нежно кладу свою правую руку на тебя – скоро ты умрёшь!

Труп, который останется после тебя, – это не ты, а навоз.

### *Страшно!*

Страшно жить много-много лет. Видишь, как люди рождаются и умирают. А я, как свидетель, спокойно всё живу и живу, ко всему привык, ко всему притерпелся. Меня не вгонишь в краску, я не знаю, что такое смущение. Мои чувства мертвы.

\* \* \*

В последние дни перед смертью отец работал над легендой «Чазы-Пун»... «Мой дед рассказывал. То, что слышал от своего прадеда. Поле Чазы-Пун за нашим стойбищем не всегда было ровным

и чистым, как нынче. В стародавние времена на нём громоздились большущие камни. Через них не проехать, не пройти.

Люди обижались на Чаягу-творца:

– Пошто так скверно сотворил это поле. От него никакой пользы. Только крылатые хищники притаскивают сюда добычу и разделяют свою жертву.

Паштык Комай освободил малюсенький край поля от камней и посеял ячмень. Уродился он шестигранным, крупным. Знать, плодородная земля лежала под камнями. Но как до неё добратся?

Однажды в начале лета люди стали боязливо шептаться: «Опасность появилась, надо прятать детей и женщин».

До уха старого Комая дошло, что на реке Айзас в глубокой пещере поселились два перкута, два большущих человека по имени Поеке и Айдуке. Высотой они с ель, лица у них, как стол. Оба смуглые, глаза и волосы чёрные, на поясах – ножи. Домашний скот не трогают, коосулю и оленя бьют камнем. Его кладут на ремень, раскручивают над головой и запускают. Камень точно попадает в зверя. Мясо вялят и едят.

Один каргинец (шорец) рассердил их. Тогда великан-перкут схватил его, поднял над головой и бросил товарищу, который стоял на другом берегу реки. Так они перебрасывали через воду каргинца туда и обратно, потом поставили его на землю и удалились, смеясь.

– Надо бежать куда глаза глядят! – говорили люди.

Комай наморщил лоб, почесал три раза правый висок и сказал:

– Пойду к перкутам, поговорю с ними.

Народ ещё пуще заволновался, стал отговаривать паштыка:

– Не ходи к этим великанам. Они рассердятся, бросят тебя через три горы, без твоей головы нам будет худо.

Но Комай не отступил. От стойбища зашагал в горы по берегу реки Айзас. Когда он приблизился к пещере, вокруг было тихо и спокойно. «Однако хозяева ушли на охоту», – подумал Комай, осторожно заглядывая в пещеру. Оттуда послышался храп.

Перкуты спали на звериных шкурах. Когда паштык приблизился к ним, Паеке открыл один глаз, дёрнул за руку своего приятеля и сказал:

– К нам пришёл шор-кижи.

– Зачем мы нужны ему? – недовольно проворчал Айдуке.

– Я догадываюсь. Люди, знать, потеряли какую-то живность и подумали, что мы сожрали её. Скажи ему, что мы не едим мясо домашнего скота. Пусть не пристаёт к нам, а то дуну, полетит отсюда, как пушинка, и ещё будет перевёртываться.

Айдуке не успел ответить.

Запротестовал Комай:

– У нас ничего не потерялось. Мы о вас, перкутах, худо не думаем. Мы слышали, что вы самые честные и добрые люди. Вот уже две луны около нас живёте, а медовухи с нами не пили, толокно с мёдом не пробовали, жареное мясо не ели. Нам это обидно и оттого нехорошо на душе.

От удивления великаны сели.

Когда Комай привёл в стойбище двух громадных гостей, люди побледнели, задрожали от испуга.

Паштык велел скорей костёр зажечь, быка заколоть, принести целый тербишь толокна, мёду.

Комай угощал перкутов, рассказывал:

– Мы живём неплохо. Скота у нас хватает, пчёл тоже немало, но вот ячмень негде сеять. Видите, перед нашим стойбищем лежит каменистое поле. Если бы камни были поменьше, мы бы расчистили его и до урожайной земли добрались бы.

– Фу, эти камни ничего не стоит разбросать! – сказал Паеке.

– Раз плюнуть! – подтвердил Айдуке.

На другой день перкуты взялись за работу. Загудело, зашумело всё вокруг. Камни величиной с печку со свистом летели в сторону реки. Там, падая на каменистый яр, разбивались на мелкие кусочки. Как чистят перкуты каменистый пун, приходили смотреть люди из других стойбищ, от восхищения глаза у них делались круглыми, и они ладонями закрывали рты.

Скоро каменистый пун стал чистым полем. Люди поблагодарили перкутов, пожелали, чтобы их жизнь была долгой и, как гром, высокой.

– Не надо нам такое! – зашумели перкуты. – Мы хотим умереть. И перкуты рассказали свою историю.

Когда-то они жили на берегу большой реки. Однажды старики увидели берёзу, которая принялась расти возле стойбища. «В наших местах появилось белое дерево. Скоро нашу землю займут белые люди. Нам теперь конец!» – сказали они.

Перкуты решили засыпать себя в землянках.

У Паеке была хорошая, славная жена. Росли двое ребятишек. Семьёй добывали мясо, рыбу ловили. Никто никого не обижал, жили себе, совета старших слушали. И вот такая оказия, надо умирать! А делалось у перкутов так. Закрывались люди в землянках, укладывались на пол, ногами толкали столб, и потолок с землёй обрушивался на них. Все оказывались как будто в могиле и погибали от удушья.

Паеке помнил, как перед обрушением жена улыбнулась ему и сказала:

– Ложись с нами рядом, уйдём вместе!

Видел Паеке, как тяжёлый потолок обрушился на мать, на жену

и на двух детей. А он, трус, не сумел умереть. У Айдуке были мать и невеста. Они обе погибли. И теперь два великана влачат унылую жизнь.

– Мне снятся свои, – говорил Паеке. – Но никто не хочет со мной разговаривать, даже не глядят на меня.

– А я во сне вижу себя на берегу реки, – сказал Айдуке. – На другом берегу стоят мать и невеста. Невеста показывает на меня пальцем и говорит моей матери: «Смотри, вон твой сын!». А мать даже не смотрит на меня, бурчит: «Нет там, девушка, никого. Оттуда несётся только зловонье!».

Рассказали перкуты свою историю, взяли заработанное и пошли в свою пещеру. Потом вдруг обернулись и спросили:

– Теперь поле очищено. Как оно будет называться?

– Чазы-пун, чистое поле, – ответил Комай.

Перкуты кивнули головой.

Через два дня паштык снова заглянул к ним в пещеру, но там уже никого не увидел. Перкутов след простыл. Больше их в нашей местности никто не встречал...

### **Прокоп Апонькин**

В Новокузнецк приехал мой старый приятель Прокоп Апонькин. Выглядел он франтом: тёмно-синий диагональный костюм, красный галстук, пахнет дорогим мужским одеколоном.

Говорит:

– В конце концов я закончил десять классов, теперь хочу жениться на самой красивой девушке.

Прокоп устроился работать на почте, чтобы как-то познакомиться с «самой-самой».

– Тебя, кроме красоты, ещё привлекают какие-нибудь достоинства женщин, например, домовитость, умение готовить, любить и воспитывать детей, верность мужу?

– Нет, для меня главное, чтобы она имела стройную фигуру и лицо, на которое бы все заглядывались.

Смотрю – он ходит с одной, другой, третьей.

Однажды выпил и зашёл ко мне:

– Чёрт подрал этих красавиц. Они знакомятся со мной, чтобы побольше узнать о... тебе. А на меня совсем не обращают внимания. Понятно, почему. Родители создали меня уродом. Глаза узкие, нос плоский...

И пошёл ругать родителей за собственные неудачи.

## Смерть

Нет на свете человека, который перед твоим лицом радовался бы и расцветал, все дрожат и немеют – все без исключения.

Нет такого шамана, который может убрать твою руку от обречённого. Когда ушла сила, пыл и страсти, ты одна ведёшь нас к вечному покою. Иной раз вся земля дрожит от жестоких сражений, и только смерть даёт успокоение и одеваает всё покровом тишины.

Перед тобой, владычица седая, мы закрываем глаза, затыкаем уши и гоним тебя прочь. А напрасно. Только твоя рука умеет снять боль, угнетающую нас. Только ты убираешь все наши недуги, все беды.

Слава тебе, Смерть!

\* \* \*

Перед смертью отца его в снах тоже навещали родители и давно умершие друзья молодости. Он рассказывал о таких встречах с тревогой. Закончив легенду, отец в тетради сделал последнюю запись: «Прощай, моё вдохновение! Я много думал, много написал. Я уйду, а куда – сам не знаю. Не знаю, что ждёт впереди. Так, значит, прощай, моё вдохновение!».

Больше он не прикоснулся к ручке.

Болезнь брала его в оборот. Чирей на груди превратился в опухоль, которая побагровела и стала вызывать такие боли, от которых отец кричал. Мать вызвала «скорую помощь». Софрона Сергеевича привезли в больницу. Его осмотрел хирург и тут же взял на операционный стол. Опухоль вырезали.

Врачи сказали отцу, что у него диабет. Софрон Сергеевич не поверил, но, вернувшись домой, стал больше пить, ведь силы у него иссякали. Он похудел и сильно ослаб, очень мёрз, особенно холодели ноги, так что приходилось всё время класть под подошвы горячую грелку.

Мать не выдержала, вызвала врача. Участковая пришла, прослушала, осмотрела отца и предложила ему снова лечь в больницу. Он согласился. Его кололи, давали таблетки, но улучшения не было. Более того, левый глаз перестал видеть. Софрон Сергеевич был растерян, просил мать забрать его из больницы, что она и сделала. Взяла такси и привезла вечером отца домой. Ночь он провёл спокойно, а утром с ним случился приступ – его сильно трясло, глаза дико смотрели в потолок, по телу проходили судороги. Где был слепой глаз, появилась шишка.

– Врачи будут резать, – сказала мать.

– Пусть хоть зарежут, но я не могу больше выносить таких мук, – ответил отец. – У меня болит всё тело.

Мать вызвала врача, но тот не приехал.

Попыталась вызвать «скорую помощь» – такой же результат.

26 апреля, в первый день пасхи, отцу вдруг стало легче. Он поел на кухне, потом вернулся в спальню. Там поговорил с матерью о литературе. К утру она вздремнула. Проснулась от вскрика отца:

– Меня душит!

– Кто душит? – спросонья спросила мать.

Он молчал, потом сказал:

– Ноги отмерзают.

Мать положила ему грелку к подошвам.

Потом он стал задыхаться. Грудь и живот поднимались и опускались, воздух в лёгкие проходил с трудом, слышен был судорожный хрип. Так продолжалось несколько часов. На слова он не реагировал, воды, как обычно, не просил. В третьем часу дня 27 апреля 1981 года сердце у него будто булькнуло и остановилось. Он пожелтел и больше не дышал.

Мысковский лесхоз, где отец состоял на партийном учёте, помог с похоронами – сделал гроб, памятник, выделил машину, его работники выкопали могилу на склоне горы, с которой открывался красивый вид на тайгу, на реку Мрассу.

На похоронах людей было немного. От общественных организаций Мысков никого не было, хотя Софрона Сергеевича знали все. Местная газета, где он печатался постоянно, даже не опубликовала соболезнование.

После похорон я вернулся в Кемерово, написал некролог от имени группы товарищей. Он был опубликован в областной газете «Кузбасс». Словом, кончина известного в Кемеровской области писателя прошла скромно и незаметно...

### ***Вместо эпилога***

Через год после смерти отца я решил съездить в Кабырзу, самое южное поселение Горной Шории. Софрон Сергеевич рассказывал о нём в повести «В верховьях Мрассу». Захотелось своими глазами посмотреть то, что описывал он.

За Темир-Тау поезд вошёл в гористую зону, покрытую тайгой. Я уставился в окно вагона и непрерывно смотрел на пихтовый лес. От красоты природы меня оторвали похожие на поцелуи звуки. Я оглянулся и увидел невысокого тощего шорца лет сорока пяти, бедно одетого и пьянущего «в доску». Он тужился что-то сказать, но губы не подчинялись ему, получался громкий чмокающий звук.

В купе, кроме меня, обреталась ещё молодая женщина с жёлтыми крашеными волосами, в мохеровой кофточке, в чёрной юбке, готовой треснуть по швам от натиска мощных бёдер. Я знал, что она возвращается из Чехословакии и везёт всяческое барахло, упа-

кованное в два чёрных большущих чемодана, с которых она не спускала настороженных глаз.

Почему-то пьяный возбудил у женщины ярость. Она пантерой бросилась к нему, схватила за руки и так швырнула в коридор через открытую дверь купе, что бедный шорец, как труп, шмякнулся об пол. Меня до предела возмутила жестокость дамы. Я плечом оттолкнул её так, что она толстым задом прямоком шлёпнулась на нижнюю полку, и прошёл в коридор, где поднял шорца за грудки, затащил в соседнее свободное купе и оставил там «отдыхать».

Когда вернулся в своё, моя соседка плотоядно жевала ломтики копчёной колбасы, запивая газированной водой из бутылки. Она даже не взглянула на меня. Я уселся напротив, вынул толстый журнал из портфеля, полистал, захлопнул. Не хотелось читать.

...Однажды летом мы с дочерью попали в Шор-Тайгу, крохотный улус в пятнадцать-шестнадцать домиков на пологом берегу Мрассу. Я разговаривал с жителями, дочь фотографировала их для молодёжной газеты. Когда мы усаживались вечером в лодку, чтобы отплыть от улуса, она вдруг спросила меня:

– Почему здесь все пьяные?

– От безделья! – не задумываясь, ответил я.

Работа не обременяет шорца в улусе. Месяц он «бьёт» кедровые шишки в тайге, остальное время занимается в своём хозяйстве. У него на содержании корова, телёнок, поросята, куры, иногда лошадь. Вся эта живность с ранней весны до поздней осени кормит себя за околицей. Хозяину остаётся только спровадить её туда утром и долго думать, чем заняться. Дома управляется жена, телевизора нет, радио тоже, газеты поступают случайно. Пытку жгучего безделья житель таёжного улуса выдерживает три часа, а затем надирается вдрызг.

В Шор-Тайге я видел молодого крепкого мужчину, который в сильном подпитии валялся на спине возле забора и на вытянутых руках раскачивал над собой огромного лохматого пса, который от удовольствия тонко взвизгивал, обнажая страшные острые зубы.

Конечно, шорцы в таёжных улусах спиваются не только от безделья. Их во многом первобытное сознание не защищено иммунитетом от алкоголя. Как неразумный ребёнок тянется ручонкой к огню, так и таёжный шорец – к бутылке, поэтому он становится лёгкой добычей государственных людей. Мне рассказывали о том, что в Кабырзинском лесхозе служивые насмерть бились за право закупать у шорцев кедровый орех. «Счастливицам» выдавали на руки крупные суммы денег, небольшую часть из которых они тратили на водку и представляли с «огненной водой» перед шорцами, как американские предприниматели перед эскимосами в прошлом столетии. Угостив жителей улуса, за бесценок забирали орехи. Так в таёжной глубинке на здоровье коренного населения наживался

государственный люд. Невольно при этом вспомнишь царя, который строго запрещал продавать шорцам алкогольные напитки...

В Таштаголе прежде чем выйти из вагона, я зашёл в купе к пьяному сородичу. Тот умудрился переместиться с нижней полки на пол и там распластаться. За моей спиной сердито задышал проводник. Я кивнул на пьяного и попросил служителя поезда:

– Пусть проспится!

– Пусть, – согласился проводник.

В тот день я переночевал в городской гостинице. В обычных номерах свободных мест не было. Меня до утра поселили в «люксе», обшитом деревянными панелями, с цветным телевизором, к кнопкам которого я даже не прикоснулся, думал о своей предстоящей встрече с людьми Горной Шории. Какие они сейчас?

...Утро было солнечным. Лучи освещали кровать, на которой я лежал. Вставать не хотелось. Посмотрел на часы. Было без двадцати восемь. Пора собираться. Через пятнадцать минут я должен освободить по договорённости «люкс».

Выйдя из гостиницы, я перешёл железнодорожную линию и направился в кафе на первом этаже жилого дома старой, послевоенной постройки. В маленьком зале сидели человек пять – женщина с ребёнком и четверо мужчин с кружками пива в руке. Среди них молодой шорец в красной рубашке, синих джинсах и с бакенбардами. Я подошёл к нему, спросил, как добраться до Кабырзы. Он поставил массивную стеклянную кружку с вонючей жидкостью на стол и пояснил: надо выйти к железнодорожному вокзалу, оттуда уходят попутки.

– За деньги вас любой шофёр подвезёт.

Я заказал ужин. Он оказался невкусным. С трудом поедая пшённую кашу и попивая компот, слушал словоохотливого любителя пива. Его звали по-русски Вася. Он родился в таёжном улусе. В восемь лет попал в Таштагольский интернат, где начисто забыл родной язык. Окончил среднюю школу, потом горный техникум. Сейчас работает на Таштагольском руднике бурильщиком. В свой улус к родителям ездит в отпуск, но долго не может там находиться – скучно. Выдерживает неделю и сбегает в Таштагол.

Позавтракав, я попрощался с Васей и направился к железнодорожному вокзалу, который был рядом за мостом через бурную мелкую речушку. Неожиданно я встретил старую знакомую Надежду Устегешеву. Эта хрупкая смуглая женщина работала в местном туристическом центре. В своё время она частенько писала заметки в областную газету, сама приезжала туда. В редакции мы и познакомились.

Она очень обрадовалась, встретив меня. Когда узнала, что я собрался пройти по местам жизни героев повести «В верховьях Мрассу», с грустью сказала:

– Там мало что изменилось. Только ещё хуже стало.

Мы помолчали. Потом я спросил:

– А как у тебя?

– С мужем-шорцем разошлась. Сейчас думаю о том, как я могла выдержать столько лет жизни с ним. Пьянствовал, бил. Теперь у меня муж русский. Тоже пьёт, но в меру. Меня пальцем не трогает и, кажется, даже любит. Я довольна. Вот только с сыном беда. Он не может отца забыть. Скучает по нему.

Мы разговаривали. Мимо проезжал «уазик». Надежда подняла руку. Машина остановилась. Женщина подошла, открыла дверцу и стала что-то говорить шофёру, потом обернулась ко мне: «Садись, Юрий Софронович! Он едет в Кабырзу. Довезёт!». Я обрадовался, попрощался с Надей. Поехали, дорога пересекала живописные долины, поднималась на вершины гор и снова убегала вниз. Я вырос в городе, но мои предки жили в этих местах, и генетическая память при виде таёжной местности воскресала во мне. Я смотрел на картины, которые стояли вокруг, и на душе мне делалось так хорошо, так хорошо, что я под звуки работающего мотора машины начинал произносить слова отцовской песни:

«Я люблю петь в тайге, особенно когда еду верхом на коне. Вокруг тебя в листве поют птички, ручей вплетает свою мелодию в перезвон. Кажется, что даже ветер поёт...

Твой задушевный голос и простой мотив раздаётся над просторами широкой тайги. Услышав тебя, запеваает кукушка и вдруг закатится весенней трелью жаворонок. Хорошо!».

С таким настроением я добрался до Кабырзы. Там устроился в Доме отдыха у подножья горы и на берегу притока Мрассу. Место было великолепным. Из окна моей комнаты открывался вид справа на домики посёлка. Слева возвышалась могучая гора Кара-таг. О ней когда-то отец даже сочинил легенду.

«Когда-то добрый бог Ульген спустился с горы Кара-таг в долину Мрассу, чтобы поглядеть, как здесь люди живут. Идёт он по дороге, посматривает вокруг. Думает – я шибко отличаюсь от людей земли: ростом выше и видом – красавец. Увидят люди меня, у кого горе или обида, прибегут и расскажут.

И вот встретился ему один старик. Упорно глядя на творца, сказал, жалуясь:

– Есть у меня сын, слабый и всё болеет. Был я у шамана Кары-баш. Он поглядел на сына и сказал: «У вашего сына нет жизненной силы, поэтому ему трудно бороться за своё существование. Жизнь есть быстрое течение реки, и справиться с ним может только крепкий человек. Не понимаю, почему вы рождаете детей такими слабыми. На кого вы надеетесь? Кто им силы даст жить?».

Ульген внимательно слушал.

Старик возмущённо продолжал:

– На свет рождаются не только крепкие и сильные, но слабые и нежные. Мы видим – в тайге есть и толстые кедры, и мягкие цветы с бархатистыми лепестками. Кедры и цветы живут, здравствуют, радуются.

Выслушав старика, творец пошёл к шаману.

– Ты, Кара-баш, лечи сына старика. Не отлынивай, помоги старому человеку. Он заслужил внимание.

– Ладно, постараюсь, – кивнул головой Кара-баш. – Сделаю, что под силу, хотя это будет нелегко.

Кара-баш шаманил, шаманил и – бросил, махнул рукой.

– Не получается. Сына старика вылечить невозможно, слишком он слаб. Не могу же я отдать ему свою силу.

Прошёл год. Сын старика умер. Об этом узнал шаман и признался, что лечил его шалай-валяй. Если бы как следует взялся, то выжил бы парень обязательно.

Дошли слова шамана до творца. Осерчал он на Кара-баша:

– Значит, ты то, что можешь сделать, не делаешь. Доброму делу не помогаешь, к чужому горю безразличен. Раз так, – будь с сего дня птицей, питайся червями гниющих деревьев.

Теперь птицы летают на Кара-таг, ищут там гниющие деревья, чтобы добывать там пропитание...»

Мне тоже хотелось подняться на Кара-таг, оттуда осмотреть Горную Шорию. Договорился с директором лесхоза, тучным, с астматическим дыханием пожилым человеком, насчёт лошади и проводника. Через день, когда солнце поднялось над горой и склоны залило светом, в комнату ко мне заглянул сынишка сторожа Дома отдыха:

– Дядя Юра, к вам!

Я вышел на крылечко. Напротив переминались две лошади: серая, тучная – под седлом, кауряя, жилистая – под худощавым средних лет шорцем с низко надвинутой на лицо чёрной кепочке.

Шорец показал верхний жёлтый зуб. Я как взглянул на него, так и заулыбался во весь рот:

– Здравствуйте! Голова не кружится от поездки в Новокузнецк?

– Не кружится, – смущённо ответил седок.

– Но ты был хорош! – переходя на ты, сказал я. – Толстую пассажирку завалил на нижнюю полку, сам улёгся на ковровой дорожке вагона.

– Мы с ребятами выпили в городе. Они усадили меня в поезд и ещё бутылку дали. В Кузедееве в моё купе вошёл какой-то мужик, на стол поставил коньяк. Я добавил ещё свою горилку. А что потом было, не помню. Открыл глаза, лежу в другом купе, надо мной проводник, говорит: «Вставай, шорец, иначе через час обратно поедешь в Новокузнецк». Я, конечно, поднялся и на попутке на следующий день к утру добрался до Кабырзы...

Поговорив с Геннадием Петровичем (так звали моего проводника – он работал в лесхозе помощником лесничего), я пошёл собираться. У меня не было походной одежды и снаряжения. Пришлось обратиться к сторожу нашего Дома отдыха. Тот сидел в своей пятистенной хате на табурете перед эмалированным тазом с калиной и перебирал красные ягодки. Выслушав меня, сторож поднялся, натянул на себя спортивные штаны и повёл меня через двор к маленькому приземистому строению, похожему на пчельник, открыл дверь, вытянул вперёд руку и щедро предложил:

– Выбирай!

«Пчельник» до отказа был набит брезентовыми куртками, резиновыми сапогами, фуфайками и сетями. У меня разгорелись глаза от обилия походного снаряжения. Я подобрал болотные сапоги и брезентовую куртку. День начинался тёплый, солнечный. Я не собирался ночевать на Кара-таге, поэтому оснастился лёгкой одеждой и обувью.

Во дворе Геннадий Петрович, любезно улыбаясь, подвёл ко мне Серого, могучего мерина с большим животом. Он выгнул хвост и протяжно пукнул, таким оригинальным способом приветствуя меня.

Я подошёл к левому боку Серого, просунул носок сапога в стремя, руками взялся за луку седла и только спружинил, чтобы взлететь на круп, как почувствовал ощутимый удар в бедро, словно кто-то вальком хлопнул меня. Я испуганно, глянув вправо, увидел копыто у брюха лошади, оно грозно дёргалось вверх-вниз.

– Лягается! – воскликнул я.

– Апу! Апу! – удивился Геннадий Петрович. – Такой смиренный мерин. С чего он так осерчал?

Мы нашли выход. Геннадий Петрович поставил Серого к плетёной оградке. Я взобрался на эту оградку и с неё без приключений забрался в седло.

От Дома отдыха узкая каменистая тропинка круто спускалась к реке. Лошади, привычные к горам, уверенно находили опору в камнях. Чтобы не мешать им, мы опустили поводья, качнулись назад, отчего стремяна выставились вперёд и подошвы упёрлись в них, как в стенку.

Когда копыта зачавкали по отмели голубоватой реки, Геннадий Петрович обернулся ко мне, его чёрные глаза блеснули из узких азиатских щёлочек.

– Хозяин-то шибко балует Серого, – простодушно сказал он. – Говорит с ним, как с человеком, сахаром угощает.

Теперь мне стала понятна нервозность мерина. Я взглянул на себя его обидчивыми глазами. Этаким самонадеянный пижончик подскочил фертом, заезгил у стремени, а на него ноль внимания, будто он бетонная тумба, а не живое существо... И тут я понял вос-

питанность и человеколюбие Серого. Если бы он даже в четверть силы двинул меня, то лежать бы мне сейчас на столе хирурга. А он лишь толкнул меня копытом, как бы сказал:

– Эй, парень, не колготись под ногами!

Вгорячах я даже не почувствовал боли, но теперь, двадцать минут спустя, она жгуче расплывалась по бедру. Пришлось пальцами поглаживать ушибленное место сквозь брюки.

Мне захотелось заглядить свою вину перед Серым. Я наклонился, ласково потрепал его шероховатую шею, извинился. Серый опустил морду, шумно подул на воду, показывая, что не слышит меня. Видно, обида глубоко засела в его сердце...

Мы пересекли скошенное поле. Не доезжая с полкилометра до Кабырзы, повернули влево, к Мрассу. Страх охватил меня, когда лошади забрели в мутную стремительную воду. Несколько дней назад в горах пролился обильный дождь, река вздулась, убыстрила свой ход. С каждым шагом лошадь глубже и глубже проваливалась в текущую жидкость. Вот уже мои болотные сапоги на три четверти скрылись под водой. Если лошадь поплывёт, то и мне придётся последовать её примеру. Такая перспектива меня совершенно не вдохновляла. Не хотелось купаться, хотя и в солнечный, но осенний день в горной ледяной реке.

Но Геннадий Петрович знал, куда двигаться. Его сухощавая лошадевка обогнала моего могучего мерина и забурлила навстречу течению. Через минут пять она медленно и уверенно стала выходить из воды. Серый двинулся за ней. Я почувствовал, как уменьшилось давление на мои сапоги. И вскоре лошади, хотя они были на середине реки, выбрались на мель. Это меня тоже расстроило. Скучность воды – верный признак анемии природы.

Я спросил Геннадия Петровича:

– Раньше Мрассу был глубже?

– Двадцать лет назад я чуть не утонул возле берега. Теперь летом, не снимая штанов, перехожу реку, – последовал невозмутимый ответ.

Я замечал признаки хронического заболевания природы не только в мелководной Мрассу. Когда мы с Геннадием Петровичем поднялись на гриву Кара-тага, перед нами открылись горы Шории, покрытые сорными травами – берёзой, тополем, осинкой. Среди жёлтых нарядов темнела редкими пятнами хвоя.

Как я нё шарил глазами вокруг, так и не смог найти знаменитые кедровники, которые выкормили десятки поколений шорцев. Мне вспомнился разговор с начальником Шерегешского лесозаготовительного участка Алексеем Павловичем Пивоваровым.

Он открыл неприятную для меня истину. Пока общественность буянила, защищая кедровники Шории, лесозаготовители молчком вырезали плодоносящие деревья, выбили самок. Остались пожи-

лые, ни на что не годные, разве только на древесину. Теперь порубки запрещены, но победа оказалась пирровой. Кедровник обречён.

Алексей Павлович успокаивал меня. Через триста-четырееста лет черневая тайга оживёт. Но в это слабо веришь, особенно когда видишь громадные проплешины в горах. Сокращается зона леса, от этого воды становится меньше, а жизнь слабеет.

– Природе надо подсоблять, – говорит Геннадий Петрович, покачиваясь в седле. – У меня есть деляны. На них я высаживаю кедр, пихту...

Мой проводник работал помощником лесничего. Чувствовалось, что лес для него – самое важное и нужное в жизни. Он с такой гордостью перечислял деревья, которые выхаживает. У меня даже поднялось настроение. Может, я излишне трагедизирую ситуацию. Читал где-то, что лесоводы разводят плантации крупношишечных, высокоурожайных кедров. Почему бы в Горной Шории не заняться этим, особенно местному населению? Шорцу пора бы стать мастером созидательных дел, вроде того, кто подгоняет, склеивает осколки разбитой дорогой посуды. Сейчас природа тоже находится в разбитом состоянии. Пока не поздно, надо подобрать и восстановить всё, что осталось. Приятно всё-таки, что находятся люди, которые отдают жизнь этому и скромно, внешне незаметно делают своё очень важное дело.

За километра три до вершины Кара-тага склон стал резко вздыматься, и бедному Серому пришлось почти вертикально поднимать меня наверх. Это давалось ему с большими потугами. Он хрипел, его шкура потемнела от пота. Я почувствовал, что надо помочь лошади, и спрыгнул на землю. Мерин скосил на меня лиловый, очень внимательный глаз. Я погладил его шелковистую морду между ноздрями и прошёл вперёд по тропе. Серый затопал, шумно задышал за моей спиной.

Скоро тропинка подвела нас к родничку возле толстой поваленной пихты с обрубленными ветвями. У ствола, видно, потопталось немало народу. Трава здесь была примята, а вокруг родничка выстрижена до камня. Я обрадовался. Какое блаженство сейчас после многочасового перехода в жаркий день напиться! Но делать это надо осторожно, иначе все внутренности застудишь ледяной влагой.

У родничка на тёмном старом пенёчке стояла пустая консервная банка из-под шпрот. Я набрал в неё воду, ополоснул, вылил и снова зачерпнул, пропустил крохотную прохладную каплю в рот на язык. Когда она согрелась, проглотил. Словно вкусный шарик прокатился в желудок.

Геннадий Петрович уселся на ствол рядом с родничком, приставил руку козырьком к чёрным бровям и, подняв глаза на солнце, которое скатывалось вниз, деловито сказал:

– Однако заправиться пора!

Я смущённо промолчал. Бывалые люди говорят: «Пошёл в горы на час – бери продукты на день, пошёл на день – бери на неделю». В суматохе сбора я забыл об этом и не прихватил даже краюхи хлеба. Теперь голод ощутимо ворочался в желудке.

Между тем Геннадий Петрович из бокового кармана пиджака извлёк круглый свёрток, положил рядом на ствол, развернул его, открыв добрый шматок мелко нарезанного сала, полбуханки пшеничного домашнего хлеба и восемь кирпичиков сахара.

– Подсаживайтесь! – кивок на продукты.

Я не дал себя упрашивать. Так решительно взялся за хлеб и сало, что уши заходили ходуном. Только вот не стал есть сахар, взял четыре кусочка, подошёл к Серому, который рядом обкусывал стебли травы, ласково погладил ему шею и протянул на ладони белые кирпичики. Он мягкими, тёплыми губами сгрёб лакомство и с наслаждением захрумкал, покачивая вверх-вниз мордой. Кажется, между нами устанавливалось полное взаимопонимание. Пообедав, я решил один сходить на вершину горы, до которой оставалось всего ничего, километра полтора. Геннадий Петрович с лошадьми задержался у родника. Сытый и довольный, я двинулся сквозь заросли карликовых деревьев. Вокруг ветвями шумел ветер, раздавались какие-то шорохи. Я вслушивался, и меня вдруг охватило волшебное чувство слияния с природой, будто это во мне колыхались маленькие деревья, свистели птицы, над головой расстилалось синее небо. Возникло такое ощущение, что я иду по тайге как бы во сне.

Тропинка вывела меня на крохотную полянку, и тут я увидел молодую девушку. Она остановилась и сосредоточила свой взгляд на мне. Она показалась мне ослепительно красивой. Это была шорка, но совсем не похожая на своих сородичей. Белое маленькое лицо, огромные зеленоватые глаза, чёрные брови дугой, тонкий с горбинкой носик, яркие пухлые губы и длинные чёрные волосы, заплетённые в две толстые косы. Таких красивых шорок я не видел никогда. В руке у девушки был туюсок, наполненный какой-то чёрной ягодой.

Я так и замер, глядя во все глаза на это чудное явление. В голове вспомнились рассказы отца о горных девах, которые нередко встречаются молодым людям в таёжной местности. Но я далеко не молодой. И вот тебе на – встретишься.

Девушка улыбнулась мне, раздвинула ветки изящным движением и растворилась в зелёном море тайги. Только тогда я обрёл способность двигаться и за несколько минут добрался до вершины. Повсюду темнели пирамиды кристаллических пород, вокруг которых расселился густой кустарник, уже пожухлый, с ободранной ветром листвой.

Я забрался на каменную «бородавку», и дух захватило от вида, который открылся перед моим взглядом. Далеко внизу синим серпом лежала Мрассу. Эта река занимала особое место в творчестве отца. Она присутствует почти в каждом его произведении. Софрон Сергеевич даже сочинил легенду о ней.

«Было это очень давно, когда, нагромождаясь, вырастали горы и между ними, разливаясь, потекли большие и малые реки.

Там, где с утренней стороны плечом к плечу стояли Абаканские горы, выросла и похорошела скала Кабусь. Днём она белела, как кандык, а ночью сверкала ярче серебра.

Однажды красавица Кабусь, изумив родных и знакомых, от жарких лучей солнца родила дочь. За синие глазки и спокойный нрав ей дали имя Мара-зас, что значит кроткая. А люди стали называть её ласково Мрассу. Новая речка росла смирной, её плача никто не слышал, её капризов не видел. Она текла без волнения, тихо напевая:

У меня бессмертный дед Пустаг.

У меня славная бабушка гора Огудун.

Шли годы. Мрассу стала взрослой. Третью весну она слышала в стороне, где восходит солнце, сильный и могучий голос Кара-Тома:

Любимая страна моя!

Вы, голубые горы!

Дайте дорогу к реке Мрассу!

Я хочу видеть и слышать её!

– Рада бы к тебе, Кара-Том, но выслушай, о чём шумят и гудят мои братья, Абаканские горы! – воскликнула Мрассу.

– Куда ты рвёшься, сестрица? – гудели братья. – Теки на восток по степи Олен-газы, где живёт племя Аба. От столицы Абакана уйдёшь прямо в объятия к седому старику Хему. Он, увидев тебя, молодую и красивую, запляшет от радости на одной ноге. Хем – труженик, у него будешь жить в большом достатке.

– Не ходи к Хему! – грозно молвил Пустаг. – Что может быть общего у молодой девушки со старым пердуном. Теки лучше, внучка, к стройному Бию на запад. Он делец, у него спокойная натура. Ты, внучка, тоже спокойная. У вас жизнь будет течь ладно.

– О, не ходи к дряхлому Бию! – зашумела бабушка Огудун. – Он такой медлительный, на ходу спит. Век с ним длинным покажется. Лучше ступай к Кара-Тому. Где любовь, там свет.

– Я знаю, куда мне подаваться, – сказала Мрассу и весело погнала свои воды на восток.

Вдова Манак-гора разлеглась перед ней, чтобы пошептаться со своим другом Шаман-горою.

Мрассу заволновалась, стала просить Манак-гору дать ей дорогу, открыть путь. Но вдова не хотела и слушать. Она прижималась к щеке Шаман-горы и ласковыми словами называла его.

Время летело. Мрассу билась в западне, огороженная каменными стенами, синие волны шумели, двигались, забирались к самым вершинам гор.

Волнение Мрассу услышал Кара-Том. Он не терпел тех, кто стеснял чью-то свободу. Он рванулся навстречу Мрассу, разрушая берега, швыряя огромные камни, опрокидывая скалы.

– Мрассу, перебирайся ко мне! – закричал Кара-Том. – Вместе потечём к деду Пустагу, вершине земли.

Мрассу, услышав голос Кара-Тома, осмелела и подступила к Манак-горе, завела спор.

– Куда ты, девушка, рвёшься? – возмутилась вдова. – Я не позволю тебе ласкать Шаман-гору. Ты ещё молодая и не знаешь, что любовью никто не делится.

– Не нужен мне твой старый Шаман! – рассердилась Мрассу. – Дай путь к сильному и молодому Тому!

– Фу! – махнула рукой Манак. – Что хорошего нашла ты в этом юнце. Он ничего не понимает в прелестях женщин.

Ещё долго бы длился спор между девушкой и вдовой, если бы не человек. Он разобрал камни Манак-горы и, обращаясь к томившейся в неволе красавице, сказал:

– Теки к своему любимому!

Мрассу встрепенулась, заходила, забушевала, сильнее налетела на Манак-гору. Покатились огромные камни, обрушились утёсы. В этом месте появился большой порог. Люди называли его Убу, что значит бурный.

А Мрассу быстрее бегуна помчалась к милому Кара-Тому. Они встретились ниже Альчуковского мыса. Дальше текут реки Мрассу и Кара-Тома, прижавшись к друг другу, неразлучные навеки, поблёскивая в лучах яркого солнца».

Сверху я смотрел, как внизу красивая река ещё только устремлялась к далёкой Томи, огибая названные в легенде горы, которые стыли напряжёнными островерхими вершинами. Казалось, в них заключена грозная живая сила. Именно здесь, на Кара-Таге, я душой понял, почему шорцы с древнейших времён обожествляют горы.

Я сидел на вершине, как зачарованный. С моим сознанием произошло нечто необъяснимое. Я вдруг почувствовал рядом своего отца. Ощущение было такое, будто мы сидим на скамейке на обрывистом берегу Мрассу под толстой сосной в Мысках. Он рассказывает, как изучал окрестности Кабырзы, а потом писал повесть о молодом шорце-таёжнике, который встретил русскую девушку и полюбил.

Голос отца звучал настолько явственно, что я осторожно повернул лицо влево и увидел старичка, широколицего, с узкими шорскими глазами и седой бородкой клинышком.

- Ты кто? – изумлённо спросил я.
- Хозяин Кара-Тага, – последовал ответ.
- Значит, ты знал моего отца?
- Я знаю всех, кто здесь бывает.

Я моргнул глазами, старик исчез. В моё сердце вошло благоговейное радостное чувство. Ради такой встречи с горным духом стоило пересечь сотни километров, бросив все насущные домашние дела. Мне вдруг показалось, что именно горный дух притянул меня сюда, на вершину, чтобы сказать нечто важное...

Посидев ещё полчаса, я поднялся и стал спускаться осторожно с «бородавки». Минут через пять вновь оказался у родника, где находился мой проводник и задумчиво покуривал дешёвую сигарету.

Я извинился:

– Заставил вас ждать!

– Не беспокойтесь. Я не терял здесь времени, – ответил помощник лесничего, улыбаясь и обнажив жёлтый зуб.

Тут моё внимание переключилось на окрестность родника. Если раньше она была похожа на место, куда ходят коровы и люди на водопой, и попутно гадят, – грязь, истоптанная копытами и сапогами, пластмассовые порванные разноцветные мешочки, коробки от сигарет, зелёная чашка с пробитым дном, ржавая ось от телеги, неизвестно как попавшая сюда. Теперь ничего подобного здесь не было. Весь мусор был сложен в ямку и закопан. Рядом темнела ещё одна ямка для будущих отходов. Вокруг родника зеленел свежий дёрн, а к воде вела аккуратная дорожка. При виде такого порядка даже свиноподобный поведёт себя пристойно. Словом, пока я любовался природой с большой высоты, мой проводник в поте лица помогал ей, ограждая от разрушения.

Мы взобрались на лошадей и двинулись вниз. Когда выехали из густого ельника, то остановились. Тропинка по гриве круто спускалась вниз, а перед глазами обозначился необозримый горный простор. Геннадий Петрович показал рукой на далёкую горушку, похожую на плешивую голову и растроганно сказал:

– Там был мой улус.

– А теперь?

– Две семьи живут. Остальные разъехались.

Я стал расспрашивать своего спутника, пока спускались вниз по гриве, о житье-бытье в улусе, кто чем из жителей занимался. Оказалось, что улус когда-то был центральной усадьбой небольшого колхоза, который на своих фермах держал коров, свиней, овец, сдавал государству сотни центнеров мяса, молока. В конце пятидесятых словно Мамай прошёлся по хозяйству. Теперь от него остались только воспоминания. Я спросил Геннадия Петровича, для чего это было сделано.

– Тогда требовался лес, а не молоко и мясо. Леспромхозы откры-

вали, колхозы закрывали, чтобы жители рубили тайгу, – ответил он.

Дальше мы поехали молча. Каждый думал о своём. Я думал о том, как нечистая сила заставила народ, который жил тайгой, вырубать лес – своего кормильца, а потом бросила этот народ на произвол судьбы, когда леса не стало.

В Усть-Кабырзу мы возвращались другим путём. Когда склон горы стал выпрямляться, съехали с горы вправо, пересекли поля с тёмно-серыми стогами, а затем по невероятным кручам заскользили в долину Мрассу. Спуск был настолько опасным, что я несколько раз предлагал Геннадию Петровичу слезть с лошадей и прогуляться пешком. Но тот спокойно отвечал, что за лошадей не стоит беспокоиться, они не переломают ноги, выберутся, надо только не мешать им. После такого совета я опустил поводья, положившись на опыт проводника и умную волю Серого. В самом деле, через полчаса мы, целые и невредимые, оказались в низине и поехали вдоль реки. Солнце уже пряталось за горы, на зелёном подросе заливного луга тянулись вечерние тени.

Наконец мы оказались на просёлочной дороге, которая шла среди колючих кустов боярышника. Вскоре услышали взрывы смеха, потом мужские и женские голоса. Чувствовалось, что впереди люди и они о чём-то спорят, но – весело. «Компания пирует на свежем воздухе!» – подумал я.

Объехав толпу молодых сосенок, мы увидели на поляне у реки мужчин и женщин в свободных позах. Мужчина, большой, живоглазый, стоял, как монумент, раскорячив ноги-тумбы. Под ним на траве лежала молодая красивая женщина. Рядом восседала другая смуглая особа, на коленях которой уложил лохматую голову мужчина с рыжими усами. Ещё парочка сидела у скатерти с тремя бутылками водки, буханкой хлеба и горкой зелёных огурцов.

Первым подъехал к компании Геннадий Петрович. Сразу же красивая женщина вскочила на ноги, пантерой прильнула к лошади, хватая её под уздцы и выкрикивая:

– Петрович, милый, дай прокатиться!

Мой проводник заулыбался. Его каурая неприязненно отстранилась от пылкой дамы. Большой мужчина что-то сказал. Я не расслышал что, но его голос прозвучал требовательно. Геннадий Петрович ответил ему. Мужчина перевёл взгляд в мою сторону. На его лице отразилось не то смущение, не то страх. Издали трудно было разобрать.

– Петрович, ты бяка! – кокетливо ругнула моего проводника женщина, отошла от лошади и вновь завалилась на траву, однако ноги не стала задирать, а культурненько вытянула их.

И тут Серый подвёз меня к компании.

Я поздоровался.

Мне разноголосно, но дружно ответили.

Серому компания не понравилась. Он обогнул её и пошёл рысью. Через минуту я уже скакал рядом с Геннадием Петровичем.

– Что за люди? – полюбопытствовал я.

– Мои начальники с жёнами.

Я с уважением взглянул на своего проводника. Как достойно и в то же время деликатно он повёл себя с пьяными руководителями. Уже подъезжая к Усть-Кабырзе, я спросил Геннадия Петровича:

– Что же вы сказали пузану?

– Что за мной едет большой начальник из обкома.

Тут Геннадий Петрович попал в точку. Малого начальника можно напугать только большим.

В Усть-Кабырзе я прожил ещё четыре дня. С Геннадием Петровичем больше не виделся. Но в моей памяти он остался как очень чистый горный родник. Не из таких ли источников вытекало творчество Софрона Сергеевича?

## По следам шаманских сказов

---

Софрон Сергеевич Тотыш родился в 1907 году в шорском посёлке Томазак (ныне Мыски). Отец-пасечник брал сына в Кузнецк, когда продавал там мёд и воск, и потом отдал его в приходскую школу там же, в Кузнецке. Больше всего будущий писатель любил тайгу и с ранних лет вслушивался в шорские легенды и сказки.

Шорцы, народ тюркской группы, близки по языку к хакасам и, очевидно, отделились от них, степных кочевников, и стали «черневыми татарами» (*чернь* – тайга). Легенды и мифы их связаны с охотой в тайге и рыболовством. Русские, узнавшие, что шорцы выплавляют железо, назвали их кузнецкими татарами и ясак брали железными изделиями. Отсюда название города и края – Кузбасс.

С детства знавший русский язык, Софрон за год прошёл три класса – пятый, шестой и седьмой. После революции вступил в комсомол и руководил ячейкой в родных Мысках. Его партийно-комсомольской карьере помешал случай. Друзья попросили у Софрона винтовку для охоты, но убили из неё «кулака», зажиточного шорца. Софрон был из зажиточной семьи, сам считался сыном кулака, и был осуждён на два года. А в тюрьме шестнадцатилетний Софрон познакомился с офицерами-белогвардейцами и стал иначе понимать революционные события. После заключения поступил в пехотное училище, но был отчислен из него по доносу – как сын бая-кулака. Закончил курсы бухгалтеров, приобрёл профессию, которая стала его делом почти на всю оставшуюся жизнь. Даже когда вышла первая его книга (сборник рассказов «В тайге», 1953-й год, Западносибирское издательство), он зарабатывал на жизнь бухгалтером. Писатель-бухгалтер – редкое сочетание, примечательно, что С. Тотыш написал роман «Бухгалтер».

Попутешествовав по разным городам, вернулся перед войной в Сталинск (Новокузнецк). В войну командовал взводом десантников, в 1942 году, после госпиталя, вернулся домой, работал бухгалтером на алюминиевом заводе. Печатался в местных газетах, занялся собиранием шорского фольклора. Издавал книжки для детей. Сам он вырастил восемь детей. «Сказки Шапкай», книга для детей, вышла в Кемерове в 1959 году и после несколько раз переиздавалась. Затем вышли новые книги для детей – «Хозяин гор» и «Сын тайги».

Мудрый Шапкай, старые охотники Адо, дед Постан сохранили шорское миропонимание: жизнь в согласии с природой, бе-

режное отношение ко всему живому. Это остатки таёжного язычества – одушевление деревьев, рыб и птиц. Больше всего писал С. С. Тотыш, когда вышел на пенсию. «Записки молодого кама» опубликованы уже после смерти автора, в «перестроечное» время. У этой книги была трудная издательская судьба: надо было сломать застарелое предубеждение против шаманского искусства.

Умер Софрон Тотыш в Мысках в 1981 году. По-настоящему популярными книги его стали после смерти автора.

*Ар. Казин*

## Том 2. Содержание

### **Николай ДОМОЖАКОВ**

В далёком аале .....	6
Стихотворения .....	166
Книги Николая Доможакова .....	169
<i>А. Казин. Первопроходец</i> .....	170

### **Софрон ТОТЫШ**

Сказки Шапкая .....	174
Записки молодого кама .....	214
Юрий Тотыш. Об отце .....	260
<i>Ар. Казин. По следам шаманских сказаний</i> .....	280

## Содержание серии

- Том 1.** *Георгий Дмитриевич Гребенчиков (1883–1964).* Выдающийся прозаик Сибири. В серии опубликованы: «Былина о Микуле Буяновиче», «Ханство Батырбека», «На Иртыше», «Любава», «Волчья жизнь». Русский, Томск.
- Том 2.** *Николай Георгиевич Доможяков (1916–1976).* Поэт и прозаик, автор первого романа на хакасском языке. В серии опубликованы: роман «В далёком аале», стихотворения. Хакасия.
- Софрон Сергеевич Тотыш (1907–1980).* Шорский писатель. В серии опубликованы: «Сказки Шапкайя», «Записки молодого кама». Горная Шория.
- Том 3.** *Григорий Гибивич Ходжер (1929–2006).* Нанайский писатель. В серии опубликован роман «Амур широкий». Нанайский район Хабаровского края.
- Том 4.** *Ким Николаевич Балков (1937–1920).* Народный писатель Бурятии. В серии опубликованы: степная поэма «Проклятие Баальбека», романы «Берег времени», «Будда», рассказ «Балалайка».
- Том 5.** *Юрий Сергеевич Рытхэу (1930–2008).* Первый писатель Чукотки. В серии опубликованы: повести «Когда киты уходят», «След россомахи», «Под сенью волшебной горы».
- Том 6.** *Семён Николаевич Курёлов (1935–1980).* Первый юкагирский писатель. Опубликованный в серии роман «Ханидо и Халерха» переведён на европейские языки. Якутия.
- Том 7.** *Владимир Михайлович Санги (1935 г. р.)* Первый писатель из нивхов. В серии опубликованы: роман «Женитьба Кевонгов», повести и рассказы «Ложный гон», «Легенды Ых-мифа», «Семипёрая птица». Сахалин.
- Том 8.** *Юван Николаевич Шесталов (1937–2011).* Основоположник письменной литературы народа манси. В серии опубликованы повести: «Тайна Сорни-най», «Когда качало меня солнце», «Синий ветер каслания». Ханты-Мансийский округ.
- Том 9.** *Дибаш Берукович Каинчин (1938–2012).* Народный писатель Республики Алтай. В серии опубликованы: повести «С того берега», «Глова жеребца», «Абайым и Гнедко», «Крик с вершины», «Его земля», рассказы разных лет.
- Том 10.** *Еремей Данилович Айпин (1948 г. р.)* Один из самых значительных писателей российского Севера. В серии опубликованы романы: «Ханты, или Звезда Утренней Зари», «Божья мать в кровавых снегах». Ханты-Мансийский округ.
- Том 11.** *Софрон Петрович Данилов (1922–1993).* Народный писатель Якутии. Публикуется роман «Красавица Амга».
- Том 12.** *Роман Харисович Солнцев (1939–2007).* Писатель, поэт, драматург, критик. Родился в селе Кузкеево Татарской АССР. В серии публикуются стихи разных лет, повести «Год провокаций», «Поперека», «Иностранцы». Красноярск.
- Том 13.** *Салчак Калбак-Хорёкович Тёка (1901–1973).* Тувинский писатель. В серии опубликована трилогия «Слово арата». Республика Тыва.
- Куулар Николай Шагдыр-оолович (1958 г. р.)* Современный писатель Тувы. В серии опубликованы: рассказы «Свидание после охоты», «В стране Тана-Херела», стихотворения. Республика Тыва.
- Том 14.** *Анна Павловна Неркаги (1952 г. р.)* Родилась в горах Полярного Урала в семье ненца-оленовода. В серии опубликованы повести: «Анико из рода Ного», «Белый ягель», «Илир», «Молчащий». Ямало-Ненецкий округ.

Одна семья. Библиотека народов Сибири

## Том 2

Николай Георгиевич Доможаков

Софрон Сергеевич Тотыш

Избранное

*Литературно-художественное издание*

Автор идеи, разработчик проекта

*Г. К. Скарлыгин*

Разработчик проекта,  
редактор книжной серии

*Д. В. Барчук*

Редактор-составитель

*А. П. Казаркин*

Технический редактор

*О. В. Карташов*

Корректор

*И. А. Сердюк*

Данное издание рекомендовано  
для учащихся старших классов общеобразовательных школ,  
колледжей, для студентов высших учебных заведений,  
а также для широкого круга читателей, интересующихся  
современной сибирской литературой.

Издание Томской писательской организации.

Заказ № 029. Тираж 650 экз.

Подписано в печать 16.05.2022 г. Печать офсетная.

Формат 140x240 мм. Гарнитура Cambria.

Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Д-Принт»,  
г. Томск, ул. Герцена, 72 б. Тел. (3822) 52-20-99

Электронная почта: dp@rde.ru